

Начало века 3/2011

# НАЧАЛО ВЕКА

Литературный и краеведческий журнал

3



2011

# НАЧАЛО ВЕКА 2011/3

ЛИТЕРАТУРНЫЙ  
И КРАЕВЕДЧЕСКИЙ  
ЖУРНАЛ

ИЗДАНИЕ ТОМСКИХ  
ПИСАТЕЛЕЙ

## Главные редакторы:

Геннадий СКАРЛЫГИН  
Владимир КРЮКОВ

## Редколлегия:

АЛЕКСАНДР КАЗАРКИН  
БОРИС КЛИМЫЧЕВ  
ВЕНИАМИН КОЛЫХАЛОВ  
ВАЛЕРИЙ МАРКОВ  
ВАЛЕРИЙ СЕРДЮК  
ВАЛЕНТИН РЕШЕТЬКО  
АЛЕКСАНДР ЦЫГАНКОВ  
СЕРГЕЙ ЯКОВЛЕВ

## Адрес редакции:

634069, г. Томск,  
ул. Шишкова, д. 10.  
Тел. 528-369,  
e-mail: skar50@yandex.ru

## Электронная версия журнала:

<http://www.lib.tomsk.ru>  
(электронная библиотека)

При перепечатке материалов  
ссылка на журнал  
«Начало века» обязательна.  
Мнения авторов не обязательно  
совпадают с мнением редакции.

## На обложке:

Николай Клюев  
(проект памятника  
Антону Гнедых)

Журнал выходит  
при поддержке  
Администрации Томской  
области

# В НОМЕРЕ

## К 85-летию Вадима МАКШЕЕВА

Боль и память ..... 2

## ПРОЗА

### Вадим МАКШЕЕВ

Последнее прости... ..... 5

## ВТОРЫЕ КЛЮЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ

Валерий ДОМАНСКИЙ..... 15

Юрий ХАРДИКОВ..... 21

## ПРОЗА

### Дмитрий БАРЧУК

Сибирская трагедия..... 23

Главы из романа..... 24

## ПАМЯТЬ

Светлана БОРЗУНОВА..... 66

## НАШИ ДАТЫ

Виктор КОЛУПАЕВ..... 74

Виктор ЛИХОНОСОВ..... 80

## ЗАМЕТКИ О НАШЕМ ВРЕМЕНИ

### Владимир КРЮКОВ

Мать и сын..... 83

## ПРОЗА

### Людмила КОНЮШИХИНА

Игрушки. Повесть..... 91

## ПОЭЗИЯ

Виктор ПЕТРОВ..... 146

Юрий МОРОЗ..... 149

Лариса КУЗНЕЦОВА..... 151

## ЗАПИСКИ СЕМЕЙНЫЕ

### Владимир ЖОЛНЕРОВСКИЙ

«Императорка»..... 152

## ПОЭЗИЯ

Владимир СИЛКИН..... 155

Геннадий СКАРЛЫГИН..... 161

## ЛИТЕРАТУРНАЯ УЧЕБА

### Представляем студию

«Литературная среда»..... 167

## ТОЧКА ЗРЕНИЯ

### Леонид ШЕЛУДЬКО

О творчестве Сергея ЯКОВЛЕВА..... 179

### Виктор ЛОЙША

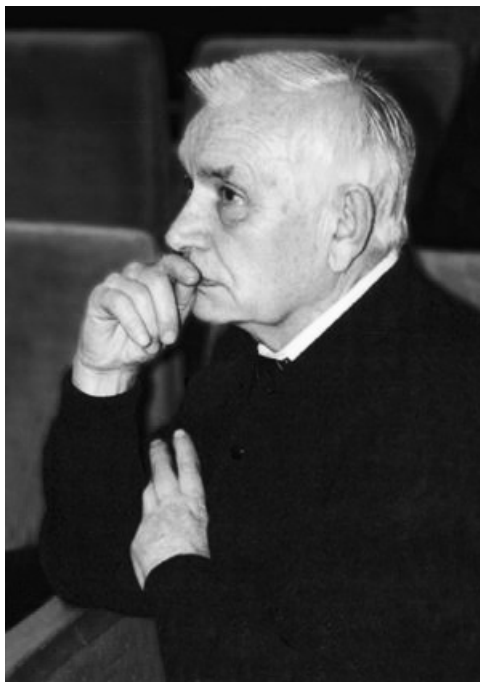
О творчестве Александра БОГДАНОВА... 185

## КРАЕВЕДЕНИЕ

### Николай НОВГОРОДОВ

О прародине и любви  
к отеческим гробам..... 189

Авторы номера..... 198

*К 85-летию Вадима Макшеева***БОЛЬ И ПАМЯТЬ**

Что же так долго не могу уснуть? Давно отложил книгу, погасил свет, но не идет сон. Я вспоминаю, что рассказывали когда-то мама, тетя Дуся, тетя Маня, баба Марфа.

Я ведь когда-то уговорил маму записать то, что помнится из этого проклятого времени начала 30-х – их насильственного переселения «из Сибири в Сибирь» (Высоцкий), от освоенных земель в дичь и глушь, за Нарым. Мама что-то набросала. Прекрасно помню эту синюю школьную тетрадь, перегнутую пополам по вертикали. Я убрал её в свой шкаф. Куда она канула во время моих переездов? Неужели навсегда?

Так спрашиваю себя бессонной ночью. А на столе лежит книга, разбередившая душу. Называется она «Последнее перепутье». Автор – замечательный русский писатель Вадим Макшеев.

И не идет из головы хроника одной крестьянской семьи, названная просто и страшно – «Гонение». Это свидетельства близких людей, для которых хождением по мукам стала ссылка из Прииртышья на Васюган. Рассказы ссыльных переданы с максимальной достоверностью. Да и не могло быть иначе. Вадим Николаевич и сам был сослан на дикий север в детском возрасте. Но завершается хроника не проклятьями, а глубоко печальными вопросами: «Зачем все это было? За что было гонение? Господи, ну за что же?».

Удивительна интонация книги. Нет, интонации разнообразны. Главный тон – минорный, но светлый. Нигде не прорывается ярость, даже та, «благородная». А ведь здесь, на Васюгане, умерли от голода мать и сестренка, отец канул в уральском концлагере. Что же, автор простил всех обидчиков, отнявших близких людей? Нет, сегодня просто не до них.

Время собирать камни, вспомнить тех, кто оставил светлый след в душе. Вспомнить родителей, которые не по своей вине ушли так рано. Вспомнить о тех днях, когда все были вместе, о «давнем, сбереженном памятью, как нечто трогательное и светлое».

Летом 40-го отец Вадима закопал возле их последней квартиры в эстонском рабочем поселке стеклянную банку со своими офицерскими погонами. Он мог это сделать один, но позвал мальчика, чтобы тот знал место. Надеялся, что придет время, когда не надо будет что-то скрывать и прятать?

Как не скоро оно пришло, это время. Что говорить о погонах русского офицера? В лютые дьявольские годы надо было скрывать свое происхождение, прятать и хранить в душе самое сокровенное об отце и матери. Он сохранил, и сегодня поделился с нами дорогими воспоминаниями.

Да, сам автор говорит о дымке, в которой расплываются черты дорогих лиц. И все-таки мы хорошо видим и слышим это ушедшее время. Мы вдыхаем вместе с мальчиком запах паровозного и махорочного дыма на станции и другой, домашний запах – туалетным мылом пахнут сложенные в комод наволочки и простыни.

Поездка в Таллин с отцом на маленьком грузовом пароходике пасмурным днем, которому дым из трубы еще добавляет зыбкой серости. Но можно увидеть ту поездку по-другому: белый пароход, чистое небо над голубым морем, «похожая на маму женщина в шляпе с широкими полями... И мы с сестренкой где-то там. И нет впереди ничего страшного».

Но невозможно обратить время вспять и что-то изменить в былом. Можно лишь самому вернуться памятью в давние дни и годы. Воссоздать прошлое до деталей, так осязаемо и ощутимо – в этом почерк мастера. А может быть, говорит Вадим Макшеев, «это потаенная боль моих родителей, может, это их память продолжает жить во мне?».

Он разглядывает старые снимки. «Возникает во мне ощущение, будто я знал всех этих людей, вдыхал запахи давно исчезнувших мезонинов, дач, отцветших цветов, давным-давно исчезнувших духов...». Автор уже слышит раскаты грома той грозы, которая все это испепелит. И никто не ответит на этот мучительный вопрос: «Неужели дано быть вместе только раз, один только раз?». Но есть благодарная человеческая память, противостоящая разрушению и забвенью.

Припоминаю, как однажды в разговоре актер Владимир Варенцов сказал: «Я знаю людей, которые выглядят цветуще до самых преклонных лет. Нередко это те, кто не переживал за своих близких, не мучился. Такие люди хорошо живут, что называется, долго и счастливо». Конечно, проще жить, ни о чем печальном не вспоминая, ни о чем утраченном не думая. Есть даже такая установка: «Не бери в голову».

Мне бы хотелось, чтобы мои любимые люди (и Вадим Макшеев в их числе) тоже задержались в этом мире подольше, но не ценой такого самосохранения. Впрочем, это «не про нас сказано», как говаривала моя бабушка. Нам все-таки ближе замечательная строка Высоцкого о ранах души: «Чтоб лучше помнить, пусть они болят».

\* \* \*

«Эта повесть – «И видеть сны» – в какой-то мере возврат моего долга. Неоплатного долга, ибо нельзя оплатить то, чему нет цены... Эти строки Вадима Николаевича Макшеева, пожалуй, будут лучшим эпиграфом к моим заметкам по поводу его книги «По муромской дорожке». Именно по поводу, потому что привычные определения типа «рецензия» кажутся мне приблизительными, несерьезными да и, честно сказать, неуместными.

Прежде всего скажу, как нынче принято, о самой книжке, изданной нашим, уже совсем не провинциальным, издательством «Водолей». Оно обеспечило, кроме текста, очень приличное воспроизведение старых фотографий, что немаловажно именно для этой книги. Автор на ее страницах выражает признательность за поддержку администрации Томской области, а я хотел бы добавить благодарность обществу «Мемориал», приложившему руку к этому изданию, и перейти собственно к содержанию.

Так вот, вернемся к первой цитате из Макшеева и скажем, что этот долг – перед отцом, матерью, маленькой сестренкой – действительно главный мотив книги. Вспоминается «Последний поклон» Виктора Астафьева, но это, к счастью, не литературная, а чисто человеческая ассоциация. Вся книга – возвращение долга самым близким людям и, разумеется, обращение к нам, читающим, тем, кто может сделать это, пока близкие еще живы. А руку автора ведет чувство вины. То самое, наше родное чувство перед умершими отцом, матерью, не успевшей понять жизни сестренкой. Но вот он – выжил. И может о них написать. И пишет сильно и так свободно, как не мог этого сделать в начале своего творческого пути.

Видимо, сегодня пришла пора собирать камни. Некуда спешить. И если у кого из нас было внутри чувство хроникера или вообще некий хронометр, стоит к нему прислушаться. У Вадима Макшеева он был и есть. И на страницах последней книги он просто озвучен.

Книга эта, простите за банальность, истинно исповедальна. От того и слог предполагает доверие к читателю. И автор, как в разговоре с понимающим собеседником, чаще недоговаривает. И если поймал эту интонацию, слог, то уже становишься совсем не сторонним читателем, а сопричастником происходящего. Тебя не тянут за руку, не стараются куда-то ткнуть – мол, смотри! Нет, все расставлено по местам в этой добротной прозе. Не больше и не меньше написанного.

В предисловии автор замечает: «Эта книга – мое видение прошлого сквозь выщербленную временем призму прожитых лет. В сгущающейся дымке бледнеют краски, расплываются черты дорогих лиц. А может, это не дымка, в которую уходит время, может, глаза мои застилают старческие слезы»...

Да, Макшеев предполагает, что его рассказы и повести ближе людям старшего поколения, и все-таки теплит надежду, что прочтут их и молодые. Хочется, чтобы поняли тех, кто жил когда-то. Светлая печаль, которой пронизана эта проза, делает человека добрее.

Так же доверчиво растворена в тексте и культура автора, где он пишет о старых книгах, о любимом чтении, об эстонских городах. Так же спокойно, не переживая, в отличие от псевдокультурных выскочек, где все броско, «на вынос».

А с другой стороны, главные события связаны с глухим Васюганьем, куда власть упекла героя. Так вот, Вадим Макшеев не злоупотребляет жаргоном и этнографией, в отличие от наших записных таежников. Его книге присуща та самая гармония, которая дается искусственному в ремесле и решившему рассказать о самом сокровенном, о чем просто нельзя больше молчать.

Читатель не может не заметить, что, несмотря на солнечные страницы, где описаны путешествия с друзьями, преимущественный колорит либо дождь, либо морось, пасмурность. То есть ничто не отвлекает от глубинной сути. Писатель вновь переживает прошлое, отсеивая ненужное, процеживая, промывая, оставляя в самой что ни на есть повседневности подлинными золотые крупички.

Так получилось, что я не коснулся эпизодов макшеевских повестей и рассказов. Но это был бы перечень большой: лучше призвать к чтению подряд. Удачная композиция вещей знакомых и новых делает чтение увлекательным в лучшем смысле.

**Владимир КРЮКОВ**

## Вадим Макшеев

### ПОСЛЕДНЕЕ ПРОСТИ...

Вечером мы с женой прилетели на самолете в доживающий свой век леспромхозовский поселок Тевриз, а наутро нас и еще двоих, давно обосновавшихся в этом поселке наших земляков – Валентину и Александра Чиганцевых, повезли на леспромхозовском катере проведать место, где более тридцати лет тому назад была давно исчезнувшая Красноярка, в которой мы когда-то жили. По сооруженной нефтяниками на месте обвалившегося взвоза крутой лестнице взобрались на яр над такой знакомой нам излучиной темной реки, шагах в десяти от нас маячил высокой антенной бревенчатый домик, где обитались двое вахтовиков-нефтяников, возле сколоченного из досок не то сарая, не то летней кухни, глядя на нас, безразлично виляла хвостом рыжая лайка, из вырытого поблизости котлована едко пахло нефтью, а в стороне из-под земли рвался факел – сгорал попутный газ.

Господи! Могли ли мы помыслить, что, покинув здешние места, спустя годы, будем с грустью вспоминать эту притулившуюся на крутояре давно исчезнувшую деревеньку Красноярку... Убогую, нищую, далекую от привольных мест и большого мира, откуда нас когда-то детьми насильно привезли на Васюган.

Осинник стиснул чистину, все ужалось, бугор, на котором стояли конный двор и кузница, вроде стал ниже, все кажется рядом, близко, близко... Медленно идем по оплетающей ноги траве, пытаемся определить, где, кто здесь жил. Небо над нами то прояснит, то его заволочут облака, во влажном теплом воздухе непрерывный стонущий звон льнущих к лицу и рукам комаров... А мы все продолжаем узнавать когда-то такое знакомое – вот здесь сельповский амбар стоял, через дорогу от него колхозный склад...

– Помнишь рядом с ним стлань была? – спрашивает меня жена.

– Помню, Саша, помню.

Бывало, едешь по улице, мерно потряхивается дуга над гривой коня, мягко катятся по земле тележные колеса, а заедешь на эту стлань, загромыхает телега, дробно застучат по стесанным бревешкам подкованные конские копыта, кончится стлань – и снова не слышно едет телега, не слышен топот копыт...

– А вон там сушилка была, осенью зерно с гумна сюда свозили. Помнишь? – опять спрашивает Саша.

– Конечно помню, конечно же помню.

И опять думаю о тех, кто тут жил, не ведая, что минет не столь много времени, и не будет здесь ни изб, в которых они обитались, ни улиц, ни огородов, ни лоскутных полей, все исчезнет, порастет травой забвения, и не останется ни следов их жизни, ни следов их непосильного подневольного труда. Гудят комары, наплывают на солнце кучевые облака, тускнеет все вокруг и налетает с реки порывистый ветер, словно хочет погасить рвущийся из-под толщи земли огонь.

– А вот там за поскотиной гумно было, – доносится до меня Сашин голос. – Лошади привод вращали, молотилка гудела... Ночами при фонарях работали. Рядом дорога была ...

– Помню, Сашенька, все-то помню.

От гумна та дорога вела по полям километра три и выводила к реке. Там на излуке Васюгана далекие гудки идущего с низовья парохода были слышны раньше, чем в Красноярске. Шлепая по воде лопастями колес, гоня к берегу разбегающуюся волну, пароход показывался из-за поворота и казался тогда таким большим, большим... Приходил оттуда, куда мне был заказан путь, проходил мимо Красноярки в верховье и спустя неделю возвращался обратно туда, где шире река, расступаются берега, где светло и просторно.

Был я тогда спецпереселенцем, рвалась душа отсюда на приволье, но было здесь и утешавшее светлое – молодость, любовь... Здесь мы поженились с Сашей. И, хотя прожил я в Красноярске всего пять лет, вспоминаются те годы часто, часто... Наверное, еще и потому, что приехал сюда из райцентра по направлению райзо памятной весной сорок пятого, когда только что закончилась война, и словно настал рассвет после долгой, долгой ночи.

И вот мы снова на этой земле, все ищем что-то из того прошлого... Здесь стояла колхозная контора, подальше – избенка, в которой я квартировал, до того как женился. Контору в пятидесятом году, когда Красноярку с Муромкой объединили, перевезли в Муромку, а там, где стояла та избенка, лишь густая крапива и рядом тянется к небу лохматая кедерка. Подумал – ее же тут не было... И спохватился – ведь больше тридцати лет прошло, больше тридцати. Половина жизни...

А вот тут за ложбиной жили Агаповы, рядом девки Калинины... Миновали место, где стояла их изба, медленно идем к кладбищу. Казалось прежде – далеко погост от околицы, да нет, вот он – рукой подать. Все стало единым – прежнее жилое место и кладбище. Глухо, сумеречно, комары в безветрии гудят пуще и злей. На могилах вымахали осинник и березняк, когда-то насыпанные холмики сровняло с землей... Уцелели лишь два креста, на одном из них еле заметная надпись: «Рыженковы – 8 человек», рядом накренившийся крест на могиле Сашиного отца – Дмитрия Семеновича Беспрозваннова. Возле него еще чей-то замшелый крест лежит на еле заметном бугорке. Словно раскинув руки, хочет прикрыть собой от кого-то этот клочок земли...

Дмитрий Семенович, Дмитрий Семенович... Безответный, работающий мужик. В тридцатом году его с семьей раскулачили и отправили на спецпоселение из родного Прииртышья за Васюганское болото, но он с женой и тремя дочерьми оттуда сбежал. Саше тогда шел четвертый годик, так отец без малого пятьдесят километров нес ее на себе по оттаивавшему болоту. Когда вернулись в свое село, его с другими беглыми мужиками посадили, а семью спустя год снова повезли в ссылку на Васюган. Саша рассказывала, что однажды из заключения отец прислал посылочку – маленькие кусочки засушенного хлеба, черные, клёклые... От своего пайка отделял. Вернулся он к жене и дочерям через пять лет, стал работать в колхозе. Сколько маховой пилой напилил теса для кровель здешних изб и скотных дворов, сколько ометов сена сметал, сколько исходил веснами босиком по пашне с севалкой, раскидывая пригоршнями семенное зерно...

Помню, в первый год, как я приехал в Красноярку, во время осенней страды возил он на гумно снопы. Стоял на телеге худой, босиком, в холщовых портках, по-хозяйски укладывая сноп к снопу, а я подавал ему их сноповыми вильцами из стоявших на поле суслонов. Сноровки у меня еще не было, ненароком ткнул ему вильцами в ногу. Не заругался он, матерных слов никогда не произносил, только

сказал: «Пошто тычком снопы подаешь? Ногу поранил мне до крови...». «Прости, я нечаянно», – попросил я у него прощения. Надсаженный работой, был он уже очень болен, однако трудился изо дня в день, покуда болезнь его окончательно не свалила. Помер следующим летом в сорок шестом году. Рубаха у него была всего одна, и та заплатка на заплате, сменной не было. Завернули его жена и дочери во что-то, гроб на погост несли на руках. Коня председатель колхоза не дал, мол, лошади все за рекой, покос, сено надо метать... Саша тогда была на лесосплаве, что тятя умер, узнала лишь два месяца спустя...

Сейчас, когда пошли на кладбище, взяли у вахтовиков две лопаты, окопали с Валентининым мужем накренившийся крест, вытащили из земли, глянули – низ-то совсем сгнил... Взялись копать яму, чтобы поглубже его осадить, Саша что-то говорит, глина налипает на лопату, копаю, а у самого комок в горле... Когда вдвоем с размаху крест опускали в яму, перекадина меня по плечу ударила. Небольшо ударила... Может, поблагодарил меня Дмитрий Семенович, а быть может, напомнил, как я ему когда-то ногу раскровенил...

...Глушь, чащоба, теплый запах тлена и перегнившей листвы... Деревья теснятся, почва здесь удобрена – последняя дань тех, кто в ней зарыт далеко от земли, на которой родились, где на что-то надеялись, чему-то радовались... А здесь страдали и умерли. Сколько же их тут схороненных мужиков, женщин, ребятишек...

Пошли из чащи к просвету между деревьями, а под ногами впадины. Много впадин... Осела тяжелая суглинистая земля на братских и одиночных могилах. Подумал: наверное, жутко здесь по ночам, чудится, как кто-то ходит, что-то ищет, тоскуя, кого-то зовет...

– Тут неподалеку дегтекурка была, – говорит Саша. – Я еще девчонкой там работала.

Выбрались на чистину, стали искать то место, и вдруг где-то совсем близко взвился густой жирный дым, сквозь клубы которого пробивались яростные языки пламени. Это вахтовики забыли закрыть вентиль и подожгли в котловане вылившуюся из трубы нефть. Клубится смоляной дым, тяжелея, опускается на реку с яра, нависая черной пеленой над водой и противоположным берегом. Не знавали васюганские плесы прежде такого... Стлался над водой дым, но то был дым из трубы ушедшего за поворот разволновавшейся реки парохода, напоминавшего о разлуке, но и предвещавшего что-то манящее, неведомое, что еще предстоит в жизни. Таявший над излучиной реки дым сгоравших березовых дров... Теперь казалось – рядом горит сама земля. Та земля, которую мы знали, когда здесь все было другим.

Сник и угас огонь, но еще долго дымились оплавленный котлован и опаленная вокруг земля. Моя, наша, всех тех, кто тут когда-то жил...

Пахло нефтяной гарью, и вспомнилось, как в сороковых годах на противоположном пологом берегу веснами белела кипень черемухи, и ветер доносил оттуда ее кружащий голову аромат. Но с годами, после весеннего половодья, невесть откуда стали появляться тысячи белокрылых бабочек, и прожорливые гусеницы, объедая черемуховые кусты, оставляли на сиротливых ветках лишь лохмотья седой паутины. А бабочки, словно огромные белоснежные цветы, тесно сбившись в кучи на приплесках, трепеща крылышками, медленно умирали на сыром песке. Когда в начале пятидесятых годов мы покидали Красноярку, черемуха почти вся засохла, и противоположный берег заполонил унылый тальник.



Посидели на берегу у кромки яра. Внизу – отражающий меняющее цвет небо Васюган, за спиной деревня, которой нет, и жизнь, которая там была, растаяла, как дым. Разлили в кружки привезенную с собой водку – помянуть тех, кто тут жил, но кого уже нет на свете. Сдвинули кружки...

– Пойдите, пойдите, – остановила Саша. – Когда поминают усопших, не чокаются.

Пусть они простят нас. Помянули всех, зарытых в здешней земле. И тех, кого знали, и забытых, безымянных. У Бога все живы...

Из Красноярки отправились в Муромку. По реке дотуда восемь километров, напрямки пешком – три. Валентина с мужем поехали на катере, а мы с Сашей поехали пешком. Может, последний раз пройти по знакомой нам обоим дороге... Сколько раз ходил я по ней, сколько раз ездил на лошади. Летом, зимой... Бывало, уже живя в городе, одолеет ночью бессонница, и мысленно вновь идешь по тому проселку. За околицей место топкое, шагов двести по гати, дальше сухо. Справа от дороги на отшибе домишко, в котором жил со своей семьей бакенщик Павел Васильевич Тарасов. Был он не из раскулаченных крестьян, а административно ссыльный откуда-то с Украины; лет ему, наверное, было немногим за сорок, но его густые волосы наполовину были седыми. Пел он прекрасно. Как-то августовским вечером плыли мы домой из Тевриза в лодке – Тарасов, красноярская певунья Татьяна Майданцева и я. Как они вдвоем великолепно пели! Сколько минуло лет, но порой кажется: снова слышу их голоса, вижу отражающиеся в воде берега, вижу, как мерно вздымаются и опускаются за бортом лодки гребни; недвижим вечерний воздух, не колыхнется речная гладь, лишь порой всплеснет в ней испуганная чем-то в темной глубине рыба, и пойдут по воде от всплеска, затухая, круги... Скрылось за молчаливым лесом солнце, высоко в небе подсвечены снизу закатным заревом перистые облака, и возносятся к ним с реки два поющих голоса – мужской и женский. Поют о замерзающем в степи ямщике, о молодом джигите Хас-Булате, о брошенной в Волгу персидской княжне... Поют о верности и измене, поют, веря в то, о чем кто-то сложил эти песни, поют, сопереживая тем, о ком они сложены. И уносит вдаль по плесам Васюган чью-то неизбежную грусть и чью-то воскрешенную в песне любовь...

Не раз впоследствии слышал я, как эти песни пели профессиональные певцы, но не откликалась так моя душа на их пение, как отзывалась она, когда пели те двое давним августовским вечером на пустынной таежной реке.

В конце сороковых годов Тарасов уехал из Красноярки, и домишко, в котором он жил с женой и ребятами, печально глядел на дорогу пустыми проемами темных окон. Но, когда я мысленно проходил по этой дороге, всякий раз видел тот стоявший на отшибе дом еще жилым, видел все на своем пути таким, каким оно было много лет назад. Теперь, спустя годы, уже не мысленно, а наяву мы шли с Сашей по этой запечатленной в моей памяти дороге. И так же, как стеснило чернолесье прижатую к реке чистину, где прежде была Красноярка, ужало надвинувшимся подлеском дорогу, которая вела из Красноярки в Муромку. Дорога, которую мы называли муромской. Все, все – и сама дорога, и по обок нее стало другим. Сопрела насланная через болотину гать за деревней; там, где на отшибе был домишко бакенщика, одиноко стояла полуразвалившаяся печь с горестно глядевшей в небо кирпичной трубой. Обвалились и сгнили мосточки через лога, да и сами лога стали мельче и положе. Были все мосточки когда-то похожими один на

другой – две пары свай, две слеги, а поперек плахи либо накатник из стесанных бревен. Прогремит, пересчитает бревешки тряская телега и дальше едет по нака-танной дороге.

Сколько всего было уже после того, как мы расстались со здешней скудной землей, с ее лоскутными полями, с этим зарастающим проселком, с его гатями и оврагами; сколько лет минуло, как распрощались с той жизнью, такой далекой отсюда, такой несхожей с тем, что было в нашей жизни потом.

Муромская дорога... Это не про нее ли?

*По муромской дорожке  
Стояли три сосны,  
Со мной милый прощался  
До будущей весны...*

Ведь вот они – три знакомых сосны у дороги. Наверное, как и прежде ясными утрами их кроны первыми освещает медленно выплывающее из-за невидимого отсюда Васюгана солнце, а вечерами, когда внизу уже сомкнулись прохладные тени, прощальные лучи еще золотят сосновые вершины. Две сосны рядышком, третья – особняком возле когда-то ведшего к кульстану колеистого свертка. Еще при нас не стало того кульстана, упали столбы, державшие рядом соломенную крышу гумна, и нет отсюда даже тропинки на давно непаханные окрестные поля.

*Позарастали стежки-дорожки,  
Позарастали мохом травую,  
Где мы гуляли милый с тобою...*

И эта песня не про здешние ли поля, не про эту ли дорогу, не про нас ли?

Разлуки, утраченные надежды, стареющая память... Но прорываюсь, прорываюсь мысленно в прошлое, и чудится – вот-вот окликнет нас кто-то из того ушедшего времени, услышим давно смолкшие голоса и звуки, напахнет запахами дегтя, сбруи, конского пота... Услышим окрики понукающих лошадемок пахарей, скрип колесухи плуга, и где-то близко, близко ширкающие взмахи кос на лугу с еще необсохшей росой на волглой траве... Но рядом тишина, только порой испуганно затрепещет листва на надвинувшихся к дороге осинах, и опять молчаливо, тихо, и, кажется, нельзя нам с Сашей разговаривать, чтобы не нарушить эту перво-зданную тишину.

Муромская дорога... Пять лет нашей жизни, пять лет нашей молодости.

Расступился стиснувший дорогу лес, и предстала перед нами в своей беззащитной убогости окраина другого, словно вымершего поселка, – заросшая чертополохом и польнью улица, редкие, осевшие в землю избы с черными провалами окон и торчащими над срубами, словно двускатные крыши могильных крестов, оголенными стропилами... Зброшенная, уходящая в небытие Муромка... Здесь, после того как объединили ее с Краснояркой, мы прожили десять лет. Здесь родились обе наши дочурки. Здесь мы купили у уезжавшей в дом престарелых старухи избенку, огород с еще невыкопанной мелкой картошкой, завели корову... Спустя два года перебрались в другой домишко ближе к реке, и так же, как в Красноярске, я часто грустно смотрел с высокого берега на плавно несущий мимо яра темную

воду вошедший в мою судьбу Васюган. Где-то далеко-далеко за бесчисленными речными плесами и развилками дорог была иная жизнь, в которой осталось мое испуганное прибалтийское детство; я понимал, что всё там изменилось и стало другим, но ведь что-то же должно остаться от того прошлого, что-то должно сохраниться после всего, что случилось... Было мне уже без малого тридцать лет, я томительно ждал, когда окончится мой срок ссылки, и уеду отсюда, снова буду учиться, обрету свой путь в жизни.

Но, когда после смерти Сталина меня сняли с учета комендатуры, мы еще шесть лет прожили в Муромке. Был я уже вроде вольным, однако, чтобы уехать, нужен был паспорт, а получить его колхознику можно было, только если отпустит общее колхозное собрание. Но районным начальством председателям колхозов было велено отпускать только больных и немощных. Да и ехать-то мне было, в общем, не к кому, никто меня нигде не ждал, тем более с семьей. И хотя рвалась душа отсюда, понимал, что несбыточно вернуться в прошлое, невозможно вернуть навсегда утерянное... Тут, в Муромке, был у нас свой кров, свое маломальское хозяйство и ставшая уже привычной, далекая от моего прошлого жизнь, которая худо-бедно начала налаживаться. В конце пятидесятых годов обосновалась в Муромке нефтеразведочная экспедиция, привезли нефтеразведчики электростанцию, и появился электрический свет; провели в избы радио, колхозу начали платить деньги за поставленную государству продукцию, и колхозники стали хоть что-то получать за свой труд. По нынешним меркам была та жизнь по-прежнему скудной и бедной, но после беспроектных военных и тяжких послевоенных лет всё тогда воспринималось иначе.

Конец пятидесятых годов – время бесконечных хрущевских реорганизаций на селе – колхозы начали реорганизовывать в совхозы, объединяли хозяйства, укрупняли сельские районы. В 1959 году Васюганский район присоединили к соседнему Каргасокскому, и следом новое районное начальство распорядилось муромский колхоз присоединить к находившемуся от нас за пятьсот километров каргасокскому «Заря коммунизма». Расположенный рядом с райцентром, этот колхоз уже поглотил четыре хозяйства, наш колхоз стал пятым.

На прибывшую с низовья баржу погрузили коров, лошадей, телят, и потянул буксирный катер низко осевшую в воду баржу к далекой Оби... Спустя какое-то время пришла вторая баржа и увезла имевшиеся в ту пору в колхозе два колесных трактора, плуги, бороны, сеялки и остальную, пригодную к работе, сельскохозяйственную технику. Переехали из Муромки на новую центральную усадьбу три семьи, из оставшихся – кто устроился в нефтеразведку, кто отправился искать счастья в город, несколько семей вернулись в села, откуда в тридцатых годах были высланы на Васюган. А я с женой и ребятами уехал в Каргасок, где меня взяли на работу в районную газету. Нефтеразведка спустя два года перебазировалась в Средний Васюган, и не стало Муромки.

В Каргаске мы прожили чуть менее трех лет, затем переехали в Томск, и захлестнула нас суетная городская жизнь. Однако с годами всё чаще стала вспоминаться та прошлая, что была, когда мы жили в деревне. Всё тогдашнее трудное деревенское отошло на второй план, вспоминалось только милое сердцу.

И Саша, трудно привыкавшая к городской жизни, к которой мы стремились, в разговорах со мной всё чаще обращалась к тому прошлому, когда мы были мо-

ложе, жили в деревне, и всё, связанное с той порой, по прошествии многих лет виделось ей трогательней и светлей, чем, наверное, было на самом деле.

– Не надо было торопиться уезжать, – говорила она. – Не надо.

– Но ведь Муромка была обречена, – возражал я ей. – Так и так надо было уезжать... Что бы мы там делали?

– Да, да, – соглашалась она. – Только всё равно жалко. Ты же знаешь, как часто мне снится наш дом и то время, когда мы там жили.

Она не говорила, что то были самые счастливые годы нашей семейной жизни, но я понимал, что думает она то же, что и я...

И вот, постаревшие, вырастившие детей, мы в покинутой всеми Муромке. Постройки, что были тут когда-то поновей и крепче, нефтяники раскатали по бревнышку и увезли на свою новую базу, несколько изб сожгли пастухи, пригнавшие сюда на лето пасти скот из Среднего Васюгана, но часть далеко отстоявших одна от другой избенок, вращая в землю, еще доживали здесь свой век.

По протянувшейся вдоль берега бывшей улице пошли мимо них, мимо редких берез с покосившимися скворечниками, шли туда, где когда-то стоял домишко, в котором прожили на Васюгане семь последних лет. И так же, как в Красноярске, печально шурша, оплетала наши ноги потревоженная трава, будто хотела нас здесь удержать, будто силилась рассказать о чем-то... И вот оно то место на излучке реки, где был наш кров, на который мы в последний раз обернулись взглянуть и проститься, покидая его. Теперь в зарослях застарелой крапивы лишь темнело несколько трухлявых бревен, рядом высилась груда печных кирпичей, с которых дожди и талые снега так и не смыли сажу когда-то сгоревших в печи дров, а там, где был под окном палисадник, буйно разросся одинокий куст бузины, который мы посадили много лет тому назад. И больше ничего, ничего из того прошлого...

Знали мы, что тут увидим, но не представляли, что станет так грустно на душе.

– А помнишь... – нарушила молчание державшая меня за руку Саша.

– О чем ты? – спросил я.

– На стене у нас картинка из журнала была, ты принес – дорога в лесу, моросит дождик, туман, и по этой дороге уходят куда-то двое – мужчина и женщина...

– Помню, – сказал я. – Почему ты об этом?

– Так просто... А еще...

Губы ее дрогнули, и она замолчала. Я не стал ничего спрашивать, только крепче стиснул ее ладонь:

– Пойдем, ходим туда, где мы вначале жили, может, там еще что-то осталось.

Пойдем, Сашенька.

Она покорно кивнула, мы перешли спускавшийся к реке пологий ложок, по которому в свое время конюх водил зимами к проруби на водопой лошадей, и подолись в другой конец поселка.

Но и той избенки, в которой мы сначала поселились, когда переехали из Красноярска, тоже не было. Напоминали о ней лишь вросшие в землю бревна нижнего венца, заросшая чертополохом яма – бывший подпол, накренившийся столб калитки и глинобитная русская печь с развалившейся трубой. Когда-то эта печь занимала почти половину нашей избы, на ней ночевали наши дочурки, в ней Саша пекла хлеб, варила еду... Помню, как в загнетке, отдавая последний жар, медленно угасали багряные угли, помню, как зимой, зайдя с улицы, скидывал рукавицы

и, прислонив руки к побеленной печи, ощущал ладонями ласковое печное тепло... Между печкой и стеной возле двери был закуток, куда помещали родившегося теленка. Корова наша обычно телилась в феврале, почему-то всегда ночью, и когда приближалось это событие, его загодя с вечера ждали. Горела на столе керосиновая лампа, сгонявшая в углы избы тень, казалось, как-то по-особому громко и часто принимался свистеть обитавшийся за печкой сверчок, и было что-то трепетное и таинственное в этом ожидании. К корове Саша в это время меня не допускала, надев ватник и накинув на голову полушалок, сама несколько раз выходила во двор, возвратясь, сообщала, что «вот-вот», и в конце концов надолго задерживалась во дворе, после чего с улицы доносился стук в сенную дверь, я торопливо отворял ее, и Саша заносила в избу завернутого в тряпку, еще необсохшего теленочка.

– Ну вот, слава Богу, – говорила она счастливо и бережно, с какой-то крестьянской истовостью опускала теленка на заранее приготовленную ему соломенную подстилку. Несмышленный, шеборча соломой, он пытался встать, ноги его скользили и разъезжались, он падал, снова подымался, таранился на свет, не понимая, что произошло, и опять, не в силах устоять на тонких подламывающихся ногах, падал. Дочурки наши обычно в это время спали, а утром, пробудившись, узнав, что у коровы родился теленочек, свесив головки с печи, смотрели на него и радовались.

Печь была частью той нашей жизни, частью деревенского быта, теперь же, лишенная крова, открытая дождям и зимним морозам, она будто с неммым укором глядела на нас из зарослей крапивы и лапушистого репейника.

– Напрасно мы сюда пришли, – промолвил я. – Столько лет уже прошло, всё порушено.

Саша грустно улыбнулась:

– А печка наша уцелела. Надо спасибо ей сказать, грела нас, девчонок наших обогревала.

Приминая ногами крапиву, я подошел к печи, раздвинул вытянувшийся репейник, и вдруг, чуть не задев меня крылом, из чувала метнулась серенькая пичужка и, отлетев, опустилась на ветку стоявшей на противоположной стороне заросшей улицы березы.

Я заглянул в чувал, там было сумеречно, но смог разглядеть гнездышко, в котором светлели два крохотных яичка:

– Тут гнездо, здесь эта птаха птенцов высидивает.

– Милая ты моя, – обрадованно-ласково сказала Саша. – Нашла себе место... Пойдем отсюда, ей же надо на гнезде быть. Пошли быстрей.

Мы отошли на несколько шагов, я обернулся, пичужка сорвалась с ветки и, сделав круг над печкой, юркнула в закрывавшие чувал заросли.

По промятой тропинке отправились обратно к берегу, мимо покинутых изб, мимо пустошей, где прежде тоже стояли избенки, в которых жили те, кого мы когда-то знали.

– Надо взять что-нибудь на память, – сказала Саша и нагнулась над лежавшим в траве изолятором из зеленого бутылочного стекла:

– Может, это возьмем?

– Зачем? Надо что-нибудь более давнее, – возразил я.

– И правда, зачем...

Ближе к берегу наткнулись на ржавый лемех от плуга:

– Может, его взять?

– Куда нам, Саша, с этим лемехом, зачем он?

– Верно, зачем...

Остановились на пригорке, где когда-то стоял домишко, из которого много лет назад уехали отсюда насовсем, и с новой силой навалилась грусть.

– А всё-таки, почему ты картинку, которая у нас на стене была, вспомнила? – спросил я Сашу. – Ну, ту, на которой по дороге уходят в туман двое.

Саша вздохнула:

– Да мне трудно объяснить... Подумала – ведь мы тоже уходим. Я не про Муромку, я про жизнь. И сегодняшний день тоже уже не вернется... Понимаешь, что я хочу сказать?

Я молча притянул ее к себе и поцеловал.

Спустились под яр, где нас уже ждали, по ребристому трапу поднялись на катер.

– Повидали родные места? – спросил меня муж Валентины.

Я кивнул.

– Лет через десять вовсе ничего не будет. – Он криво усмехнулся. – А пока хоть видать, что здесь люди жили.

Застучал двигатель, побежали за кормой косые волны, отдалялась, отдалялась от нас покинутая Муромка. В последний раз я обернулся на пустынный яр, и сдавило горло спазмой. Был бы один, наверное, заплакал бы, а тут гнал от себя слезы, что-то говорил, говорил, чтобы не одолели воспоминания. Поплыли мимо нас поросшие унылым тальником встречные берега, выдавшиеся в реку, заструганные волнами песчаные отмели, принесенные откуда-то паводком черные коряги, когда-то бывшие деревьями. Плес, излука, и снова отражающий васюганское небо плес... Мерно стучал двигатель, всё дальше и дальше оставалась Муромка... В последний раз мы там были или еще когда-нибудь вернемся?

---

...Прошли годы, уже девять лет, как ушла из жизни моя Саша, и порой думаю, что, может, и не надо было нам тогда ехать туда, где мы были когда-то бедны, но молоды, и казалось, что столько лет у нас еще впереди. Пусть бы оставалась в нашей памяти Муромка, какой была в ту давнюю пору, а не такой, какой предстала перед нами, когда мы приехали на то место более тридцати лет спустя.

Как-то давно-давно Саша спросила меня:

– Хотел бы ты прожить заново свою жизнь, не ведая, что у тебя впереди?

– Всю, с самого начала?

– След в след. Все, как было.

– Не знаю, – ответил я не сразу.

Но, если бы она когда-нибудь еще раз спросила о том же, я бы ответил:

– Нет, Саша. Не хочу.

И, наверное, она поняла бы меня.

Был у меня самый счастливый, самый светлый период – детство, когда рядом были отец, мать, маленькая сестренка. Счастье, которое я тогда не осознавал. И как хотел бы я вернуться в то минувшее время! Но каждый заново прожитый день неумолимо приближал бы меня к тому страшному утру, когда громко и требова-

тельно стали колотить с улицы в нашу дверь, и всё радостное и светлое враз обвалилось. Настала другая жизнь – безжалостная и беспощадная: разлука с отцом, закрытые на железные засовы гулаговские вагоны, в которые нас с тысячами таких же, как мы, «социально-опасных», повезли на восток. Папу – в концлагерь на Северный Урал, маму, меня и мою малолетнюю сестренку – на спецпоселение в Сибирь. Все они умерли – отец через восемь месяцев в лагере, мама и сестренка – менее чем через полтора года в ссылке. Обе в один и тот же день... Была война, великое бедствие, усугубленное для таких, как мы, жестокой мучительной ссылкой, и от голода умирали не только в блокадном Ленинграде. И я не хочу возвращаться в прошлое, в котором ничего не изменить и никого не спасти. Не хочу, чтобы всё то повторилось заново, даже ценой возвращения в радужное детство, где еще не довлеет тяжкий груз воспоминаний и мир вокруг светел.

Говорят – время лечит, но за прожитые годы боль моя не утихла, на исходе жизни она всё обостренней. Наверное, надо состариться, чтобы оценить многое из того, что в детстве казалось обыденным и не имевшим цены.

А если, забыв прошлое, прожить жизнь заново с того весеннего дня сорок пятого года, когда я сошел по трапу на приплесок Васюгана и поднялся по взвозу на красноярский яр, где началась для меня новая жизнь? Но нет, не хочу, не хочу предать свое детство, память о нем – спасительный якорь, который позволяет мысленно возвращаться в самое счастливое для меня время. Его нельзя отринуть, как нельзя отринуть и то трагичное, что было потом – тот крест, который нес и буду нести по моему изобилующими крутыми поворотами жизненному пути до окончания своих дней.

Там, в Муромке, Саша сказала мне: «Мы все уходим». Да, мы все уходим со своими горестями и радостями, со своими страданиями, со своими грехами и раскаянием. Уходим, унося с собой нашу память и наше время. Мы уходим, а тем, кто приходит на смену нам, далеки наши надежды и разочарования, им подчас трудно понять наши поступки и нашу жизнь в пору, которая отдаляется с каждым годом и с каждым днем. Мы уходим один за другим, и, быть может, за гранью неведомого, там, где всё по-другому, мы встретим тех, кто ушел раньше нас, и кого мы так сильно любили на этой земле.

*Томск, 2010 г.*

**Валерий Доманский**

## «Я – ПОСВЯЩЕННЫЙ ОТ НАРОДА...»

### МИССИЯ ПОЭТА В ТВОРЧЕСТВЕ НИКОЛАЯ КЛЮЕВА

*Я – посвященный от народа,  
На мне великая печать,  
И на чело свое природа  
Мою прияла благодать.*

В этих известных строках Клюева по существу заключен его творческий манифест. Но здесь не так все однозначно: он не просто певец народа, природы и земли Русской. Сколько таких поэтов было и есть на нашей земле! Но он и не избранный, как сейчас наш народ избирает своих представителей во всякие общественные структуры. Он – «посвященный», именно ему открыл свои потаенные тайны, сокрытые от обычного человека.

Что это за тайны? Послушаем самого поэта: «От норвежских берегов до Усть-Цыльмы, от Соловков до персидских оазисов знакомы мне журавлиные пути. Плавни Ледовитого океана, соловецкие дебри и леса Беломорья открыли мне нетленные клады народного духа: слова, песни и молитвы. Познал я, что невидимый народный Иерусалим – не сказка, а близкая родимая подлинность, познал я, что кроме видимого устройства жизни русского народа как государства, или вообще человеческого общества существует тайная, скрытая от гордых взоров, иерархия, церковь невидимая – Святая Русь, что везде, в поморской ли избе, в олонечкой ли позёмке или закаспийском кишлаке есть души, связанные между собой клятвой спасения мира, клятвой участия в плане Бога. И план этот – усовершенствование, раскрытие красоты лика Божия»<sup>1</sup>.

Конечно, не будем дословно понимать все сказанное Клюевым в его «Гагарьей судьбине», ведь сам поэт писал о себе: «Греховным миром не разгадан...». Это не обычная автобиография с некоторой долей вымысла, а сложная книга со своим мифотворчеством, откровениями, пророчеством, интертекстами, иносказаниями, аллюзиями, своеобразной системой метафор. Книга, которая требует адекватных приемов для ее прочтения. Опыт такого прочтения предпринял в своем биографическом романе-исследовании Сергей Куняев<sup>2</sup>.

В приведенной мною большой цитате из «Гагарьей судьбины» есть некая программа жизни, творчества и понимания назначения поэта, владеющего потаенным знанием, то есть «нетленными кладами народного духа»: «слова, песни и молитвы».

Имеется и вторая загадка в тексте процитированного клюевского стихотворения «Я – посвященный от народа...»: почему не поэт принимает благодать от природы, как в славянской мифологии, а наоборот, природа «на свое чело» его «прияла благодать»? Это уже христианская концепция, но вместо поэта должен быть Христос. Чтобы ответить на поставленные вопросы, необходимо обратиться к этапам становления и самоопределения Клюева как поэта.

<sup>1</sup> Клюев Н.А. Гагарья судьбина // Клюев Н.А. Словесное древо. СПб, 2003. С. 35.

<sup>2</sup> Куняев С.С. «Ты жгучий отпрыск Аввакума...» // Наш современник, 2009. № 1–10.



Самые ранние юношеские стихи Клюева, как и Есенина, достаточно традиционные и написаны в духе крестьянских поэтов (А. Кольцова, И. Сурикова, И. Никитина, С. Дрожжина). Главная их тема – тяжелая судьба народа, печаль и безысходность. Но сразу же имеется отличие: у Есенина появляются надсоновские мотивы. Лирический герой сосредоточен лишь на собственной печальной судьбе, поэтому стихотворение и названо «Поэт»:

*Он бледен. Мыслит страшный путь.  
В его душе живут виденья.  
Ударом жизни вбита грудь,  
А щеки выпили сомненья.*

У Клюева долгое время тема поэта не заявлена. Его лирический герой живет думами и настроениями народа. Поэтому его судьба становится общей для многих людей из народа, как, например, в революционной песне «Безответным рабом/ Я в могилу сойду...». Фактически до 1907 года, переписки с Блоком, определение себя как поэта Клюева мало интересует. Идет процесс овладения поэтическим мастерством, поиск собственного голоса. Диапазон необычайно широк: от народно-песенной поэзии и былинных стилизаций до символистских опытов и мотивов. Пока его поэзия не отражает глубины духовных поисков, которые сразу же обозначатся в его переписке и общении с Блоком. Любопытно, что Блок, как первый поэт, «заметил и благословил», хотя и по-разному, Клюева и Есенина. Есенина как поэта-песенника, а Клюева – как крестьянского пророка и поэта, наделенного сокровенным словом. Этот факт очень значим в понимании их духовного и поэтического становления.

Блок очень много значил в судьбе Клюева. При содействии Блока стихи Клюева печатаются в журналах «Золотое руно», «Новая земля». В 1912 вышли две поэтические книги Клюева – «Сосен перезвон» (с предисловием В. Брюсова) и «Братские песни», а затем еще два сборника – «Лесные были» (1913) и «Мирские думы» (1916).

Но для Блока Клюев выступает не только учеником, но и учителем, не обычным учителем, скорее духовником. Как известно, для Блока общение с Клюевым, прежде всего эпистолярное, а затем и личное (они очно познакомились четыре года спустя после начала переписки) имело чрезвычайное значение. Блок помещал отрывки из писем Клюева в своих статьях, неоднократно цитировал своего корреспондента, читал его письма знакомым. Клюев явился для Блока не просто талантливым человеком из народа, но, прежде всего, носителем глубинного национального духа, новым Иоанном Крестителем. Не случайно в декабре 1911 года мать поэта в письме к М.П. Ивановой сообщает: «Клюев нынче осенью провел с Сашей несколько дней. Сидел по ночам. Я думаю, Вы поймете всю важность этого Крещения».

Не будем подробно останавливаться на этой теме, она достаточно полно и интересно представлена К.М. Азадовским в его книге, где впервые были напечатаны и прокомментированы письма Клюева к Блоку<sup>1</sup>.

Что произошло в период этого общения с самим Клюевым? Он понял, что в исторической эпохе ему уготовлено место крестьянского поэта-мессии, и стремился его занять. Поэтому тема поэта будет заявлена в его творчестве теперь необычайно сильно и уже не уйдет до конца его жизни.

<sup>1</sup> Николай Клюев. Письма к Александру Блоку: 1907 — 1915. Публикация, вводная статья и комментарии — К. М. Азадовский. М., «Прогресс-Плеяда», 2003.

В программном стихотворении 1909 года «Поэт» Клюев создаст амбивалентность своего образа поэта – наружного и потаенного, «неосязаемого»:

*Наружный я и зол и грешен,  
Неосязаемый – пречист,  
Мной мрак полуночи кромешен,  
И от меня закат лучист.*

*Я смехом солнечным младенца  
Пустыню жизни оживлю  
И жажду душ из чащи сердца  
Вином певучим утолю<sup>1</sup>.*

Еще более загадочным предстанет его лирический герой в стихотворении «Пловец» 1908 г., посвященном А. Блоку. Необычна его композиция: в начале стихотворения лирический герой-певец направляет свой челн в «страну пророков и царей», чтобы на него «пролилась Божья благодать»:

*В страну пророков и царей  
Я челн измученный направил  
И на безбрежности морей  
Творца Всевидящего славил (с. 107).*

Во второй части наступает преображение героя, получившего эту благодать от Бога:

*Рукою благостной Господь  
Развеял сумрак непогодный  
И дал мне светлую милоть  
И пояс, радуге подобный.  
Молниевиден стал мой лик  
И ясновидящ взор туманный,  
Прозрев за далью материк  
Земли пловцу обетованной... (с. 107).*

Совсем необычный финал стихотворения. Древний бог породил природу, но не дал ей благодати, благодать прольется на нее от прозревших, обретших внутреннее зрение людей, идущих по пути Христа. Творчество и есть путь Христа, создание красоты, гармонии, наделение всего мира живым словом, потаенным знанием. И настоящий поэт обладает этим знанием:

*Как будто в сумраке далече,  
За гранью стынувшей зари,  
Пловцу отважному навстречу  
Идут пророки и цари (с. 108).*

Огромную роль в жизни Ключева сыграл и украинский кобзарь Т.Г. Шевченко. Потомок коренного крестьянского рода северного поморского края не раз мечтал о славе украинского поэта, который из крестьянских низов поднялся до поэта всего украинского и славянского мира. Русский поэт тоже знал себе цену, понимал

<sup>1</sup> Клюев Н.А. Сердце Единорога. Стихотворения и поэмы. СПб., 1999. С. 115. Далее ссылки на это издание с указанием страницы.

значение своего таланта и того места, которое он занимает и займет в галерее крестьянских (разумеется, христианских) поэтов. Если Шевченко открывает эту галерею, то Ключев ее фактически завершает, так как в последний раз в творчестве Ключева народная речь, уходящая в небытие крестьянская культура и история, по словам О. Мандельштама, «замкнула язык извне, отгородила его стенами государственности и церковности». Ключев – последний пример этой живой жизни народно-поэтического и книжно-архаического языка, который «со всех сторон омывает и опоясывает грозной и безбрежной стихией»<sup>1</sup>.

Как и у Тараса Шевченко, основы его образности и мирозерцания скрываются в фольклорных истоках, церковно-славянской и древнерусской традиции. Но если украинский поэт аккумулировал в своем творчестве ритмомелодику украинской разговорной речи, разнообразие его интонаций и мелодий народных песен, лукавую мудрость сказок, печаль дум, высокую архаику исторических летописей, то стих Ключева больше восходит к русским былинам, календарно-обрядовой поэзии, плачам и причитаниям Русского Севера, традициям старообрядческой книжности. Это своеобразие его поэтического мастерства точно подметил Осип Мандельштам в известном своем высказывании: «Ключев пришел от величавого Олонца, где русский быт и русская мужицкая речь покоятся в эллинской важности и простоте. Ключев народен, потому что в нем уживается ямбический дух Баратынского с вещим напевом неграмотного олонецкого сказителя»<sup>2</sup>. Сам русский поэт, обладая пророческим даром, улавливал свою миссию художника в эпоху крушения крестьянской культуры и унификации народного языка:

*О Боже сладостный, ужель я в малый миг  
Родимой речи таинство постиг,  
Прозрел, что в языке поруганном моем  
Живет Синайский глас и вышний трубный гром?.. (с. 290–291).*

Хочу заметить, что Ключев к творчеству и личности Шевченко обращался неоднократно. Обратился он к нему и в своей нарымской поэме «Кремль». В ней, ведя диалог с властями, Ключев прибегает к истории жизни Тараса Шевченко, которая является поучительным примером победы великого поэта над своими историческими гонителями в «малом времени». «Большое время» все расставило по своим местам: поэт не просто реабилитирован историей, он стал духовным отцом украинского народа, гордостью украинской и мировой литературы, а сославший его русский царь Николай I подвергся нравственному остракизму потомков.

В этой поэме речь уже идет не только о сближении и сходстве судеб двух поэтов – украинского кобзаря и олонецкого гусяря, но и о понимании Ключевым своей роли в истории русской национальной поэзии, которую он сравнивал с ролью Шевченко, мысля себя его поэтическим «собратом»:

*Тарас Николе, как собрату,  
Ковыльную вверяет кобзу! –  
И с жемчугом карельским розу  
Подносит бахарь Украине!<sup>3</sup>*

Их встреча в веках знаковая: как Державин из дряхлеющих рук передает свою лиру юному Пушкину, так и Шевченко «ковыльную вверяет кобзу» своему

<sup>1</sup> Мандельштам О. Э. Собр. соч. в 4 т. Т. 2. М., 1991. С. 245.

<sup>2</sup> Мандельштам О. Э. Т. 3. С. 34.

<sup>3</sup> Наследие комет. Незвестное о Николае Ключеве и Анатолии Яре. Кравченко Т., Михайлов А. Москва-Томск, 2006. С. 211.

поэтическому потомку – русскому народному поэту, именуемому диалектным словом *бахарь*, которым обозначали в старину говорунов, краснобаев, рассказчиков, сказочников.

Имеет свой потаенный смысл и подарок «певца олонекской избы» великому Кобзарю – роза с жемчугом. Образ розы – царицы цветов – заключает в себе множество значений. Но в поэтике клюевских текстов это, прежде всего, символ сердца Богоматери, вмещающего безграничную любовь к людям и их бесконечные страдания. Он применим также и к образу народного поэта, «сердце-роза» которого вместилище красоты и неизбывной печали. Как лик Богоматери украшали окладом из жемчуга, так и поэтическое слово « в жемчугах ходило».

И поэт Николай Клюев имел полное право поставить себя рядом с великим украинским поэтом Тарасом Шевченко, потому что никто из крестьянских поэтов не представил в таком завершённом виде «избяной космос», как это сделал Клюев (цикл стихов «Избяные песни», поэтический сборник «Изба и поле», поэмы «Мать-Суббота», «Деревня»). В его представлении изба-жилище-храм – не только модель русского национального космоса, но и всеславянского, всемирного. Она является своеобразной матрицей планетарного дома, которая соединяет части света, разные народы и культуры. Становятся понятными неожиданные планетарные ассоциации Клюева, связанные с образами разных стран, народов, цивилизаций и культур: Древней Руси, Египта, Вавилона, Греции и Рима, Северной и Южной Америки, Индии и Китая. В красном углу русской светелки поэту видится и манящая его далекая Индия:

*Кто несказанное чаёт,  
Веря в тулупную мглу,  
Тот наяву обретает  
Индию в красном углу (с. 311.),*

и другие страны, так как весь мир состоит в родстве с бревенчатой избой. Через «сердце избы» пролегло множество духовных векторов, но особо значима для поэта геополитическая ось Русский Север – Юг. При этом если Юг – исток древнерусской культуры, то Север является хранителем ее первообразов, кодов славянской мифологии, чистоты православной веры. Вот почему для олонекского гусяра, так же как и для Шевченко, дороги все знаковые топосы Киевской Руси: «тур златорогий Киев», Чернигов, Путивль, Полтава, Переяславль, Волынь, Карпаты. В поэтическом сознании Клюева домонгольская Русь существует целостно и неделимо, потому что это общая духовная родина единой славянской семьи, о содружестве и процветании которой мечтал его старший поэтический брат Тарас Шевченко:

*Обніміться ж, брати мої,  
Молю вас, благаю<sup>1</sup>.*

Каждый великий поэт, предчувствуя свой уход, создавал свой поэтический памятник. Имеется он и у Клюева, это стихотворение «Есть две страны: одна – Больница», своеобразная проекция пушкинского «Пророка», так часто цитируемого им в поэме «Кремль». Но здесь вместо «шестикрылого серафима» является ангел смерти, «тетушка Могила». Перед их лицом, в этот Судный день, «поэт олонекской избы» без ложной позы, просто и трогательно, признается в своей искренней любви к Родине, России:

<sup>1</sup> Шевченко Т. Г. Твори. В 5 т. К., 1978. Т.1. С. 306.

*Люблю тебя, Рассея,  
Страна грачиных озимей! (с. 632)*

Как и в пушкинском стихотворении, в клюевском два плана: один реальный, насыщенный мрачными образами Нарыма и Томска, и мифологический – «кущи рая». Предошущая неминуемую гибель, поэт словно живет на грани этих двух миров. В противоположность земному, безжизненному миру, сотканному из образов смерти, тот, неземной мир, полон божественной музыки и гармонии. Символично, что встречает поэта там, в другом мире, «серафимом с лютней». Это знак славы и бессмертия. Бессмертия его поэзии, прославляющей «родной овсень», которой вторит сам ангел. Заканчивается стихотворение упоминанием об «Оном Дне», Судном дне, когда перед Христом предстанут все грешники, а Россия очистится от скверны и засияет в своей нетленной красоте.

Чтение поэзии Клюева – это глубокая духовная работа, постижение невидимой, потаенной России (Руси-Китежа), которая открывается только «посвященным от народа».

## Юрий Хардигов

### ПОСЛЕДНЕЕ ПРИСТАНИЩЕ ПОЭТА

Вся жизнь Клюева в ссылке – невыносимые тяготы и страдания. Опубликованные «сибирские письма» поэта рисуют точную картину положения ссылкеных в тридцатые годы. Человек глубоко одаренный, обладающий высоким интеллектом, он был вынужден терпеть произвол и насилие властей, переносить презрение и хамство окружающих его людей. И это только за то, что поэт имел свои убеждения, мысли, чувства, не нравившиеся Диктатуре, создавшей «грозный орган».

Вот некоторые выдержки из писем Клюева:

*«Теперь я в своей комнатухе среди чужих людей, которым я нужен, как собаке пятая нога. День и ночь лежу, сегодня первый раз сполз к столу и, обливаясь потом от слабости, пишу Вам... Тоскую невыразимо, под несметными избяными мухами – лежу в духоте, давно без бани, вымыть некому, накормить тоже. Левая рука висит плетью. На ногу ступаю маленько. Она распухла, как корчага».*

*«Анна Исаевна – моя хозяйка по квартире, властная базарная баба, – взялась меня кормить за 75 р. в месяц. На исходе месяца начинаются справки: получил ли я перевод и т. п. Следом идут брань, придирки. Очень тяжело. Слез моих не хватает. И я лежу, лежу... С, как бревно, ногой, с изжелта-синей полумертвой рукой».*

*«Мороз под сорок. Я без валенок, и в базарные дни мне реже удастся выходить за милостыней. Подают картошку, очень редко хлеб. Деньгами от двух до трех рублей...»*

Все эти письма относятся к периоду жизни Николая Алексеевича по пер. Красного Пожарника, 12.

В одном из своих последних писем В.Н. Горбачевой поэт сообщил новый адрес жительства в Томске: Старо-Ачинская, 13. Томский период жизни Николая Клюева удалось дополнить некоторыми существенными деталями.

В центре Томска есть уникальное место – Белое озеро. Если пройти через сквер на противоположную сторону от памятника космонавту Н.Н. Рукавишникову и углубиться в узкую улочку старого города, то через несколько минут ходьбы вы окажетесь у невысокого, ладно срубленного дома по улице Старо-Ачинской, 15 (ранее – 13. – Ю.Х.).

До сего времени ничего не было известно о последних месяцах жизни поэта в Томске, о людях и доме, проводивших его в «жизнь вечную».

Писатель Алексей Иванович Шеметов был одним из тех, кто навестил поэта перед его последним арестом. Вот что он вспоминает: в довольно просторной прихожей его встретила приветливая женщина. «Вы к Николаю Алексеевичу? – спросила она. – Подождите немного, он занят».

Шеметов стал ждать. Вскоре из комнаты вышел священник. Через некоторое время вышел второй священник, а за ним – Клюев. Он был в косоворотке, руки у него, как у Толстого, просунуты под ремешок, которым он был подпоясан. В комнате, куда его пригласил поэт, он увидел на столе полдюжину французских булочек (их еще называли сайками) и тарелку с яйцами. Видимо, священники подкармливали бедствующего поэта.

Они долго говорили. Николай Алексеевич рассказывал начинающему литератору о писательском труде, требующем глубокого знания языка и культуры. Возможно, этот разговор и стал определяющим в судьбе Алексея Шеметова – он стал писателем.

Но что же это за дом, в котором провел свои последние дни поэт? Кто его приветливая хозяйка?

Мне удалось найти и выслушать сына тогдашней хозяйки дома по улице Старо-Ачинской, 13 – Сергея Васильевича Балакина. Ему 74 года, но удивительно ясная память сохранила мельчайшие подробности, детали его общения с Николаем Алексеевичем Ключевым.

Сергей Васильевич нарисовал план их квартиры, комнаты, которая была выделена Ключеву. Обозначил место, где стояла его «варшавская кровать» с панцирной сеткой.

Вот его некоторые воспоминания: «Я вернулся из армии, радостно ворвался домой. Увидев меня, мама очень обрадовалась, но тут же предупредила: веди себя по-тише. У нас живет интеллигентный человек, писатель. Он очень болен.

Мама по профессии была медработником. Она ухаживала за больным Николаем Алексеевичем, давала ему лекарства, купала в большой деревянной ванне.

Николай Алексеевич носил серый пиджак, брюки навыпуск, косоворотку. Были у него валенки с азиатскими галошами. Левую руку он почти не вытаскивал из кармана: она была парализована.

Еду ему подавали в комнату. Он любил борщ и овсяный кисель, которые мама ему готовила. После завтрака он подолгу работал, писал, а после обеда отдыхал: читал нам стихи, ходил на Ушайку. По воскресеньям обедали все вместе, усаживаясь в комнате за большим столом. Иногда Николай Алексеевич любил готовить сам».

Сергей Васильевич задумывается, мысленно возвращаясь к тем далеким дням: «А знаете, как он читал стихи?! И какие это были стихи. Я очень любил его слушать. Он читал мне свои поэмы «Львиный хлеб», «Привет тебе, Анастасия».

В строчках, которые Ключев написал в Томске и которые вспомнил Сергей Васильевич, поэт представил ошельмованную, повергнутую Россию, оторванную от своих исконных земель, и уничтоженного крестьянина:

*От Москвы до Аляски – кулацкий обоз.*

*Сломанные косточки, крови горсточки...*

О том, что Ключев написал в Томске четыре поэмы, он сообщает в письме В.Н. Горбачевой: «*Передайте ему, что я написал четыре поэмы...*».

Строчки ключевских стихов вспоминала и В.В. Ильина, знавшая поэта в Томске и помогавшая ему материально: «Ты, Беломорский Свет-канал. Тебя Ефимушка копал, тебя копала тетка Фекла – тут вся земля от слез промокла». А вот как, с ее слов, рассказывал Ключев о причинах своего ареста и ссылки в Сибирь: он был сослан за саботаж собственной музе. За то, что перестал писать и печататься.

Дважды работники НКВД изымали рукописи Николая Ключева. Первый раз (при аресте в 1936 году) и второй раз (при аресте в 1937 году) у него были изъяты четыре тетради. Найти их пока не удалось.

Хочется немного рассказать о семье Балакиных, которые приютили поэта в последние месяцы его жизни, где Ключев обрел теплоту русских сердец. Они и проводили его в печальную дорогу.

Мария Алексеевна Балакина, в девичестве Зоркальцева, родилась в селе Зоркальцево под Томском. Ее муж Василий Петрович Балакин был советским специалистом-инженером: работал заведующим мельницей на паровом котле, начальником электростанции. После гражданской войны под его руководством за три месяца был восстановлен золоторудник «Онон» в Забайкалье.

Василий Петрович в 1926 году трагически погиб вместе с маленьким сыном Женей. Они поехали за зарплатой рабочим, и на обратном пути их убили, чтобы забрать деньги.

После смерти мужа и ребенка Мария Алексеевна с двумя детьми – Лизой и Сергеем – переехала в Томск. В ее доме и провел последние месяцы до ареста Николай Ключев.

# Дмитрий Барчук

## СИБИРСКАЯ ТРАГЕДИЯ

главы из романа

от автора

История – это правда победителей. Мое поколение с «Букваря» учили, что нам посчастливилось жить в самой передовой стране мира, стране победившего социализма. (А северные корейцы до сих пор думают так!) И насколько было тяжело в зрелом возрасте переосмысливать обман. Красная правда оказалась жесткой и безжалостной. Террор, репрессии, ГУЛАГ...

Взамен нам предложили отредактированную белую правду. Адмиралу Колчаку, несостоявшемуся реставратору империи, теперь ставят памятники, выходят фильмы о мученике за Россию, великую и неделимую. Новое время – старые песни. Словно машину времени включили вспять. Может быть, в Российской империи и впрямь жилось так сладко, что надо вернуться туда? А как же «История города Глупова» или «Мертвые души»? Выдумки? Но почему тогда произошла революция?

Сибирь – вообще тема особая. Страна ссылки и каторги, лишенная права на земское самоуправление... Едва обретя независимость, бывшая колония вдруг бросилась спасать метрополию от гибели и вместе с ней попала еще в большую кабалу. Загадочная русская душа! Вряд ли история еще знает примеры подобного самопожертвования.

Но когда на очередном этапе российской гражданской войны победили белые, Сибирь снова оказалась обманутой центром.

Этот роман не историчен. И хотя он в своей прошлой части максимально приближен к реалиям, но это лишь сибирский провинциальный взгляд на драматические события первой четверти прошлого века. Это точка зрения проигравших сибирских областников, чьи идеи похоронены под спудом забвения, а потому – не история.

**P.S.** Все современные персонажи выдуманы мной. Любое сходство – случайно. Но герои прошлого, за исключением главных, реальные исторические лица. Правда, к некоторым я не смог скрыть своего личного отношения, и пришлось изменить им фамилии, но о прототипах можно узнать в Примечаниях. Описанные события для меня самого стали открытием. Им я хочу поделиться с читателями.



## СИБИРСКИЙ ХАРАКТЕР

Из клиники меня выписали лишь на Масленицу. С двигательными рефлексам стало все в порядке, а вот с речью докторам справиться не удалось.

– Вы – явно не немой, но почему не можете говорить, современной науке не известно. Скорее всего, мы имеем дело с каким-то психическим отклонением. Возможно, вы сами когда-нибудь вдруг возьмете и заговорите. Но когда это случится и случится ли вообще, я не знаю, – сказал мне перед выпиской седой профессор и отвел в сторону глаза.

Томская общественность была занята выборами в Государственную думу. Я не хотел никого загружать своими проблемами и нанес всего по одному визиту вежливости тем, с чьей помощью оказался на ногах.

Муромский первым делом поинтересовался, как у меня с деньгами, если нужна какая-то помощь на дальнейшее лечение, то он готов оказать ее. Я отрицательно покачал головой, мол, в средствах не нуждаюсь. Тогда адвокат посоветовал мне отправиться лечиться за границу.

– Поезжайте в Германию. Нет, лучше сразу в Швейцарию. Там самая передовая медицина в Европе. А какой воздух в Альпах! Я, правда, сам там не бывал, но от авторитетных людей слышал, что одним только горным воздухом можно лечиться.

Я улыбнулся и утвердительно кивнул. Да, собеседник из меня теперь был никудышный. И хозяин дома облегченно вздохнул, когда я встал и потянулся за пальто.

Визит к Потанину получился более душевным. В комнате, которую он снимал, не было даже свободного места, чтобы присесть. На стульях и лавке были разложены какие-то географические карты, раскрытые книги, газетные вырезки, прокламации. Маленький, сухощавый, волосатый, как Вий, насупленный старик в поношенном черном сюртуке, прикрытом сверху серым пледом, восседал за несоизмеримо огромным для него захламленным столом и быстро что-то писал. Увидев меня, он встал и вышел на середину комнаты. Мне даже не пришлось представляться – писать на бумаге, кто я. Григорий Николаевич сам узнал меня, хотя видел лишь единогожды, перевязанного и без сознания. Мы сели. Потом он какое-то время пристально смотрел на меня, но я не испытывал от этого никакого неудобства. Он не просто читал мои мысли, а как бы разговаривал со мной глазами.

И вдруг неожиданно спросил:

– И когда вы намереваетесь отправиться на родину?

Могу поклясться, что ни одна живая душа не знала об этом моем намерении. Только вчера, выходя от Муромского, я решил перед отъездом в Швейцарию посетить Павлодар и попытаться отыскать там знахарку, которая однажды уже излечила меня от немоты.

Пораженный его внутренним зрением, я поочередно загнул все пять пальцев на ладони, мол, через пять дней.

Но Потанин в своих мыслях убежал вперед и произнес фразу, которую я запомнил на всю оставшуюся жизнь:

– В любом положении есть свои достоинства. Молчаливые люди мне всегда нравились больше, чем болтуны. В наш говорливый век слова уже малого стоят. Окажись я на вашем месте, наверное, занялся бы каким-нибудь затворническим

трудом. Например, стал бы учить иностранные языки, написал многотомную эпопею или, на крайний случай, овладел стенографией. У сильных мира сего особо ценятся помощники, умеющие держать язык за зубами.

Благодаря этому драгоценному совету я в дальнейшем не опустился до уровня никчемного калеки, а выжил и нашел свое место в жизни.

Григорий Николаевич огорченно добавил:

– Вы уж извините меня, уважаемый Петр Афанасьевич, что даже чаем вас угостить не могу. Кухарка уже ушла. Я полагал, что у меня к ужину остался хлеб или кусок какого-нибудь пирога, но ошибся...

В его голосе чувствовалась такая искренняя досада, какую испытывают только дети, когда не могут сделать чего-то хорошего и важного для других, и этого стыдятся.

Я припал лбом к его костлявой, шершавой руке, точно прося благословения. А, уходя, обронил на заваленный манускриптами стул у двери десятирублевую купюру.

В доме статского советника, ревизора акцизного управления, публициста и археолога Андреева\* меня приняли как родного, усадили за стол и без ужина не отпустили. Хотя сам хозяин, недавно вернувшийся из поездки, сильно простудился и вышел к столу с перевязанным шерстяным шарфом ухом.

Познакомившись с Андреевым, я почувствовал себя счастливым. Вот уж кто должен быть сетовать на собственную физиономию! Его лицо было неумело скроено из отдельных лоскутов кожи, стыки между которыми представляли собой неприятные шрамы. Будто бы какой-то дикий зверь разукрасил его своими когтями. Однако Александр Васильевич, казалось, вообще не обращал внимания на свою внешность, вел себя настолько легко и непринужденно, что я невольно проникся симпатией к этому человеку. Он так увлеченно рассказывал о древних скифских курганах в верховьях Енисея, изучение которых способно изменить само представление о мировой истории, что о таких мелочах, как шрамы, забывалось сразу.

Я вначале полагал, что раз у этого господина целых пять дочерей, то каждый молодой человек должен восприниматься здесь как возможный жених. Но потом понял, что хлебосольство и радушие в традиции этой семьи. Мне не нужны были никакие слова для общения с этими милыми, добрыми и открытыми людьми. Хватало улыбок, мимики, жестов. За столом царила веселая и непринужденная атмосфера, в которой я совершенно не чувствовал своего физического недостатка. Дочери археолога при всей их душевной симпатичности как женщины не произвели на меня никакого впечатления. В отличие от сидевшей напротив Полины, приходившейся главе семейства какой-то двоюродной или троюродной племянницей. Ее короткие, стремительные взгляды заставляли меня краснеть, как мальчишку. А ведь этой девочке было всего двенадцать-тринадцать лет, совсем еще дитя. Мне нельзя испытывать к ней таких взрослых чувств.

Прощаясь, и хозяин, и хозяйка приглашали меня еще в гости. Я соглашался, кивал головой, улыбался.

В гостинице, куда я перебрался после выписки из клиники, я проворочался всю ночь без сна. А на следующее утро пошел на ямскую станцию, сговорился с возничим о цене проезда до Павлодара. И хотя у меня в Томске еще оставались дела, в тот же день скоропалительно уехал.

Моя поездка в Прииртышье не увенчалась успехом. Бабка Василиса умерла два года назад. Лечить меня от немоты было некому, оставалось только воспользоваться советом Муромского и поехать на лечение в Швейцарию. Но вначале я решил побывать в Семипалатинске. На моей совести лежал груз, принятый вместе с наследством Коршуновых. После моего воскрешения и возвращения детского недуга я стал верить в судьбу и хотел облегчить свою совесть. По завещанию моей приемной матери я унаследовал часть того, что по праву принадлежало другим людям. Второй жене купца Коршунова и ее детям.

Приехав в Семипалатинск, я остановился в гостинице и стал наводить справки об их судьбе. К сожалению, то, что я узнал, было трагичным. Вскоре после гибели Афанасия Савельевича его незаконная жена наложила на себя руки, и дети – мальчик и девочка двенадцати и десяти лет от роду – остались сиротами. Их взяла к себе в дом сестра покойницы. Но она имела склонность к пьянству и вела разгульный образ жизни, поэтому ничего хорошего из родных детей купца Коршунова не вышло. Его дочь стала проституткой, заболела дурной болезнью и наградила его какого-то офицера. Офицер, в свою очередь, – жену. Та возьми да отравись. Муж тоже не пережил горя и позора. Он вначале застрелил дочь Коршунова, а потом себя. Сын купца тоже пошел по кривой дорожке. Связался с лихими людьми и стал грабить торговые обозы на большаке. Вначале везло, и разбойники уходили с богатой добычей. Но однажды замахнулись на кассу, которую везли под усиленной охраной. Экспроприация не удалась. Охранники перестреляли всех налетчиков, в том числе и младшего Коршунова. Так бесславно закончился род Афанасия Савельевича. Остался один я, который не имел к нему никакого отношения, но носил его фамилию.

В Томск я заехал всего на пару дней. Нигде в обществе не появлялся. Собрал вещи, перевел деньги в европейские банки и на первом же поезде уехал в Москву. Оттуда в Берлин. Затем в Женеву...

За семь лет своего европейского турне я объездил весь Старый Свет, изучил десять европейских языков и стенографию. Пробовал себя на литературном поприще. Но первые опыты оказались не слишком удачными, и я оставил литературу. Зато прослушал курс по биржевому делу в Оксфордском университете, потом купил акции сталелитейных компаний, и вскоре мой капитал вырос как на дрожжах. В один прекрасный момент я сказал себе «хватит», продал акции, почти всю наличность перевел в швейцарские франки и отдал их на хранение «альпийским гномам»\*, оставив малую часть на жизнь.

Однако речь до конца ко мне так и не вернулась. Сколько ни бились надо мной логопеды и психиатры, я научился только издавать отдельные звуки, как животные. Язык же глухонемых я принципиально не стал изучать. Общество нормальных людей было моим. Пусть многие считали меня немым, зато загадочным и таинственным. И недостаток я перевел в разряд моих достоинств. Оказывается, немногословные мужчины производят в обществе впечатление гораздо более сильное, чем самые неистовые ораторы. Если в ваших глазах читается интеллект, вы образованны и недурны собой, хорошо одеваетесь, имеете счет в банке, умеете вести себя в обществе и при этом не чувствуете себя скованным, то будете приняты и обласканы в самых высоких кругах.

Последние полтора года я прожил в Праге. Этот город запал в мою душу, и я на удивление быстро сроднился с ним. Но Сибирь все равно оставалась роднее. К

тому же в Европе пахло большой войной. А находиться в трудное время на вражеской стороне я не испытывал ни малейшего желания.

На станции Тайга к нашему поезду прицепили новый паровоз, и вагоны покатались обратно. Но поезд шел уже не на запад, а на север.

Я ехал из Москвы в вагоне первого класса единственным пассажиром в купе, и проводники были чрезвычайно предупредительны. Едва состав отошел от станции, как один из них, в белоснежном фартуке, заглянул в мое купе и услужливо поинтересовался:

– Чаю не желаете?

Я улыбнулся и показал на пустой стакан, стоявший на столике.

– Сию минуту!

Не успел я полюбоваться пронесившимися мимо заснеженными елями, как передо мной на белой салфетке появился ароматный свежий чай в блестящем подстаканнике, а также сахарница и блюдце с баранками.

Улыбающийся проводник все еще стоял в дверях.

– Еще чего-нибудь изволите?

Я показал ему на диван, приглашая присесть. Он оглянулся в вагонный коридор и, убедившись, что его более никто не зовет, исполнил мою просьбу. Это был мужчина лет сорока, явно сибиряк. С характерной для здешних мест правильной русской речью и свободными манерами. Его предельная учтивость с пассажирами не имела ничего общего с холопским заискиванием перед господами, что так распространено среди обслуживающего персонала в Европейской России. Он просто хорошо выполнял свои служебные инструкции, не поступаясь при этом своим человеческим достоинством.

На лацкане его форменного пиджака блестела бляха с надписью «Станция Томск-II». Возвращаясь после длительного отсутствия, я хотел хоть немного узнать, чем живут и дышат нынешние томичи.

Поводом для разговора послужило поездное расписание, на котором я обвел карандашом названия трех станций: Межениновка, Томск-I и Томск-II, и поставил перед ними жирный знак вопроса.

– О, вы, видимо, давно не были в Томске! – проводник понял мою проблему с полнамека. – Это еще в девятьсот девятом году сперва Межениновку переименовали в Томск Первый, а ту станцию, что прежде называлась просто Томском, – в Томск Второй. А чуть погодя станцию Басандайка назвали Межениновкой. Поначалу многие пассажиры путались. Иные важные господа, которые общение с нашим братом считают ниже своего достоинства, выходили на Межениновке и оказывались в глухой тайге. Их убеждаешь: вам, поди, в Томск надо, еще рано. Ведь явно не в деревню едут с дорогими чемоданами. Одних таких не удержал, высадились да еще меня отругали, как последнего дурака. А потом начальству жалобу написали: мол, тридцать верст до города на лошадях добирались. Я на имя самого начальника Управления железной дороги объяснительную записку писал. Слава Богу, разобрались и не прогнали меня со службы. А вы давно в Томске были?

«1906» – написал я на расписании.

– Ну, вы тогда вообще город не узнаете! – протянул проводник, являвшийся, похоже, большим патриотом.

Кстати, я заметил, что после потери голоса мне стало гораздо легче вызывать на откровенность даже малознакомых людей. В человеке потребность быть услышанным и понятым развита гораздо сильнее, чем самому услышать и понять другого человека. Ведь подавляющему большинству *homo sapiens* близки и понятны только свои проблемы, а нужды других малоинтересны. Любая беседа подразумевает общение минимум двух людей. Причем вначале говорит один, излагает свои мысли или изливает собственную душу, а другой в это время слушает его и ожидает своей очереди. На митингах же вообще бедные ораторы томятся в длинных очередях и вынужденно слушают бредовые идеи своих предшественников, дожидаясь, когда же им дадут слово. В моем случае – все наоборот. Я не претендую даже на незначительную реплику, поэтому не сковываю собеседника никакими обязательствами по отношению к своей персоне. Он не рискует быть прерванным на половине фразы или неправильно понятым. Я только слушаю, слушаю и слушаю. Очень внимательно и всегда с интересом. И людям это нравится. Они раскрываются в разговоре со мной, иногда выдавая такие секреты, такие интимные тайны, о которых не сказали бы даже под пыткой. Ведь я – идеальный собеседник. Не спорю, не противоречу, не повышаю голоса. Нечто среднее между собакой и пастырем. Но лучше собаки, потому что все понимаю, а священника – потому что не стану наставлять на путь истинный решившего мне исповедоваться.

Память проводника отличалась любопытной избирательностью. События из политической, промышленной, образовательной, культурной и торгово-финансовой сфер городской жизни, будь то выборы в Государственную думу или назначение нового губернатора, оставались им совершенно незамеченными, зато чисто житейские, обывательские вещи он запоминал во всех подробностях.

«Я хочу поселиться в Томске на постоянное жительство. Но не знаю, где остановиться при приезде?» – написал я на обратной стороне расписания.

Проводник оценил мою одежду и багаж:

– Лучше гостиницы, чем «Европа», в Томске нет. Кому средства позволяют, все останавливаются там. От вокзала «Томск-1» до нее на автомобиле проезд стоит тридцать копеек. Ходит и омнибус на 8 персон. Но можно и на извозчике. Так дешевле.

Внезапно в проходе раздался шум. Проводник извинился и тут же выбежал из купе. Мне тоже стало интересно, и я выглянул за ним. Это пассажирка из дальнего купе вытаскивала свои огромные чемоданы, хотя до Томска оставалось ехать еще больше двух часов.

По своему внутреннему убранству гостиница «Европа» оправдывала свое название. Мраморные лестницы покрывали мягкие ковры, а высокие потолки украшала лепнина. В центральном холле и коридорах стояли экзотические растения в больших керамических горшках и деревянных кадках. Причудливые листья, отражаясь в развешанных на стенах зеркалах, создавали у постояльцев ощущение, что они находятся вовсе не в холодной Сибири, а в какой-нибудь экваториальной стране. Из большого окна моего номера открывался вид на устье речки Ушайки, где она впадала в Томь, одиноко стоящее на высоком берегу здание ресторана «Славянский базар», причальные склады, торговую биржу и базарную площадь. Хотя цены в гостинице даже мне, человеку не бедному, по-

казались явно завышенными, все же я решил остановиться здесь на пару-тройку дней, чтобы осмотреться и подыскать приличное постоянное жилье на приемлемых условиях.

Плотно поужинав в «Славянском базаре» ухой из осетрины и пельменями в грибном соусе, я прошелся по вечернему городу, с наслаждением вдыхая студено-сибирский воздух. Центр заметно преобразился в лучшую сторону. Прибавилось освещения. Стало больше фонарей, и витрины магазинов тоже источали электрический свет. Я зашел в книжный магазин Макушина и купил разной литературы. Книгу «Очерки русско-монгольской торговли», потанинскую брошюру «Областническая тенденция в Сибири», а еще местные газеты и журналы.

Поднявшись в свой номер, первым делом я просмотрел газету «Сибирская жизнь» в надежде увидеть знакомые фамилии. Особенно меня интересовал публицист Андреев, дядя зеленоглазой девочки, мысли о которой не оставляли меня до сих пор. Я боялся признаться себе в том, что именно желание увидеть это прелестное создание было решающим в выборе моего дальнейшего места жительства.

«Какая наивность и самонадеянность! – голос рассудка пытался урезонить мои чувства. – Ведь минуло целых восемь лет, девочка давно выросла и с ее необыкновенной красотой наверняка уже вышла замуж, а может быть, закончила учебу и уехала из города навсегда».

Но мне очень хотелось верить, что она здесь, свободна и помнит меня. К моей величайшей радости, Александр Васильевич Андреев значился в числе сотрудников редакции в качестве заведующего сибирским отделом. Я уже стал планировать визит в его хлебосольный дом. И тут мне попался на глаза журнал под названием «Сибирский студент», купленный мною больше из-за ностальгии по былым университетским временам, чем из-за полезности. Статья о сибирском патриотизме была подписана М. Шаталовым. В свою томскую бытность я знал одного Шаталова. Он учился на юридическом факультете тремя курсами ниже, крутился в эсеровской среде. Звали его Михаилом, но студенты его иначе, как отцом Бонифацием, не величали. Отчество у него было такое оригинальное – Бонифациевич. До поступления в университет он учился в духовной семинарии. И внешне более походил на священнослужителя, чем на революционера. Лисьи черты лица, тихий и вкрадчивый голос выделяли его из сверстников. Я бегло пробежал глазами журнальные страницы и в разделе выходных данных прочитал: «Главный редактор – Шаталов Михаил Бонифациевич»\*. Вопрос, кто введет меня в томское общество, решил сам собой.

Заваливаться без приглашения в гости к Андрееву, Муромскому или Потанину после шапочного знакомства и семилетней отлучки было не совсем прилично. Я надеялся, что гидом по современному Томску станет мой старый товарищ Чистяков, но где его отыскать, не имел ни малейшего понятия, а Шаталов нашелся сам. И, судя по его положению в городе, легко мог ввести меня в круг передовой здешней интеллигенции.

Редакция журнала «Сибирский студент» располагалась на втором этаже главного университетского корпуса в узком, напоминающем монашескую келью, кабинете. За столом в глубине комнаты, у самого окна, выходящего на задний двор,

корпел над письмом молодой человек с давно нестриженной, растрепанной шевелюрой и жидкой бородкой.

– Вы ко мне? – спросил он, прищуриваясь и поправляя спавшее пенсне.

Я подошел ближе и приветливо улыбнулся.

– Бог ты мой, Коршунов! – с неподдельной радостью воскликнул главный редактор.

– Сколько лет, сколько зим! – продолжал он приговаривать, разглядывая меня.

– Ну ты и впрямь выглядишь, как английский джентльмен. Словно про тебя Пушкин писал в «Онегине», как «дэнди лондонский одет, он, наконец увидел свет». Ну, хорош, хорош! Ничего не скажешь. Слушай, а ты же ни капельки не изменился. Только усы с бакенбардами отрастил. Но они тебе к лицу. И почему это в Европе люди так долго не стареют? Не то что мы, затерянные в евразийской глуши. Ты же года на три постарше меня. Но разве нас можно сравнить? Я уже пожилой господин, – он склонился и показал проплешину на голове, – а ты – франт, жених, донжуан. Бедные томские барышни, они все теперь будут сохнуть по тебе, а нас, бедных донкихотов, оставят без внимания.

Я достал из внутреннего кармана пальто блокнот в переплете из мягкой кожи и карандаш в серебряной инкрустированной вставке – эту изящную вещицу я приобрел в Париже – и написал на листке: «Я остановился в гостинице «Европа». Буду рад тебя видеть, когда ты освободишься».

Шаталов прочитал записку и сразу предложил выпить пива в мужской компании. Он зайдет за мной часам к шести.

Я улыбнулся в знак согласия и откланялся.

Редактор заехал за мной на извозчике без опоздания и, отпустив комплимент по поводу моего номера – «Богато живешь!», заторопил меня.

– Я заказал столик на двоих в Общественном собрании. В тамошнем буфете готовят вкусно и недорого. Но если опоздаем, то наши места отдадут. Интеллигентная публика оценила это заведение и валом туда валит.

Я быстро оделся, и мы спустились по лестнице. Шаталовскую предусмотрительность относительно извозчика я оценил. К вечеру мороз окреп, а мое модное драповое пальто явно не соответствовало здешнему климату.

В буфете Общественного собрания, несмотря на довольно ранний для ужина час, было действительно многолюдно. В заведение то и дело заглядывали хорошо одетые господа, но, увидев, что свободных мест нет, удрученно уходили прочь.

Шаталов заказал четыре большие кружки свежего кюргеровского пива и закуску.

– Ты в Томске по делам или как? – спросил меня он, сдувая с кружки пивную пену.

Я заранее приготовил свой блокнот и быстро написал: «Хочу остаться здесь. Мне нужно снять приличную квартиру и поступить на службу».

«Отец Бонифаций» выразительно посмотрел на меня и уже с некоторым высокомерием поинтересовался:

– Извини, конечно, но у тебя какая имеется специальность? Если мне не изменяет память, то диплом правоведа ты так и не получил. Довелось доучиться в каком-нибудь университете?

«Юридического диплома у меня до сих пор нет. Хотел бы вновь восстановиться на нашем факультете. Правда, еще изучал финансы в Оксфорде, но получил только сертификат. Владею десятью европейскими языками. Хорошо знаком со стенографией. Умею печатать на машинке».

Шаталов призадумался, пригубил пиво и ответил:

– Относительно квартиры не беспокойся. Найдем в самом центре и даже с телефоном. Что касается службы – с этим сложнее. На губернских вакансиях героев революции не жалуют. Университет тебе вначале надо закончить. Остается частный сектор, местное самоуправление и, может быть, суд. Чтобы найти хорошее место, нужно время. Но если тебя не сильно заботит денежная сторона, – редактор еще раз окинул взором мой дорогой костюм, – и ты просто жаждешь интересной работы, где все твои навыки будут востребованы, то я могу пристроить тебя хоть сегодня.

Настала пора мне выразить взглядом свое удивление. На какую же работу решил определить меня Шаталов?

Но Михаил Бонифацевич, похоже, решил помучить меня и ходил вокруг да около:

– Эта работа важна для всего человечества. Но за нее ты не получишь ни копейки. Ну как, согласен?

«Что я должен делать?» – написал я в блокноте.

Официант принес еще пива. Шаталов явно не спешил с ответом. Он выпил полкружки и поинтересовался:

– Ты ведь знаком с Потаниным?

Я утвердительно кивнул головой.

– И наверняка знаешь, в какой он проживает нищете. Обещанная от Географического общества пожизненная пенсия за путешествие по Северо-Западной Монголии – тысяча рублей ежегодно – куда-то испарилась. От казны он получает всего 25 рублей в месяц. Невеликие деньги по нынешним временам. К тому же Григорий Николаевич недавно женился...

Я открыл рот от изумления. Если в 1905 году томичи праздновали его семидесятилетие, то сейчас ему уже около восьмидесяти!

– На поэтессе из Барнаула Павловой\*. Ты не читал ее «Песен сибирячки»?

Я покачал головой.

– И не читай. Ничего особенного. Но старик от нее без ума. Она женщина еще молодая и весьма экзальтированная. Выходя замуж за маститого старца, рассчитывала на безбедную жизнь. А с него много ли возьмешь? Он сам с себя снимет последнюю рубашку и отдаст ближнему. А теперь она пилит его целыми днями за свою погубленную молодость. Мы, его ученики, решили помочь Григорию Николаевичу содержать семью. Предложили ему написать мемуары и издать их в «Сибирской жизни», а в случае успеха – и в Санкт-Петербурге отдельной книгой большим тиражом. Весь гонорар – Потанину. Ведь он – фигура всероссийского масштаба. После смерти Толстого он вообще на всю империю один такой остался.

Я вопросительно смотрел на Шаталова и никак не мог взять в толк, при чем тут я.

– Сам-то сибирский дедушка за это предложение ухватился с великим энтузиазмом. И сказать ему есть что. Какая жизнь прожита! Вот только ослеп он почти совсем. Без секретаря работать не может.



Тут я начал понимать, к чему клонит мой собеседник.

– У Григория Николаевича от добровольных помощников отбоя нет. Поработать рядом с великим человеком – уже честь. Только все они женского пола. А жена его Мария Георгиевна ревнует старика к каждой юбке. Истерики на весь дом закатывает. А он ее еще и подначивает, сам кокетничает с секретаршами. И вдруг появляешься ты: мужчина умный, интеллигентный и, главное, молчаливый. К тому же знаешь стенографию и языки. Поверь мне, потанинские труды заслуживают того, чтобы их читали европейцы. Мне кажется, что тебя послала сама судьба. Ну как? Едем?

Я пожал плечами: мол, куда?

– К Григорию Николаевичу. Сегодня как раз пятница. Он принимает гостей. Послушаем мудрого человека. Заодно, может быть, и договоритесь.

Щелчок кнутом по спине каурой кобылы далеким эхом отозвался в кристальном морозном воздухе, и извозчик помчал нас вниз по Почтамтской. Сани хорошо скользили под гору по занесенной снегом мостовой. Обогнув пассаж Второва, мы проехали вдоль Ушайки и, лихо перемахнув через Думский мост, резко остановились у начала Ефремовского взвоза, ведущего в гору к католическому костелу.

Шаталов расплатился с возничим, и мы поднялись на высокое крыльцо. В сенях было тоже холодно. Мои ноги в австрийских туфлях так замерзли, что я их почти не чувствовал. «Отец Бонифаций» для вежливости позвонил в колокольчик третьей квартиры и сразу потянул дверь на себя. Она отворилась, и мы втиснулись в узкую прихожую, завешанную шубами, шинелями и пальто. Застеленный домотканым половиком пол был завален валенками и сапогами. Я принялся расшнуровывать туфли, но выглянувшая из комнаты женщина средних лет строгим голосом приказала:

– Не разувайтесь. У нас холодно. Давайте ваше пальто, я отнесу его в спальню.

Шаталов, уже успевший разоблачиться и приглаживающий перед тусклым зеркалом свою растрепанную шевелюру, представил меня даме.

Это оказалась хозяйка квартиры, жена Григория Николаевича, Мария Георгиевна. Она жеманно протянула мне для поцелуя свою белую ручку. Мне почему-то вспомнилось стихотворение Саши Черного, которое я недавно читал в «Сатириконе» и запомнил почти наизусть:

Она была поэтесса,  
Поэтесса бальзаковских лет.  
А он был просто повеса,  
Курчавый и пылкий брютет.

«Да, жена Потанина – та еще штучка, – подумал я. – И еще неизвестно, кто кого должен ревновать в этой непростой семье».

Тем временем хозяйка проводила нас в залу, набитую до отказа. Все места на диване, на креслах, стульях, табуретах были давно заняты. Некоторые молодые люди стояли. Нам пришлось присоединиться к ним. Единственное, что я смог себе позволить, – это упереться плечом в дверной косяк.

В центре комнаты, в кресле, укутанный старым серым пледом, сидел Потанин. Время еще состарило его. Глубокие морщины изрезали лицо, и сам он высох, сделался совсем маленьким и сгорбился. С носа то и дело сползали очки с очень большими и выпуклыми линзами. Но они, видимо, добавляли ему мало зрения. Скоро он вообще снял их.

## ЛЕКЦИЯ ГРИГОРИЯ ПОТАНИНА О СИБИРСКОМ ХАРАКТЕРЕ

– Главный фактор в природе, который обуславливает физиономию страны, – климат. Он формирует ее флору, пейзаж, фауну и, наконец, – культуру человека. Разница между погодными условиями Сибири и Европейской России громадна. Наш климат в высшей степени континентальный, сухой, тогда как в Европейской России сильно чувствуется влияние океана, хотя и не такое, как в Западной Европе. Контраст между климатическими условиями Сибири и Европейской России столь же существен, как между климатом Европейской России и Западной Европы.

Его голос изменился совсем в обратном направлении, нежели внешность. Он приобрел некое пророческое звучание. То, о чем говорил Григорий Николаевич, нельзя было подвергнуть ни малейшему сомнению. Его мозг с возрастом научился отбрасывать все лишнее, он видел самую суть фундаментальных проблем человеческого бытия и говорил об этом просто и обыденно, как о чем-то само собой разумеющемся. И у каждого прослушавшего его лекцию невольно возникал вопрос: как все просто, но почему я сам до этого не додумался?

– Воздействие сибирского климата уже отмечено на организмах культурных растений. Зерно сибирской пшеницы вырабатывает более клейковины, чем русской. Клевер в сибирских условиях теряет в развитии листьев, зато семя нашего клевера ядренее, поэтому агрономы рекомендуют выращивать его не на корм скоту, а для продажи семян. Немецкие сельские хозяева предпочитают семена клевера из восточных частей России своим. Если растения испытывают влияние сибирского климата, то, вероятно, подчиняются ему и животные, а вместе с ними и человек.

Климат – самый упорный, самый закоснелый сепаратист, и ничто не помешает ему вопреки шовинистическим, обрусительным вожделениям образовать расу, если в нем самом есть особенности.

В Сибири метисация с инородцами стремится образовать своеобразный народно-областной тип, не разделяющий признаков родоначальных рас – славяно-русской и азиатско-инородческой. Физические особенности этого типа: сужение внешнего угла глаза, выдающиеся скулы, редкая борода и расходящиеся в коленях ноги.

Психическая сторона коренного сибиряка иная, чем великоросса. Российский человек, хотя бы и крестьянин, более гибок и развязен в суждениях о вещах, чем сибиряк. Наш же, напротив, простак: ум его не гибок, логические приемы не развиты, ассоциации идей не многосложны. Зато в сибирском народе рассудок более преобладает над чувствами, чем в великорусском. Холодно рассудочная практическая расчетливость сибиряков подавляет в них всякое идеалистическое настро-

ение. Оттого сибиряки гораздо менее мистичны и религиозны, чем российские люди. Ум сибиряка есть отражение дикой сибирской природы и продукт влияния полудиких азиатских племен. Инстинктивная жажда всяких новых впечатлений и отсутствие староверческого отвращения к новизне есть признак молодости нации. В Сибири даже простонародье значительно отличается страстью к моде и шегольству. Здесь и в деревнях можно видеть шиньоны, кринолины, бурнусы, ча-сы, обои, диваны, цветы в цветниках...

Некоторые «просвещенные» российские европейцы изображают сибирского мужика заживевшим и глухим ко всяким интересам, кроме интересов животной жизни. Им кажется, что на сибирской почве из великоросской народности расцвел особый, очень несимпатичный для них тип. Но это не тип, а стадия, в которой находится сибирское крестьянство. Она временна. Зажиточность сибирского крестьянина не помешала бы образованию духовных интересов в здешней деревне, если бы не печальные условия сибирской жизни...

В сибирском мужике нет той дрессировки, какая заметна в крепостном крестьянине, который веками выработал в себе искусство подчинения воле своего барина. Из земледельца-коллективиста сибирский крестьянин обратился в земледельца-индивидуалиста. В первое столетие освоения Сибири большинство колонистов занималось звероловством, и многие уходили в тайгу в одиночку и проводили там по несколько месяцев, не имея общения с остальным миром. Но склонность к коллективизму у них сохранилась в скрытом виде. И при определенных условиях они опять смогут стать коллективистами, какими были на родине.

По меткому замечанию Ядринцева, «сибиряк считает себя русским, а на русского поселенца смотрит как на совершенно чужого ему человека и сомневается в его русской национальности». А Щапов полагал, что «сибиряк – это молодой великоросс».

Сибирский характер только еще складывается, как и сама метисация продолжается. Мы стоим не у могилы, чтобы могли составить верную эпитафию, а у колыбели младенца. У сибирского населения все впереди. Это лист белой бумаги, на котором трудно сказать, что впишет жизнь...

Поток холодного воздуха, ворвавшийся в кабинет через балконную дверь, разбудил Сергея.

Он невольно поежился и попытался свернуться в кресле калачиком, чтобы согреться, но очередной порыв сквозняка пробудил его окончательно. Он протер глаза.

Пожелтевшие листы прадедовой рукописи перелистывал ветер с Влтавы. Недопитая бутылка виски, невымытые рюмка и бокалы, одинокий надкусанный бутерброд в окружении хлебных крошек на тарелке...

В гостиной по паркету застучали каблучки.

«О Господи! Это наверняка Жаклин!» – пронеслось у него в голове, и он, как ужаленный, подскочил с кресла и стал впопыхах прибирать на столе.

– Доброе утро, племянник! – ледяным душем обдало его теткино приветствие. – Уже одиннадцатый час, пора просыпаться.

– Я вчера поздно заснул, – попытался он оправдаться.

– Я вижу, – Жаклин посмотрела на бутылку виски, а потом с укоризной на Сергея и добавила: – Чем пьянствовать в одиночестве, не лучше ли совершить экскурсию по старой доброй Праге?

Коршунов не возражал, но попросил десять минут на сборы.

Перед экскурсией Жаклин поинтересовалась, где он уже успел побывать, и с учетом этого составила программу.

У подъезда их ожидал красный «Фольксваген-Гольф». Канадка нажала на кнопку сигнализации, авто ей приветливо подмигнуло и радостно взвизгнуло, как щенок. Молодая женщина уверенно открыла дверцу и села за руль. Коршунов втиснулся на переднее пассажирское сиденье.

– Здесь немного тесновато, – извинилась Жаклин. – В Монреале у меня более просторный автомобиль. Но Крайчек одолжил мне только такой.

Тетка брезгливо посмотрела на поношенную куртку Сергея и заявила:

– Тебе надо срочно сменить гардероб. Твои вещи не только выглядят непрезентабельно, но еще и дурно пахнут!

Она демонстративно сморщила свой очаровательный носик.

Коршунов покраснел и открыл окно.

Между тем Жаклин переехала через мост и, свернув в переулок, аккуратно припарковала маленькую машинку у тротуара.

Она показала Сергею достопримечательности Градчан, затем провела его по Пражскому граду. Как раз в это время сменялся почетный караул гвардейцев перед резиденцией главы чешского государства. Осмотрев кафедральный собор святого Вита, по Золотой улочке, застроенной маленькими, почти игрушечными домиками, они спустились с холма. Потом погуляли по Малой Стране и вернулись к Карлову мосту.

– А это мое самое любимое место в Праге, – призналась Жаклин, когда они ступили на древний каменный мост. – Оно на самом деле святое. Мне здесь настолько хорошо, что начинаю смеяться без причины. Как на Ниагарском водопаде. Но там я понимаю причину. Человеку передается энергия падающего огромного количества воды, и он невольно начинает веселиться. А здесь – тайна. Ты чувствуешь драйв?

Но, кроме головной боли с похмелья, правда, несколько притупившейся за двухчасовую прогулку, Сергей пока не ощущал ничего. Его внимание привлекли утки, плавающие под мостом.

«Вот бы сейчас мелкашку!» – почему-то подумалось ему. Но сразу стало стыдно за эту кровожадную мысль. Утки так забавно плескались, ныряли в мутную воду Влтавы, а потом чистили красными клювами свои крылышки.

Где-то впереди слышался звук саксофона. Это бродячий музыкант наигрывал неизвестную ему мелодию.

И тут Сергей почувствовал, что в нем нет никакой боли, злобы, зависти, ему легко и свободно. Так легко, что хочется дурачиться, танцевать, петь. Он осмотрелся вокруг и понял, что все люди, попадающиеся им навстречу, тоже испытывают подобные чувства. Не было ни одного мрачного лица. Одни приветливые улыбки. Он посмотрел на Жаклин. Она танцевала с закрытыми глазами под мелодию уличного музыканта. Сергей в своей жизни не видел более красивой и одухотворенной женщины. Весь ее облик дышал любовью и нежностью. И он не смог более сдерживать себя. Как зомби, он подошел к ней и положил руки ей на плечи. Она даже не подумала высвободиться, а наоборот – прильнула к нему еще ближе. Так, обнявшись, как влюбленные, они пошли дальше по мосту.

Наваждение покинуло их лишь на узкой улочке в Старом городе. Жаклин освободилась из-под его руки, открыла глаза и спросила:

- Что это было? Я ничего не помню.  
– Я тоже, – соврал Сергей и покраснел.

На обед в маленьком ресторанчике они заказали свиные колбаски. Ожидая заказ, чтобы избавиться от неловкого ощущения после прогулки по мосту, Сергей завел разговор о прадедовой рукописи.

- А ты на чем остановился? – спросила Жаклин.  
– Когда Потанин рассказывает о сибирском характере.  
– О! Завидую! Самое интересное у тебя еще впереди.

– Но я и так уже узнал много нового. Одна фраза, что сибиряк сомневается в русском происхождении жителя Европейской России, чего только стоит! Я-то наивно полагал, что сам, на личном опыте, дошел до мысли, что настоящие русские живут только в Сибири. А оказалось: еще сто лет назад мои земляки в этом не сомневались и даже подвели тому теоретическое обоснование.

Жаклин улыбнулась:

– Тебя ждет еще много открытий. А про какой свой опыт ты заикнулся? – неожиданно спросила она.

– Это долгая история, – попытался увильнуть Сергей.

– А мы никуда не торопимся.

– Тебе будет неинтересно. Это наши российские проблемы.

– Ошибаешься, Сережа. Все, что касается современной России, меня очень интересует. Я же исследователь. О прошлом я могу прочитать в книгах, а вот о живых ощущениях современников, особенно об их личном опыте, я могу узнать только от тебя. Так что выкладывай свою длинную историю. Я вся – внимание.

## СТО ДНЕЙ ОДИНОЧЕСТВА

Это было в 1990 году. Еще в советские времена. Да, представь себе, я уже такой древний. К тому времени я успел окончить философский факультет университета, разочароваться в выбранной специальности, оставить аспирантуру и год поработать в отделе сельского хозяйства областной партийной газеты корреспондентом. А еще я имел неосторожность сделать одну роковую глупость: жениться.

Пожалуйста, не смотри на меня таким осуждающим взором. Да, я – многоженец. Дважды вступал в законный брак, а в одном до сих пор даже состою. Причем от каждого брака у меня есть дети. Девочка – от первого, и мальчик – от второго. Но дочка уже взрослая. Ей недавно исполнилось восемнадцать лет, и алименты на ее содержание я уже не плачу.

Моя первая жена была очень красивой. Ты, кстати, на нее чем-то похожа, но ты гораздо миниатюрнее и интеллигентнее. А она была крупной девицей, настоящей русской бабой. Скандалы начались сразу после свадьбы. Я уже решил с ней развестись, но она оказалось беременной. Потом последовали два года истерик и ссор. И передо мной возникла дилемма: либо сбегать от нее, либо отправляться в психбольницу. Я выбрал первое. Это была настоящая эвакуация.

В отличие от личной жизни моя карьера была успешной. Передо мной уже маячила перспектива возглавить отдел сельского хозяйства, ибо мой предшественник перешел в центральную газету. Но эта должность была номен-

клатурой обкома КПСС, и ее мог занять только коммунист. Да, представь себе, я даже в партии успел побывать. В заявлении о приеме я написал какую-то штампованную чушь типа «хочу быть в авангарде обновления и перестройки нашего общества». В горбачевские времена такая формулировка была модной. И меня на партийном собрании приняли кандидатом в члены КПСС. Заведующим отделом, правда, не назначили, ведь кандидатский срок еще не прошел, а только исполняющим обязанности. Но и это было по тем временам большим достижением для 24-летнего пацана. Если бы советская империя не развалилась, моя жизнь сложилась бы успешнее, чем в демократической России.

Понимаешь, тогда у журналистов был один хозяин – партия, работать было значительно легче, и профессия была гораздо в большем почете. Сейчас же кто платит деньги, тот и заказывает музыку. Мы, представители второй древнейшей профессии, гораздо более циничны, чем представительницы первой. Проститутки хоть торгуют собственным телом, а мы же – своей гражданской позицией. Причем сознательно и корыстно обманываем общество.

При командно-административной системе я мог одной критической статьей снять с должности руководителя любого предприятия, если он проворовался или развалил производство. Когда я приезжал в командировку в какой-нибудь район, меня встречали как очень важную персону – на уровне первого секретаря райкома, для поездки в хозяйства предоставляли машину и провожатого, селили в лучший номер в гостинице.

Сейчас же новые хозяева жизни – чиновники и бизнесмены – на любую критику плюют с высокой колокольни. Поначалу хоть немного побаивались газеты, по телефону раздавались анонимные звонки с угрозами. Хоть так ощущалась значимость профессии. А сейчас они просто покупают прессу, причем задешево. Зачем с ней воевать? И свободы слова вообще никакой не стало. Мои журналистские расследования, которые я провожу по собственной инициативе, вообще не попадают на страницы газеты. Главный редактор заворачивает их под предлогом, что фигуранты критики – наши основные рекламодатели, и с ними нам нельзя ссориться. Приветствуются только хорошо оплачиваемые конкурентами «наезды», и то лишь в том случае, если противная сторона не заплатит больше.

Извини за лирическое отступление. Просто наболело на душе.

Ну вот, я ушел из дома, поселился у мамы и подал на развод, а моя благоверная решила за это поломать мне карьеру. Бегала к главному редактору, в отдел пропаганды обкома партии. Дескать, повлияйте на молодого коммуниста, помогите сохранить семью – ячейку общества. Мое персональное дело даже рассматривало партбюро редакции. Старые коммунисты осуждающе смотрели на меня, словно своим моральным обликом я уронил авторитет их партии в целом.

Я все-таки добился развода через суд, но понимал, что моя бывшая жена не даст мне спокойно жить и работать в Томске. К тому же маме в Сибири был не климат, ее страшно мучили приступы ревматизма и гипертонии, особенно в межсезонье. И мы на семейном совете решили перебраться в теплые края. У матери жили какие-то друзья в Ростове-на-Дону, и мой выбор пал на этот город.

Возвращаясь из Трускавца – это такой курорт на Западной Украине, где лечат заболевания почек, я завернул в Ростов и забросил в редакцию тамошней областной газеты свои публикации. Честно признаюсь, я мало на что рассчитывал. Но через пару месяцев мне позвонили оттуда и пригласили на работу, причем на

такую же должность, какую я занимал в Томске, и даже с более высоким окладом. Ну я и дернул из Сибири на Дон.

1 июня я вышел на новое место работы. Мне сразу выделили отдельный кабинет. Вот только с жильем возникла проблема. Кроме места в общежитской мало-семейке мне ничего предложить не могли. Ты не знаешь, что такое малосемейка? Попробую объяснить. Это такая маленькая однокомнатная квартира с малюсенькой кухонькой размером со шкаф и еще меньшим санузлом. В этой квартире уже жил один разведенный журналист, временно оставивший работу в редакции ради обучения на очном отделении Высшей партийной школы. Там же, в Ростове-на-Дону. Но все слушатели ВПШ обеспечивались общежитием. Оно находилось в центре города, издательское же – в отдаленном микрорайоне. Поэтому Василий, так звали моего соседа, в основном обитал в общежитии ВПШ. А я жил словно у него на квартире, потому что наша комната была обставлена его мебелью и домашней утварью. Я ведь явился в Ростов налегке, с одним чемоданом.

Лето в тот год выдалось очень жарким. Температура не опускалась ниже 30 градусов по Цельсию. А мне еще приходилось знакомиться с коллегами в неформальной обстановке. Что было сопряжено с застольями и изрядным употреблением спиртного. Я изнывал от жары, обливался потом, но терпел.

Первая моя командировка была в пригородный район, где в один большой агропромышленный комбинат собрали все совхозы, колхозы и перерабатывающие сельскохозяйственное сырье предприятия. Моим заданием было изучить этот опыт и подготовить серию материалов – как о положительных его сторонах, так и о недостатках.

На комбинате меня приняли по высшему разряду. Сам генеральный директор, Герой Социалистического Труда, личность известная на весь Союз, уделил мне полчаса для интервью, а в провожатые мне выделил своего заместителя и секретаря парткома. На «Волге» с кондиционером, что по тем временам было редкостью, меня провезли по «потемкинским деревням», организовали встречи со знатными работягами, специально натасканными для общения с прессой. Дело клонилось к вечеру, и я попросил свою свиту отвезти меня в город.

– А как же ужин? – обиженно произнес секретарь парткома.

Против него я ничуть не возражал, ведь изрядно проголодался. Поинтересовался лишь, где мы будем ужинать?

– Да вот найдем лесопосадку покрасивее, там и остановимся, – пояснил главный коммунист комбината.

Я стал догадываться, почему мы так долго стояли возле столовой, видимо, дожидались, пока нам соберут сухой паек.

«Волга» остановилась на краю пшеничного поля у редких, искусственно высаженных деревьев, и мои провожатые стали вытаскивать из багажника машины полные коробки с едой, шампанским, а в довершение извлекли на белый свет ящик пива и целый ящик водки. Это целых двадцать бутылок. Такими декалитрами можно было напоить всю нашу редакцию, а не только одного журналиста.

Для меня, приехавшего из области, где некогда рулил Егор Кузьмич Лигачев, вторая фигура в КПСС после Горбачева, и где особенно рьяно исполнялись постановления партии и правительства по борьбе с пьянством и алкоголизмом, эта батарея бутылок представляла целое состояние. Нигде в Сибири меня так не встречали.

– Ну, по маленькой за знакомство! – предложил тост секретарь парткома.

Пришлось выпить. Со своим уставом в чужой монастырь ведь не полезешь! Я же не знал, какие здесь порядки, и решил действовать по ситуации. Поддерживать компанию, но слишком не напиваться. Черт знает чего можно от этих донских казаков ожидать.

Заместитель директора был мужчина грузный и не слишком здоровый. Выпив пару рюмок водки, он стал «сачковать» и больше налегал на еду – бутерброды с балычком, сервелатом и красной икрой, словно из обкомовского буфета, чего простой народ в ту пору в магазинах никогда не видел. Я решил последовать его примеру. И как ни пытался секретарь парткома меня напоить, у него это не получилась, только сам напился в стельку.

– У меня есть один знакомый корреспондент в вашей редакции. Он, когда приезжает в командировку, всегда говорит одну фразу: «Я – человек маленький, но могу так вам осложнить жизнь, что мало не покажется», – лепетал он мне пьяным голосом.

А у меня от сердца отлегло, что не один я такой коррупционер в конторе и продаюсь за водку с бутербродами. Ах, сейчас бы вместо этих лебезящих и заискивающих передо мной неискренних людей сюда моих томских друзей и подружек, мы бы мигом умяли все их буржуйские запасы! И тогда бы я позволил себе расслабиться на славу, а то сижу, как Штирлиц между Мюллером и Шелленбергом\*, боюсь брякнуть лишнее слово и не знаю, как прореагирует «Центр» на эту мою моральную неустойчивость.

Секретарь парткома наверняка считался на комбинате записным и не пьянящим тамадой, за что и был поставлен на работу с людьми, но против сибирской закваски ему было не устоять. И хотя я давно перестал филонить и пил наравне с ним, но его уже совсем развезло, а у меня ни в одном глазу, под такую закуску я еще много мог выпить.

– Сергей Николаевич, а может быть, девчуленьку? – неожиданно предложил он.

Я вначале даже не понял, о чем идет речь. Но мой собутыльник объяснил суть предложения:

– У меня в комитете комсомола такие девчата работают – залобуетесь! Даже из «Правды» корреспондент к нам специально ради них приезжает. Обслуживают по самому высокому разряду. Одно ваше слово – мы их тут же по рации сюда вызовем.

Ну, это уже был явный перебор! Я недавно смотрел фильм «ЧП районного масштаба»\*, и там был эпизод, как комсомольские секретари развлекались в сауне с комсомолками, а проще сказать, штатными путанами, но искренне полагал, что такое возможно только в кино. А тут мне наяву подкладывают девок при исполнении служебного задания! К такому повороту событий я был явно не готов.

– Спасибо. Но я привык сам решать эти вопросы. Мне пора домой, – строго сказал я и встал с подушки, любезно подложенной водителем под мой зад.

– Вы что, Сергей Николаевич, банкет в самом разгаре! Мы вас просто так не отпустим, – с досадой протянул моментально протрезвевший секретарь парткома.

– Извините, товарищи, но мне действительно уже пора. Завтра в девять утра я должен быть в обкоме партии. А перед этим не мешало бы хорошенько выспаться. Спасибо вам за угощение, но работа превыше всего, – заявил я ледяным голосом.



Про обком я, конечно же, соврал. Никто меня завтра там не ждал. Но именно эта ложь подействовала на представителей принимающей стороны. Они молча собрали остатки ужина в коробки, загрузили их обратно в багажник, в том числе и почти полный ящик водки, и повезли меня в сторону областного центра.

Когда «Волга» остановилась перед входом в мое общежитие, заместитель директора предложил мне забрать содержимое багажника, мол, шофер поможет все донести до квартиры. Я отказался.

– Но тогда хоть на завтрак себе чего-нибудь возьмите, – умоляющим тоном произнес зам и чуть ли не силой всучил мне в руки тяжелый пакет.

Я растерялся в первый миг, а когда опомнился, «Волга» уже сорвалась с места, и заместитель директора приветливо помахал мне рукой в открытое окно.

В пакете было две бутылки «Столичной», палка сервелата, крупный кусок осетрового балыка, две банки красной и одна банка черной икры.

Так я впервые в своей жизни получил замаскированную взятку. А на следующий день мне в редакцию позвонил заместитель директора комбината и «по старой дружбе» попросил меня, когда я напишу статьи, перед сдачей в печать предварительно показать ему. Что я потом и сделал. Но «лесопосадочным» друзьям даже не пришлось ничего править в моих рукописях, ибо мой внутренний цензор это сделал за них. В двух статьях я расхваливал их передовой опыт, а третий материал, который и должен был содержать критику, получился больше проблемным. Я очень деликатно на примере конкретного агропромышленного объединения рассуждал о проблемах сельского хозяйства страны в целом.

Оказалось, что я не ошибся в оценке своего первого командировочного застолья. Так действительно было принято на Дону. Со временем я даже привык к этому. А когда меня обламывали с ужином, то начинал обижаться и выплескивал свою неудовлетворенность на страницы газеты в виде серьезной порции критики.

Ящик черешни из плодородческого или кусок мяса из животноводческого хозяйства стали обычными для меня подношениями. А однажды благодарный директор бахчевого совхоза за репортаж о его передовом опыте прислал мне целый грузовик арбузов. Бедный водитель никак не мог понять, почему я отказался от этого дара, а взял всего пару крупных и спелых полосатых кавунов. Мне просто некуда было их выгружать. В моей общежитской каморке, заставленной Васькиной мебелью, не уместилась бы даже маленькая тележка.

Постепенно я обживался на донской земле, заводил нужные знакомства и сам становился нужным человеком для других избранных. Зато себя уважал все меньше и меньше. И у меня почему-то совсем не складывались отношения с тамошними женщинами. Слово рок какой-то навис надо мной. Тем, которые более или менее нравились мне, не нравился я. А те, которые сохли по мне и готовы были отдаться по первому зову, меня абсолютно не вдохновляли. Так я и промаялся в одиночестве все свои сто дней пребывания в Ростове-на-Дону. Пока не наступила закономерная развязка.

Своим трудоустройством в ростовскую газету, как оказалось, я был обязан горбачевской демократизации. В ту пору было модно, чтобы трудовые коллективы сами выбирали себе руководителей. Эта волна докатилась и до редакции областной газеты. Журналисты на собрании при тайном голосовании сами выбрали первого заместителя редактора. Победил заведующий отделом сельского хозяйства, а до этого собкор по центральным районам области, Иван Петрович

Ощепков. Он был старше меня лет на семь, успешно женат и воспитывал двух детей – мальчика и девочку.

Встав у руля, он первым делом начал формировать команду из лично преданных ему людей. Одного парня подтянул из Казахстана и поставил его на свое собкоровское место в Каменске-Шахтинском, а меня сразу посадил в кресло завотделом.

Обещанного жилья в областном центре мне в ближайший год не светило. Неожиданно в редакции нарисовался собкор из Каменска, такой же варяг, как и я, и написал заявление на увольнение по собственному желанию, сославшись на семейные обстоятельства, дескать, жена не хочет сюда переезжать.

Получив на руки трудовую книжку, он зашел ко мне в кабинет попрощаться и вскользь посетовал, что уже выделенная ему в Каменске квартира уйдет на сторону. Я намотал эту новость себе на ус, поразмышлял денек, а назавтра зашел в кабинет первого зама и выразил желание поехать собкором в Каменск.

Моя инициатива вначале Ощепкову показалась странной, ведь в редакционной иерархии собкор стоял на ступень ниже заведующего отделом, но когда я произнес слово «квартира», Иван Петрович сразу все понял и очень обрадовался.

– А ты здорово придумал, честное слово. В Каменске ты крепко станешь на ноги. Все бытовые вопросы там решатся сами собой. Я тебя познакомлю с руководителями города и района. Будешь кататься как сыр в масле. Сам себе хозяин. Все местные начальники будут перед тобой шапку ломать. А там, глядишь, и у нас перестановки произойдут. Мне тут в обкоме шепнули на ухо, – Ощепков понизил голос, – что первый секретарь недоволен нашим редактором. Представляешь, если его турнут, кто тогда займет редакторское кресло?

Я показал пальцем на своего шефа.

– Верно мыслишь, – похвалил меня Иван Петрович. – Лучше быть первым в ауле, чем вторым в Риме. А ты к тому времени на собкоровских харчах жирком обрастешь. Хозяйство заведешь, машину купишь, может быть, женишься или со своей бывшей помиришься. В жизни всякое, брат, бывает. И снова займешь мое место, только теперь вот это.

И он указал на свое кресло, а потом похлопал меня по плечу и произнес:

– Отважные герои всегда идут в обход. На завтра ничего не планируй, поедем в Каменск. На твою презентацию.

Черная «Волга» с обкомовскими номерами преодолела сто километров за час с небольшим. «На автобусе это путешествие заняло бы вдвое больше времени», – отметил я про себя.

Мы припарковались на стоянке для служебных машин у самого входа в горком партии.

Ощепков уверенно, как и положено областному начальнику, поднялся по лестнице и открыл дверь в приемную. Я следовал за ним, как верный оруженосец.

– Василий Иванович у себя? – громко спросил он расплывшуюся в улыбке породную секретаршу и, не дождавшись ответа, по-хозяйски открыл дверь в кабинет первого секретаря.

Партийный лидер города восседал под большим портретом Горбачева за широким письменным столом, на лакированной поверхности которого не было ни одной бумажки. Только настольный календарь, малахитовая подставка для ручек, остро заточенные карандаши да бронзовый бюст Ленина с краю. Своей сверкающей лысиной он походил на партийных вождей. Только лицо у него было слишком вытянутое.

– Иван Петрович! Какими судьбами? Какая радость! – физиономия первого расплзлась в елейной улыбке.

– Вот привез вам нового собкора. Знакомьтесь, Сергей Николаевич Коршунов. Прошу любить и жаловать, – напыщенно представил меня Ощепков.

– Как же, читали его статьи. Грамотно хлопец пишет и очень точно улавливает текущую политическую конъюнктуру. Нам такие люди нужны, – заранее похвалил меня секретарь горкома и крепко пожал мне руку.

– Вы, поди, устали и проголодались с дороги. Давайте пообедаем и обсудим в непринужденной дружеской атмосфере все вопросы, – предложил хозяин кабинета.

Мы с Ощепковым не возражали. И Василий Иванович провел нас в свою комнату отдыха. Под портретом Горбачева в стене, обшитой лакированными щитами, открылась дверь, совсем незаметная для постороннего глаза. Переступив порог, из рабочего кабинета, как по мановению волшебной палочки, мы переместились в домашний, немного мещанский уют. Здесь стоял раскладной диван с креслами, сервант с дорогой посудой и, главное, поражал своим изыском и разнообразием накрытый стол. Я не буду утомлять тебя описанием всех выставленных яств. Скажу только, что у меня создалось впечатление, что мы попали на какой-то юбилей, но никак не на рядовой обед.

Не успели мы усесться за столом, как к нам присоединился четвертый участник застолья – затюканный мужик в очках на длинном носу.

– Это председатель нашего горисполкома.

Секретарь горкома представил его по имени и отчеству, но я их забыл, потому что давно это уже было, и не суть важно для моего рассказа, как его зовут.

В общем, мы стали выпивать и закусывать. Ощепков сразу направил разговор в нужное русло:

– Квартира для собкора готова?

– Да. Трехкомнатная. На третьем этаже. На тихой улочке в самом центре города. Там жил прокурор города. Он только что переехал в Ростов на повышение.

– Но я же – один. Как вы мне выделите одному целых три комнаты? – удивился я.

Секретарь горкома посмотрел на меня, как на ненормального, и спокойно ответил:

– Вы и будете жить в одной комнате. В другой у вас будет корпункт, а в третьей – общественная приемная. К тому же вы, молодой человек, наверняка скоро обзаведетесь семьей. Детишки пойдут. Вы не переживайте, Сергей Николаевич, мы вас тут быстро женим.

Пока я осмысливал сказанное, первый неожиданно спросил председателя горисполкома:

– В райпо на складе какая мебель осталась?

Очкарик засуетился, открыл свой «дипломат» и стал шелестеть бумагами.

– Есть румынская «жилая комната», спальный гарнитур югославский, вот только с кухней проблема. Но ничего, к вашему приезду, Сергей Николаевич, мы и кухню найдем. Вы когда думаете заселяться?

На вопрос я не ответил, потому что меня волновало совсем другое.

– У меня на сберкнижке всего девятьсот рублей. Этих денег явно на мебель не хватит.

Василий Иванович вопросительно посмотрел на Ивана Петровича: мол, ты кого привез? А потом обстоятельно, как учитель ученику, разъяснил мне:

– Уважаемый Сергей Николаевич, вы должны уяснить себе, что мы обставляем вовсе не вашу квартиру, а оборудуем корпункт для собственного корреспондента областной партийной газеты. А это разные вещи. И здесь мы скупиться не вправе.

Больше я лишних вопросов не задавал и сидел, молча слушая старших товарищей. Между тем они приговорили уже вторую бутылку водки, их языки развязались, и разговор пошел без лишних политесов.

– А Савченко по-прежнему работает на станции техобслуживания «Жигули»? Надо будет мне к нему подъехать на своей машине, пусть карбюратор заменит, а то нынешний совсем барахлит. И про Сергея не забудьте ему сказать. Пусть как хочет, через кредит или по остаточной стоимости сделает для парня автомобиль. А то несолидно даже, собкор и вдруг без колес...

– Вы тут смотрите, у Сергея Николаевича почки пошаливают, а у вас химкомбинат. Если отравите собкора, он вам тоже жизнь отравит...

Не знаю почему, но именно эта фраза из пьяного трепала моего шефа особенно задела первого секретаря горкома. Он даже несколько изменился в лице и долго не мог подцепить вилкой маринованный огурчик.

– А зачем вообще нашему собкору жить в городе? – неожиданно спросил он уважаемое собрание.

Все молчали, и он продолжил:

– А давайте мы ему дом построим на берегу Северского Донца? Чтобы жил он на лоне природы, черпал вдохновение для своего творчества на чистом воздухе. Сколько средств на эти цели может выделить городской бюджет?

– Не знаю... Все так неожиданно... – промямлил очкарик. – Тысяч десять наберем, не больше...

– Ну вот, первый взнос в строительство дома свободной прессы уже есть. А я переговорю еще с руководителями предприятий, хозяйств, чтобы в порядке оказания шефской помощи помогли. Как видите, мы прессе ни в чем не отказываем...

Они еще о чем-то говорили, громко смеялись, договаривались, я же окончательно ушел в себя и присутствовал на банкете только номинально. Наконец Василий Иванович вспомнил, что у него на пять часов намечено заседание бюро горкома.

– Правда, я его могу отменить в честь вашего приезда.

Но Ощепков этой жертвы не принял и сказал, что мы и так уже все решили, поэтому нет смысла задерживаться.

А на обратном пути в машине он восторженно подводил итоги нашего визита:

– Ну, парень! Ну, Серега! Ну тебе и повезло! Даже больше, чем мне. Видано ли дело, целый особняк в природоохранной зоне на халяву получить! Это, батенька, не просто везенье, а супервезенье. Мне, что ли, обратно в Каменск вернуться? Нет, у меня уже другой уровень. Но какое мы с тобой новоселье забабахаем! Девоч целый табун нагоним. Пускай они голые в бассейне плещутся. Ты не забудь напомнить про бассейн первому, когда в Каменск приедешь. А то сэкономит. А на прессе экономить нельзя. Себе дорожке получится.

В эту ночь я вообще не уснул. Хотя в одиночку выпил две больших бутылки дешевого портвейна.

А утром напросился на прием к главному редактору и, минуя Ощепкова, написал у него заявление на увольнение по собственному желанию. Вернулся в Томск, в родную редакцию, где меня в воспитательных целях, как летуна, приняли на должность корреспондента.

Вот такая история.

За рассказом Сергей не заметил, как приговорил свиные колбаски и две больших кружки пива.

Жаклин тоже доела свою порцию и допивала кофе.

– А разве в Томске тебе никогда не предлагали взятки? – спросила она.

– Нет.

– Даже когда руководители знали, что ты будешь их критиковать?

– Они, естественно, обижались, могли помешать в сборе информации, но чтобы купить корреспондента с потрохами – об этом в ту пору в Томской области и не думали.

– Интересно... А тебе не кажется, что ты иногда сам себе противоречишь?

– Это в чем?

– Ну, например, в твоих словах чувствуется явная ностальгия по командно-административной системе, когда журналист был личностью, с ним считались, его боялись, и в то же время ты сам рисуешь картины жуткого морального падения, во сто крат худшего, чем при рыночной экономике. Когда за людей всё решают начальники. Кому дать квартиру, а кому – нет, кому какую мебель распределить и даже кому с кем жить. Если, конечно, ты об этом не врешь. Хотя возвращение ушедшего мужа через обком мне представляется просто абсурдом. Это же страшно, Сергей!

Коршунов промолчал, ему нечего было возразить. А Жаклин продолжила:

– Проблема выбора «деньги или достоинство» встает перед каждым думающим человеком, живущим или жившим сто, двести, тысячу лет назад в любой стране земного шара. И каждый решает ее по-своему, как ему велит совесть. Тогда, в Ростове, ты выбрал достоинство, и хотя ты об этом сейчас немного жалеешь, но, я думаю, делаешь это напрасно. Ты просто не мог поступить по-другому. И я бы не смогла. И наш общий родственник Петр Коршунов тоже не смог бы. Как не смогли Потанин, Ядринцев, Андреев. Те, о ком ты читаешь в дедовой рукописи. И в те времена издатели вставали перед выбором: либо деньги и карьера (такие и на газетном деле составляли немалые состояния), либо беззаветное служение обществу, что было сопряжено с гонениями, ссылками и, конечно же, бедностью.

– Но ведь были и другие примеры! – не успокаивался Сергей, на собственной шкуре испытавший, что такое безденежье и как оно ломает людей. – Тот же Муромский, твой дед, наконец! Они были революционерами и вместе с тем жили, ни в чем себе не отказывая.

Жаклин сморщила носик и скептически произнесла:

– Для России они были скорее исключением, чем правилом. Им по какой-то счастливой случайности удавалось достаточно долго сохранять баланс между личными, меркантильными интересами и внутренней потребностью служения обществу. Такой умеренный эгоизм больше характерен для западного типа поведения. Вы же, русские, без крайностей не можете. У вас либо одно, либо другое.

Несмотря на протесты Сергея, она рассчиталась с официантом за обед и отвезла его обратно к дедовскому дому.

Прощаясь, она по-родственному чмокнула его в корявую щеку, а потом закрыла глаза и мечтательно произнесла:

– А на Карловом мосту мне приснился чудесный сон.

## РОДИНА БОГА

– Подвигайте свое дело вперед, не обращая внимания на толки окружающих. Не ими вы будете судимы. У нас будет другой судья, который иначе смотрит на дела людей. Этот другой судья, во-первых, наша собственная совесть и, во-вторых, мнение немногих, но стоящих выше толпы, – продиктовал старик и сделал паузу, чтобы я успел записать.

Как только перо перестало скрипеть по бумаге, Потанин продолжил:

– Такой совет я дал давно, еще будучи вольнослушателем Петербургского университета, одному начинающему сибирскому литератору .

Неожиданно Григорий Николаевич прервал меня:

– Нет, вычеркните, пожалуйста, последнюю фразу, Петр Афанасьевич, будьте так любезны. А то опять из меня «сампьючайство» полезло. Терпеть не могу, когда другие люди себя выпячивают, а сам под старость лет стал страдать этим грехом...

Вот как причудливо распорядилась судьба! Человеку, указавшему мне выход из трудной ситуации, самому пригодились навыки, какие я приобрел, последовав его совету. Шаталову стоило только подвести меня к Потанину, как старик сразу вспомнил меня и очень обрадовался встрече. Но еще более обрадовалась Мария Георгиевна: наконец-то у ее супруга появится секретарь мужского пола.

За неделю своего секретарства я уже привык к перескокам потанинской мысли. Было очевидно, что образцом для своих мемуаров он выбрал «Былое и думы» Герцена. Хронологический принцип он явно заимствовал у редактора «Колокола». Но память порой его подводила. Начав рассказ об одном событии, он мог увлечься описанием какой-нибудь второстепенной детали, уйти далеко в сторону и развивать совсем иной сюжет, относящийся совершенно к другому периоду его жизни. Иногда забывался на полуслове и дремал. Но, просыпаясь, спрашивал меня, на чем мы остановились. Я крупными жирными буквами писал на листе окончание его последней фразы. Сильно прищурившись за своими выпуклыми очками, старик медленно прочитывал мою запись и продолжал диктовать дальше без сбоев, словно и не было никакого перерыва.

– На пятом году жизни я лишился матери, и я ее не помню...

«Я тоже!» – захотелось вскрикнуть мне, но я промолчал.

– Больше же частью я в доме дяди жил на положении барчонка...

А я?

Когда Григорий Николаевич описывал полковницу, взявшую его на воспитание, перед моими глазами возникала моя приемная мать, Елизавета Степановна.

Правда, здесь наши дороги с маленьким Гришей Потаниным, прошедшим по ним на полвека раньше, разошлись. Он оказался в кадетском корпусе в Омске, а я – в томской гимназии. Но и этих совпадений было достаточно, чтобы я осознал всю их **НЕСЛУЧАЙНОСТЬ**.

– Отец рассказывал, когда мне было полгода, ему пришлось перевозить меня из одной станицы в другую. Это было зимой. Он с женой ехал в кошеве\*, а меня привязали сзади к подушке. По дороге ямщик остановил лошадей, разбудил спящего отца (была ночь) и сказал, что ему показалось, будто что-то с воза упало. Подушки с ребенком не оказалось. Испуганные родители бросились назад и нашли меня на порядочном расстоянии от кошевы, продолжающего спокойно спать. Это было начало моих путешествий. Я начал странствовать на первом году жизни, и только тогда мне угрожала смертельная опасность.

Я записываю и отчетливо вижу заснеженную степь и маму, укутывающую меня своим шелковым платком, будто невесомая ткань может согреть на морозе. Сознание уже уплывает, тело перестает ощущать холод, а мама сквозь слезы успокаивает меня, прижимая к себе:

– Ничего, ничего, сынок. Скоро согреемся. В раю – тепло, там всегда лето.

Дикий свист, топот копыт, взволнованное лицо киргизца в меховом малахае, крепкие руки, укутывающие меня в овчинный тулуп. И я засыпаю в тепле.

– В кадетском корпусе дети сибирских казаков обучались в эскадроне, а дворяне, выходцы из Европейской России, в роте. Мы были демократия. Бельэтаж – это была Европа, нижний этаж – Азия. В бельэтаже учили танцам, а казаков в те же часы – верховой езде. Там учили немецкому языку, а в нижнем этаже – татарскому. Вот откуда берет истоки культурный сибирский сепаратизм. Само правительство посеяло его, стремясь сохранить сословную чистоту в детях дворян.

Мы зачитывались повестью Гоголя «Тарас Бульба» и чувствовали себя сродни запорожским республиканцам, самим избравшим кошевых атаманов.

Казачий офицер в ту пору получал в год 72 рубля жалованья, армеец – 250 рублей и, кроме этого, различные надбавки: квартирные, фуражные, на отопление и освещение. Казачий – голое жалованье. Армейский имел денщика, казачий сам себе чистил сапоги. Армейцу после окончания службы полагалась пенсия, а казачьему – нет. И награды начальство давало армейцам куда охотнее, чем казакам.

Мы даже мечтали развязать против армейцев партизанскую войну. Даже угоривались, одевшись в киргизские шубы и малахаи, нападать по ночам на проходящих мимо армейцев и стегать их нагайками...

Григорий Николаевич умолк. Я пригляделся и понял, что он заснул. Короткий зимний день уже клонился к закату, и в тесную, уставленную книжными шкафами, комнату вползли причудливые сумерки. Я тихо вышел из кабинета и затворил за собой дверь.

Мой квартирный вопрос пока не решился. Я побывал по трем адресам, предложенным мне Шаталовым, но ничего путного не нашел. И продолжал шиковать в гостинице «Европа».

Однажды на входе на свой этаж я был неожиданно атакован двумя собаками – большим мраморным догом и его длинношерстным компаньоном, ирландским сеттером. Животные играли и ко мне отнеслись миролюбиво, только «украсили» шерстью мои брюки.

– Кинг! Чарли! Фу! Быстро ко мне! – послышался из коридора взволнованный голос.

И вскоре выбежал запыхавшийся господин в светлом костюме.

– Бога ради извините меня, что упустил своих питомцев. Я надеюсь, они не причинили вам вреда?

Хозяин ухватил псов за ошейники и теперь боялся лишь одного – чтобы постоялец не поднял шума.

Я улыбнулся и погладил дога по голове. Лицо его хозяина просветлело – он узнал меня.

– Господин Коршунов, если не ошибаюсь? – не веря своим глазам, удивленно произнес Петр Васильевич Муромский.

Я бы тоже назвал его по имени и отчеству, если бы мог, но в ответ только утвердительно кивнул головой и еще раз улыбнулся.

– Понимаете, я дома затеял ремонт и временно перебрался в гостиницу. Этих же «крокодилов» на улице не оставишь, они же домашние, а в доме пыль, грязь, разруха. Пришлось уговорить управляющего, чтобы разрешил их взять с собой сюда. Он согласился, но только до первой жалобы от других постояльцев. Вы же не будете жаловаться?

Я успокоил его, как мог, мол, все в порядке. Более того – взял за ошейник дога и помог довести его до номера Муромского. После чего адвокат окончательно успокоился и пригласил меня отужинать вместе.

В ресторане присяжного поверенного встретили как самого дорогого гостя и сразу провели в отдельный кабинет, где трое официантов мигом устали стол всевозможными закусками.

– Как насчет водочки с морозца? – спросил меня Петр Васильевич.

Я с удовольствием поддержал его предложение. Мы выпили по рюмке и закусили строганиной из мороженой стерляди.

Адвокат растрогался и стал всячески извиняться, что после революции так и не отблагодарил меня за свое чудесное спасение. Но на этот раз он намерен реабилитироваться в моих глазах. Он поинтересовался, надолго ли я в Томске? Я написал в блокноте, что приехал сюда надолго, работаю у Потанина добровольным секретарем, сотрудничество с таким великим человеком уже честь, но хотелось бы найти место на жаловании, и с квартирой я тоже еще не определился.

Муромский проявил искреннюю заинтересованность в моем деле. Долго расспрашивал меня, к чему я имею навыки, где учился, что делал за границей, есть ли у меня семья, в какой политической партии состою. Я только успевал строчить ответы на его вопросы. Больше всего моему собеседнику понравилось, что я вышел из РСДРП и вообще отошел от политики.

– Представьте себе, Петр Афанасьевич, я испытал нечто подобное. После тех печальных событий, когда вы потеряли голос, меня выслали из Томска на полгода, но затем мне удалось взять реванш: я выступил обвинителем в суде против организаторов погрома. А потом даже избирался депутатом в Государственную Думу, но поработать там так и не успел. Пока я доехал до столицы, ее распустили. От партии социалистов-революционеров я теперь вообще отдалился. Их политическая борьба меня уже мало интересует, только идеи автономии Сибири мне по-прежнему близки и дороги. За них готов стоять до конца.

Он предложил тост за Потанина.

– Вам очень повезло, что свою деятельность в Томске вы начали именно с помощи Григорию Николаевичу. Это поистине святой человек. Он из разряда про-



роков, которые приходят на землю раз в тысячелетие. Как Христос, Будда, Магомет. Помните мои слова, придет еще такое время, когда именем Потанина будут называть города...

Перед горячим мы сделали перерыв, и Муромский предложил партию в бильярд.

Вообще-то в русский бильярд я играл хуже, чем в пул, но этим вечером я был в ударе, и мои шары залетали в лузы один за другим. На выигрыш мне не понадобилось и десяти минут.

Муромский достал из бумажника пять рублей и положил их на край стола.

– Может быть, еще партию? – он явно не привык проигрывать.

Мы сыграли и вторую, и третью, а потом и четвертую, и пятую. Но исход был один. Моему партнеру сегодня явно не везло.

Расстроенный, он предложил вернуться за стол, где сгоряча выпил три рюмки водки подряд. Потом мы еще раз плотно поели. Я отяжелел после обильной еды, а Петр Васильевич еще и захмелел.

– А может быть, в карты? – предложил он умоляющим голосом.

Я не посмел ему отказать. Тогда разом повеселевший адвокат крикнул официанту в зал, чтобы тот принес запечатанную колоду.

– Видать, чем-то прогневил я госпожу фортуны. И в фараона мне лучше не играть. А то донага меня разденете, – он рассмеялся и спросил: – Как насчет какой-нибудь коммерческой игры? Покера, например? Там хоть думать надо, не все зависит от слепого случая.

Я не возражал.

Остатки пиршества были тут же убраны со стола, скатерть уже поменяли, но графинчик с водкой, две рюмки и тарелку с солеными огурцами официант предусмотрительно оставил.

За стенкой пьяные голоса затянули «Боже, царя храни...». Это активисты Союза русского народа продолжали отмечать 300-летие Дома Романовых. Официант извинился и попросил не обращать на них внимания, мол, скоро уйдут.

– Нашли что праздновать! – выругался Муромский. – Триста лет рабства. Холопы они и есть холопы. Как были ими, так и останутся до скончания дней своих. Зачем им свобода, гражданские права, если они упиваются собственным холопством? И к сожалению, Петр Афанасьевич, именно такие люди составляют основную массу населения нынешней России. Им и так хорошо. Революция, по большому счету, нужна только интеллигенции.

Я выиграл и в карты еще тридцать рублей. При азартности моего соперника игра могла затянуться еще надолго, а обыгрывать его в пух и прах вовсе не входило в мои планы, поэтому я поставил на кон весь свой сегодняшний выигрыш, в том числе и бильярдный, и наконец карта пришла Муромскому.

Он был поистине счастлив, что ему удалось отыграться. Хотя к деньгам, как я понял, он относился по-философски. Как легко они к нему приходили, с такой же легкостью он с ними и расставался. Для него был важен сам процесс игры, испытание благосклонности фортуны. Наверняка, если бы я схитрил и специально поддался, он бы обиделся. А так все было честно, и Петр Васильевич продолжал считать себя фаворитом судьбы.

Он явно не хотел расставаться и затянул меня к себе в апартаменты на рюмку коньяку. Оба пса с радостным лаем выскочили из спальни и стали ластиться ко мне. Дог запрыгнул на кровать и, скомкав покрывало, стал носиться как угорелый. Умилившись непосредственностью своего любимца, адвокат сменил гнев на милость и уже обычным дружеским тоном произнес:

– Кинг – сын того самого Маркиза, который у меня жил прежде. Как видите, мне служат только особы голубых кровей! Еще одна разновидность моей борьбы с самодержавием. А сеттера зовут Чарли. Я так избаловал этих тварей, что они уже спят у меня в ногах. Даже не знаю, как их теперь от этого отучить...

Муромский пригубил коньяк и неожиданно перешел совсем на другую тему:

– Петр Афанасьевич, это совершенно недопустимо, что вы до сих пор не женаты. Вот даже я, человек уже пожилой, старше вас на двадцать лет, и то подумаю о женитьбе. Пусть она и не знатного рода, и не так богата, как томские купчихи, и пусть моложе меня на четверть века, но я влюбился, как мальчишка, и не мыслю своей жизни без моей милой Сонечки.

«Какова судьба той девочки, которую вы спасли на Соляной площади?» – написал я в блокноте, воспользовавшись моментом.

– Полины? Племянницы Андреева? – переспросил Петр Васильевич.

Я не сдержал своего нетерпения и судорожно закивал.

– Так вот из-за кого вы вернулись в Томск! – обрадовался своей догадке мой собеседник. – Объект, достойный обожания. Полина Игнатовна – первая красавица Томска. Да что там Томска, всей Сибири! Но боюсь вас огорчить, молодой человек. Уж больше года, как она уехала в Иркутск, чтобы ухаживать за больной матушкой. Да вы сходите к Андреевым. Вас там встретят как родного, и все сами узнаете про Полину из первых уст.

Муромский заметил румянец на моих щеках и, дружески похлопав меня по плечу, сказал:

– Ладно. Я сам все разузнаю, а после вас извещу.

Моя встреча с Петром Васильевичем имела серьезные последствия. Муромский был не только присяжным поверенным в суде, на нем еще висела масса всяких общественных поручений: товарищ председателя Общества попечения о начальном образовании, почетный член Общественного собрания, гласный городской думы, председатель училищной комиссии. Вдобавок он все-таки поддерживал отношения с партией эсеров, общался с единомышленниками по Сибирскому областному союзу\* и еще регулярно писал статьи в «Сибирскую жизнь». Естественно, такой объем работы одному человеку осилить было весьма сложно. И у него был целый штат помощников. Мне он поручил ведение самых щекотливых дел, в которых длинный язык совсем не требовался и даже, наоборот, порицался: финансовые дела, те, которые и приносили ему высокие гонорары, позволявшие жить на широкую ногу. Моя природная молчаливость и оксфордское экономическое образование предопределили его выбор.

Томские купцы зачастую имели хозяйственные споры друг с другом, с местной властью и решали их в суде. Муромский был поверенным в делах самых известных и громких фамилий. Особо доверительные отношения сложились у него

с владельцем золотодобывающей компании Второвым, с семейством виноделов и спиртозаводчиков Вытновых и некоторыми другими. И тут мои биржевые навыки, умение читать бухгалтерские документы пришлось как нельзя кстати. Фиксированного жалованья Петр Васильевич мне не положил, а только процент с его гонорара по выигранным делам, но он превзошел все мои ожидания. К тому же это обстоятельство позволяло мне не сидеть в конторе с утра до вечера, а иметь свободный режим. И мне легко удавалось выкраивать по два-три часа на дню, чтобы поработать у Потанина.

Одновременно с трудоустройством решил и квартирный вопрос. Муромский сдал мне в аренду одноэтажный флигель в своей усадьбе. Теперь я мог за пять минут добраться и до окружного суда, и до дома, где снимали квартиру Потанины.

Работа над «Воспоминаниями» приостановилась в связи с неожиданным решением Григория Николаевича отправиться летом в этнографическую экспедицию в Каркаралинскую степь. Началась переписка с Западно-Сибирским отделом Русского географического общества в Омске и его Семипалатинским подотделом. Согласовывался план, сроки и состав предстоящей экспедиции, определялось финансирование, выискивался переводчик с киргизского...

Я и предположить не мог, что организация путешествий связана с такой бумажной волокитой.

Теперь чуть ли не половину своего рабочего времени мы тратили на составление корреспонденции, а еще отвлекались то на вычитку корректуры монгольского сборника, то на написание статей для «Сибирской жизни». В результате «Воспоминания» приобрели еще более разорванную и запутанную форму.

Наброски, черновики, вычитанные рукописи валялись по разным углам. Я постоянно собирал их в папку, потом отсортировывал. Кое-что особенно запомнившееся я сохранил до сих пор.

## ИЗБРАННЫЕ МЕСТА ИЗ «ВОСПОМИНАНИЙ» Г.Н. ПОТАНИНА

В Томске, самом меркантильном городе в Сибири, жил тогда Бакунин. Я помню, как он говорил: «Два года посидеть в тюрьме полезно. Человек в уединении оглянется назад, на прожитую жизнь, обсудит свои поступки, осознает свои ошибки, подвергнет строгой критике всю свою деятельность и выйдет из тюрьмы обновленным и усовершенствованным. Но восемь лет продержать человека в тюрьме – это самая верная система его оглупления».

Весной 1858 года я выехал из Омска и 9 мая приехал в Томск. Для меня это была еще невиданная картина, я видел только города Омск, Семипалатинск и Усть-Каменогорск, состоящие из одноэтажных построек, скорее большие села, чем города. Здесь огромная улица, дома в несколько этажей, тротуары, которых я еще никогда не видел, ворота под домом, о которых я читал только в романах, – все это вместе и, наконец, нищие, окружившие нас, показалось мне картинкой из романа Диккенса.

Бакунин по собственной инициативе стал хлопотать о моей поездке в столицу для учебы в университете. Он придумал отправить меня с караваном золота. Тогда золотоплавильная печь была одна на всю Сибирь, в Барнауле. Туда свозили золото

со всех сибирских приисков и в течение зимы отправляли в Петербург до семи караванов или, как называли в народе, «серебрянок». Караван обычно состоял из 17–20 возков. Для конвоя садили на караван человек пять солдат. Для большего успокоения начальства старались его сделать многолюднее и оживленнее. Всегда записывали туда трех-четыре обывателей, едущих по собственной надобности.

Со своими пожитками я приехал во двор горного управления. Восемнадцать возков, в которые были составлены ящики с золотом, стояли во дворе. В стороне ожидали готовые лошади в хомутах. В самом заднем возке были назначены места для урядника и для меня. Пришло начальство, пощупало возки, спросило, крепки ли полозья и шины, и приказало запрягать лошадей. А в другом конце двора исполнялась экзекуция: гоняли сквозь строй какого-то преступника. Раздавались бой барабана и крики несчастного наказуемого. Так меня провожала Сибирь.

...Главное отличие Ядринцева от предшественников-патриотов заключается в том, что он оппонировал не правительству, а русскому обществу. Он противопоставлял интересы колонии интересам метрополии.

В середине 40-х годов один автор поместил в «Отечественных записках» статью, в которой давал советы русскому правительству не сорить русские деньги на нужды Сибири. По его мнению, Сибирь совершенно лишний придаток к Российской империи, который гроша ломаного не стоит. Он рисовал природу этой страны мрачными красками. По его мнению, она не имеет будущего, в ней невозможно развитие гражданской жизни. Поэтому отпускать деньги из государственного казначейства на нужды Сибири – все равно что бросать их в печь.

Скарედные взгляды с позицией метрополии разделяли некоторые деятели и в Политико-экономическом комитете, учрежденном при географическом обществе. Мало того что они были против государственных затрат на нужды Сибири, но еще и хотели, чтобы правительство препятствовало насаждению в ней гражданской жизни. Они предупреждали, что если население Сибири возрастет и получит просвещение, то оно разделит общую судьбу с земледельческими колониями других государств, то есть отпадет от России и объявит свой край независимым. На это один академик возразил, что отделение колонии от метрополии вполне естественный акт, который не должен смущать государственных людей, что история знает много подобных случаев отпадения колонии, и что метрополия от этого не только не проигрывает, но процветает лучше прежнего. Великий князь Константин Николаевич, председатель географического общества, поспешил сгладить впечатление от откровенного заявления академика и сказал приблизительно следующее: «Сибирь не колония, и выселение русских из Европейской России в Сибирь есть только расселение русского племени в пределах своего государства».

Мы сознавали, что над Сибирью тяготеют три зла: деморализация ее населения как в верхних, так и в нижних слоях, вносимая в край ссылаемыми социальными отбросами Европейской России; подчиненность сибирских экономических интересов интересам московского мануфактурного района и отсутствие местной интеллигенции, могущей встать на защиту интересов обездоленной родины. Особенно волновал нас вопрос об экономических потерях Сибири вследствие обреченности ее служить сырьевым рынком для мануфактурного рынка империи...

Пропаганда о сибирском университете шла с большими затруднениями: было много противников этой идеи, боялись, что университет делается рассадником сепаратизма.

...артистам советовали не ездить в Сибирь на гастроли – прогорят; идею о сибирском университете встретили недружелюбно, говорили, будто она мешает сосредоточить внимание русского общества на более важных общегосударственных вопросах.

...нас рассадили по одиночным камерам... Я волновался при каждом новом имени, попавшем в письмо; сейчас приходило на ум, что у этого лица сделан обыск, что он, может, уже арестован, что вся его семья в слезах и тревоге и обвиняют меня.

Маленькая прокламация была найдена в кадетском корпусе. Младший брат одного нашего товарища, кадет по имени Ганя, отыскивая в письменном столе брата почтовую бумагу, нашел исписанный листок, это и была прокламация. Он прочел ее, заинтересовался, ничего не сказав брату, унес в корпус, чтобы показать товарищам. Она стала ходить по рукам и попала в руки одного кадета, который стал пользоваться ею, чтобы выманить у Гани папиросы. Наконец они условились отдать: один – папиросу, а другой – прокламацию из руки в руки. Пошли в укромный уголок, произвели обмен и начали курить. Дежурный офицер почуял табачный запах и накрыл преступников. Он стал шарить в карманах кадета, надеясь найти в них табак или папиросы, но вместо табаку нашел возмутительное воззвание... Прокламация была доставлена в жандармское управление.

...в своем признании сказал, что главным агитатором в нашей группе был я. Так как было бы странно, если бы я сказал, что распространял свои идеи, а кому говорил, не помню, то я решился назвать тех лиц, которые уже были привлечены к делу. О Ядринцеве я сказал, что он разделяет мои убеждения, а о других, что я пытался обратить их в своих единомышленников. Я откровенно признал себя сепаратистом, признался, что при случае говорил о возможности отделения Сибири от России. Я видел в этой пропаганде только один практический результат. Я верил, что такая фраза поразит инертное сибирское общество и заставит его задуматься о своих интересах.

Дело было озаглавлено так: «О злоумышленниках, имевших целью отделить Сибирь от России и основать в ней республику по образцу Северо-Американских Соединенных Штатов».

...Обряд гражданской смерти надо мной был совершен ранним утром, когда на базарной площади еще не собрался народ. Меня посадили на высокую колесницу, повесили на грудь доску с надписью. Переезд от полицейского управления до эшафота был короткий, и никакой толпы за колесницей не образовалось. Меня вывели на эшафот, палач примотал мои руки к столбу; дело это он исполнил вяло, неискусно; руки его дрожали. Затем чиновник прочитал конфирмацию. Вокруг эшафота моря голов не образовалось, публика стояла только в три ряда. Я не заметил ни одного интеллигентного лица, не было даже ни одной дамской шляпки. Продержав меня у столба несколько минут, отвязали и на той же колеснице отвезли в полицейское управление. Я, признанный судом главным злоумышленником, был первоначально приговорен на 15 лет на каторгу. Суд нашел какие-то смягчающие обстоятельства и ходатайствовал о сокращении срока каторги до 5 лет. Ходатайство было удовлетворено. Остальных моих товарищей присудили к ссылке на поселение с лишением всех прав. Я был осужден на каторжные работы в Нерчинские заводы, но так как наше преступление заключалось в пропаганде сепаратистских идей в Сибири, то нас выдворили от-

сюда. Меня отправили в крепость Свеаборг, где находилась арестантская рота военного ведомства с каторжным отделением при ней. Моих товарищей по делу разместили в Северной России.

...Меня ввели в комнату караульного офицера и позвали холодного кузнеца, чтобы заклепать кандалы на моих ногах. Кузнец оказался тот самый, которого я учил грамоте. Лицо его было грустно, глаза опущены в землю, он смущался тем, что ему пришлось невольно совершить неблагодарность...

Такого человека я больше не встречал на своем жизненном пути. Хотя мне довелось знать многих сильных мира сего. И диктаторов, и премьер-министров, и президентов, и главнокомандующих, и знаменитых писателей, и самых больших богачей планеты. Бывало, что и среди них встречались достаточно скромные и воспитанные люди. И все равно каждый из них осознавал, что он знаменит, и манерой держать себя невольно давал почувствовать другим, что он отмечен печатью известности. Потанин этого был лишен совсем. Он даже говорил о себе как о третьем лице. Главным идеологом сибирского областничества у него выходил Ядринцев, а он сам был лишь помощником талантливого студента. Хотя на каторге отбывал срок один Потанин. У него на этот счет была интересная аргументация:

– Я все-таки часто изменял Сибири, уходя в продолжительные экспедиции в Монголию и Китай. Ядринцев же всегда стоял на защите ее интересов. Он чувствовал раны на теле Сибири, как будто они были на его собственном теле.

Рассказывая о тюрьме и каторге, он вспоминал не столько лишения и тяготы, сколько интересных людей, с которыми его свела судьба. Причем в каждом из узников или тюремщиков он отмечал исключительно положительные черты.

Меня поразило, когда в разговоре о Свеаборге он неожиданно вспомнил буддийскую легенду.

– Враги Будды стреляют в него, но стрелы, приближаясь к его телу, превращаются в цветы. Вот так и мои судьи хотели покарать меня, создать для меня тягостную обстановку, обставив меня строгими и жестокими сторожами, но жизнь подсунула на место зверей людей с сердцем.

С каким добродушным юмором он поведал о том, как, находясь в ссылке в Никольске, чуть не превратился в буржуа. Поражение в правах лишило его пособия от казны. Зарабатывать на жизнь, давая уроки, ему тоже было запрещено, как и выходить в город. Как выжить? Выручил местный лесничий. Он предложил писать за крестьян прошения о приписке их к «починкам», самовольно расчищенным землям в казенном лесу, а в качестве платы установить рубль или полтинник. Потанин выбрал меньшую плату. Но вскоре весть о человеке, грамотно составляющем прошения, по которым не бывает отказа, распространилась по всем окрестным деревням, и крестьяне валом повалили к нему. Ссылный рассчитался с долгами перед своей квартирной хозяйкой, и вскоре у него стали образовываться сбережения.

– Полтинников скопилось столько, что я складывал их на своем столе стопочками, и вскоре очутился во власти человеческой страсти к накоплению, которой политэкономы приписывают возникновение культуры и образование капитала. Я стал превращаться в буржуа, ибо умножение стопок из деревенских пятак ласкало мои глаза. Удержаться от этой страсти я был не в силах. Впоследствии, во время моих путешествий, она проявилась в более благородных формах. С той же страстностью я констатировал накопление за время путешествия коллекций. Ког-

да я раскрывал коробочку с наложенными на ватные коврики жуками и замечал дневной прирост, то моя жадность успокаивалась, как при пересчете деревенских пятаков.

Супруга отказалась сопровождать Григория Николаевича в киргизскую степь. Тогда в пику ей он пригласил в свою экспедицию двух молоденьких сестер Синицыных. Старшая, Антонина, была уже замужем и к своей девичьей фамилии присоединила еще одну «пернатую»: Воробьева-Синицына. Она неплохо рисовала, и Потанин рассчитывал на нее как на художницу. Младшая же, Екатерина, еще училась в университете и готовилась преподавать в гимназии естественные науки. Ее интересовали травы, кустарники и деревья далекого края.

– Еще у меня будет интеллигентный переводчик с киргизского, которого мне обещали подыскать в Семипалатинске, – подытожил состав экспедиции организатор.

Однако Петра Васильевича Муромского число участников не удовлетворило.

– Позвольте полюбопытствовать, Григорий Николаевич, а кто будет охранять вас в пути?

– Зачем мне все эти церемонии? Я же не Пржевальский, чтобы путешествовать с военным эскортом. Берданки мне не нужны, ведь я не отправляюсь на охоту за туземцами.

– Но в дороге всякое может случиться, – не унимался Муромский. – Я не могу позволить вам так безрассудно рисковать жизнью.

– Да помилуйте, дорогой мой Петр Васильевич, я же не к диким племенам отправляюсь, а буду путешествовать в границах своего отечества. Киргизы – очень гостеприимный и добродушный народ. Вы же не будете выделять мне охрану, если я надумаю приехать к вам на дачу?

Муромский промолчал.

– Или на курорт Чемал на Алтае?

Адвокат махнул рукой, осознав, что Потанина не переспоришь.

Но на улице, когда мы оказались наедине, мой начальник сказал:

– Вот что, Петр Афанасьевич, вы же сами родом из тех мест. Поэтому я даю вам отпуск до окончания этой экспедиции. Поезжайте как будто по своим делам. Например, отыскать следы вашей покойной матушки. Кто она и откуда? Как оказалась зимой в степи с ребенком? Поездите по станицам. А вдруг и отыщете что-нибудь? А заодно и от Григория Николаевича с его спутницами будете неподалеку. Если возникнет какая-то неприятность, всегда придете на помощь. Вы же не разучились еще стрелять? Поэтому возьмите на всякий случай с собой револьвер.

Мы выезжали на поезде в Омск в конце мая. Погода стояла не по сезону жаркая. В лесу, зеленой стеной нависавшем над самым перроном, росло много черемухи. И хотя она уже отцветала, но источала такой дурманящий аромат, от которого даже у меня, зрелого мужчины, кружилась голова.

Нас провожала целая толпа народа. Грузчики едва успевали заносить в вагон чемоданы и баулы, но куча багажа на перроне убывала медленно. Я с тревогой думал, как нам самим придется вытаскивать эту поклажу.

Наконец дежурный по станции дал последний звонок, и кондуктор заторопил нас в вагон. Родственники затискали бедных сестер в объятиях и со слезами давали им последние наставления, как вести себя в экспедиции. Григорий Нико-

лаевич, сухо кивнув на прощанье Марии Георгиевне, первым скрылся в вагоне.

Перрон с провожающими, машущими нам вслед белыми платками, остался позади. Свежий ветер, врывающийся в окно, ласкал мне лицо и хоть немного спасал от духоты. Рядом с другим окном возле своего купе стояли барышни Синицыны и о чем-то шушукались, то и дело прыская со смеху.

Мои опасения относительно неподъемного для нас багажа оказались напрасными. На вокзале в Омске нас встречал весь Западно-Сибирский отдел Географического общества. Мне даже не дали принять участие в разгрузке. Из вагона я вынес лишь саквояж со своими личными вещами.

Кто-то из встречающих посоветовал сразу отвезти экспедиционные принадлежности на пристань и оставить их в камере хранения, чтобы не таскать лишний раз в гостиницу. Получилась целая телега. Зато в город мы отправились налегке.

В Омске мы задержались на три дня. Григорий Николаевич был нарасхват, он едва успевал наносить визиты, но все равно желающих принять у себя знаменитого путешественника было гораздо больше, чем времени, которым мы располагали. И в этой ужасной суматохе он не забыл о моем личном деле. Через каких-то своих знакомых он навел справки в полицейском архиве о женщине и пятилетнем мальчике, пропавшими без вести в Барабинской степи зимой 1890 года. Я весьма скептически относился к этой затее, ведь уже неоднократно делал подобные запросы и в Омск, и в Семипалатинск, и в Усть-Каменогорск, ответ был один и тот же: нет сведений.

Накануне нашего отплытия вечером в мой номер, предварительно постучавшись, вошел Потанин в сопровождении младшей сестры Синицыной и попросил ее зачитать один документ.

– Из числа погибших и пропавших без вести в указанный год под ваше описание не подходит никто. Однако весной 1892 года в Омское полицейское управление с подобным запросом уже обращался подданный Австро-Венгрии, проживающий в Праге, горный инженер Павел Петрович Войцеховский. Он искал следы своей семьи: жены Марии Людвиговны, 1861 года рождения, уроженки города Кенигсберга, в девичестве носящей фамилию Эрхарт, и сына Петра, 1885 года рождения. Указанные лица въехали в пределы Российской империи в декабре 1889 года. Последнее письмо, которое он получил от своей жены, было отправлено из Москвы. В нем она сообщала, что намеревается отправиться к нему на Змеиногорский рудник, где он в ту пору работал в старательской партии. Он написал ей категорический отказ и даже выслал денег, чтобы она могла вернуться домой в Прагу. Однако перевод она не получила, и больше инженер известий о своей семье не имел. В 1891 году он смог прервать свой договор с нанимателем и отбыть на родину. Однако и там никаких сведений ни о жене, ни о сыне он не нашел. Здесь внизу даже указан адрес, по которому надо писать инженеру Войцеховскому.

Я не верил собственным ушам. Боже мой, тайна, волновавшая меня с младенчества, раскрывалась так легко! Достаточно было самому приехать в Омск и обратиться в полицейское управление, а не ограничиваться официальными запросами, на которые в этой чиновничьей стране один ответ – отписка.

Потанин хитро улыбался.

– Теперь нет необходимости в нашем совместном путешествии, – официальным тоном продолжил Григорий Николаевич. – Вам следует изменить свой маршрут.



рут. Пока мы находимся на Сибирской магистрали, сделать это нетрудно. Покупайте билет до Москвы и отправляйтесь на поиски вашего батюшки. Если вам не хватает денег, то я готов одолжить...

Добрый и наивный волшебник, он совершенно неправильно истолковал мою растерянность. Не в деньгах вовсе было дело. Я мог бы завтра же зайти в местный банк и снять со своего счета сумму, во много раз превышающую весь бюджет его экспедиции. Но я же дал честное слово Муромскому, что буду сопровождать Потанина и его спутниц. Вдобавок настроился увидеть родную степь, где давно уже не был. А из Праги я выехал только прошлой осенью.

Я еще раз взглянул на адрес, указанный в полицейском ответе, – мой отец жил всего в двух кварталах от меня. Возможно, мы с ним пили пиво в одном кафе, покупали газеты в одном магазинчике. Я стал перебирать в памяти запомнившиеся мне лица пражан, но никого, кто бы годился мне в отцы, так и не вспомнил. Да и вообще: жив ли он еще? Ему сейчас должно быть около шестидесяти. Весьма преклонный возраст. А вдруг у него сейчас другая семья? Другие дети? И я сваюсь на их головы неожиданно-негаданно: здравствуйте, я ваш сын и брат, прошу любить и жаловать. Не думаю, что мне будут рады. Ведь отец уже давно не ищет меня. Значит, на то есть причины. Пожалуй, лучше для начала написать письмо.

Итак, Войцеховский. Меня зовут Петр Павлович Войцеховский. И кто же, интересно, я по национальности: поляк, словак или все-таки чех? А, может быть, это обыкновенное совпадение? И это вовсе не мой отец?

Глаша! Кухарка Коршуновых! Кажется, она говорила, что бабка Екатерина называла ей мою фамилию, которую мать твердила в бреду перед смертью. И если Войцеховский искал семью в Омске, то он, скорее всего, делал это и в Семипалатинске, а это совсем маленький городок, где подобные вещи случаются нечасто, потому местные полицейские должны помнить об этом случае. К тому же оттуда недалеко и до самого Змеиногорска, где работал мой вероятный отец. Может быть, где-нибудь в личном деле сохранилось фото его, жены, сына? Нет, полученная информация вовсе не отменяет моей личной экспедиции, а наоборот, она делает мои поиски более целенаправленными. Теперь я знаю, кого и где искать.

Я подошел к столу и быстро написал в блокноте ответ.

Катя Синицына во всеуслышание прочла эту запись, захлопала в ладоши от радости и прокричала:

– Ура! Петр Афанасьевич отплывает вместе с нами!

Против течения пароход продвигался очень медленно. Иртыш еще не успел отойти от весеннего половодья и представлял весьма широкую реку с мутной водой. Слева на высоком берегу осталась столица Сибирского казачьего войска, а справа ярко зеленели заливные луга. Но стоило пароходу отойти на юг, как пейзаж резко изменился. Пойма реки еще продолжала радовать глаз богатой растительностью, а на крутых откосах, которые просматривались с верхней палубы, открывался вид на бескрайнюю степь.

На Григория Николаевича этот пустынный пейзаж производил обратное воздействие, чем на остальную публику.

Он гулял по палубе в одной легкой рубашке и с наслаждением вдыхал полынный степной запах.

– А вы знаете, Катя, что восточные народы брали мотивы для своих орнаментов у самой природы? Вам не кажется, что вон тот изогнувшийся яр напоминает желтый сыромятный ремень, инкрустированный серебряными бляхами? – сильно прищурившись и поправив пенсне, спросил Потанин.

Девушка только вздохнула. Иногда слепой видит лучше зрячего.

А воодушевленный дорогой старик воскликнул:

– Если и есть на свете рай, в котором обитали Адам и Ева, то я убежден, что он находится в верховьях Иртыша!

Катя скептически улыбнулась, я же был солидарен с Потаниным.

Издредка пароход причаливал к берегу, и пассажиры имели возможность прогуляться. Я отходил подальше от всех, раздевался донага, купался и плавал в реке своего детства в полном одиночестве.

В Павлодаре мы остановились почти на целый день. Команда пополняла запасы угля и продовольствия. Публика получила возможность выйти в город. Я заранее попросил Катю Синицыну пойти со мной. Если удастся найти кухарку Глашу, мне понадобится человек, способный быстро на словах объяснить цель нашего визита. А Григория Николаевича оставили на попечении Антонины.

Оказалось, что Аграфена Ивановна жива, более того, она по-прежнему проживала в старом доме Коршуновых, правда, служила теперь у новых хозяев.

Она очень обрадовалась, когда узнала, кто мы такие, рассмотрела меня со всех сторон, а потом усадила нас за стол выпить чаю и откусать ее особенного яблочного пирога.

– Называла, Петенька, бабка вашу фамилию, только Елизавета Степановна мне строго-настроено наказала забыть ее и никогда больше не упоминать. Дескать, ты Коршунов и более никто.

– А не помните, что за фамилия? – поинтересовалась Катя.

– Ох и не упомню, милые вы мои. Столько годков уже прошло. Вон Петя как вырос, настоящим кавалером стал. Повезет той девке, что выскочит за него замуж.

Барышня покраснела, но еще настойчивее повторила свой вопрос.

Кухарка призадумалась, а потом вспомнила:

– Какая-то нерусская. То ли польская, то ли малоросская. Хмельницкий, Вержбицкий...

– А может быть, Войцеховский? – пришла на помощь моя переводчица.

– Точно, Войцеховский! – радостно воскликнула Аграфена Ивановна. – Как пить дать, Войцеховский! – подтвердила она, перекрестясь.

В Семипалатинске мои поиски вновь сильно продвинулись с помощью членов Географического общества. Через их протекцию полиция выдала мне фотографии: моей мамы, меня в младенчестве и всей нашей семьи, включая отца. Таким образом, мое расследование было завершено. Я теперь доподлинно знал свое происхождение. И ехать в далекий Змеиногорск мне не было никакого смысла.

Я решил остаться с Потаниным. И не только потому, что боялся отпускать его в компании двух беззащитных девиц и переводчика, но киргизская степь тоже манила меня, а Екатерина Синицына явно выказывала мне свою симпатию.

От берегов Иртыша мы двинулись вглубь безводных, выжженных солнцем пространств, взяв курс на Куяндинскую ярмарку. Григорий Николаевич вместе

со своими спутницами ехал на тарантасе. Мне же пришлось вспоминать навыки верховой езды, приобретенные в детстве на конном дворе купца Коршунова. Но долгое отсутствие тренировки сказалось: к вечеру я так натер седлом бедра и ягодицы, что не мог без посторонней помощи слезть с лошади.

– Плохие дела, Петр Афанасьевич, – осмотрев мои кровавые ссадины, покачал головой наш переводчик Алимхан.

Он учился в Томском университете, и мне доводилось встречать его у Потанина на «пятницах», но познакомились мы с ним только перед отъездом в степь. Ему удалось досрочно сдать экзамены и нагнать нас. Пополнение нашего коллектива я встретил с радостью. Этот молодой человек был своего рода связующим звеном между цивилизованным Томском и дикой степью. Он свободно говорил и по-русски, и по-киргизски. Физически хорошо развит. И стрелял из ружья отменно: на каждом перегоне ему удавалось добыть какую-нибудь дичь, и на ужин у нас всегда была горячая похлебка.

Порывшись в своем дорожном мешке, юноша извлек какую-то склянку. Несмотря на мои протесты, Алимхан смазал раны этой гадостью и велел не вставать до утра, чтобы лекарство впиталось. Зато на следующее утро я с удивлением обнаружил, что рубцы на коже затянулись, будто бы их не было вовсе. Переводчик поправил мое седло.

Теперь дорога не причиняла мне никаких неудобств, и я стал уделять внимание окрестным пейзажам. Всюду простиралась бескрайняя желто-серая степь. Иногда она бугрилась и как бы выпучивала из себя курганы с одинокими большими камнями у самых вершин. Подъехав к одной такой возвышенности поближе, я обнаружил, что это вовсе не валуны, а каменные истуканы с плоскими лицами. И тогда я понял, что при всей ее неприглядной однообразности и скудности это – обетованная земля.

– Степь – та же книга, только ее надо научиться читать. И никогда не будет скучно, – словно угадав мои мысли, пояснил Алимхан.

В начале степной одиссеи Потанин был немногословен и замкнут. Видимо, он чувствовал себя неважно, но не хотел нас расстраивать и крепился. И только когда на горизонте показались горы и переводчик объявил, что ночевать будем в станице Баянаульской, лицо старого путешественника просветлело и взгляд оживился.

До этого я никогда не бывал в оазисах, хотя много читал о них в приключенческих романах. Мое воображение рисовало финиковые пальмы среди барханов песка в палящей пустыне, обступающие источник с живительной влагой. Но чтобы оазис возник посреди солончаковой степи, притом таких внушительных размеров – не менее десятка верст в длину и столько же в ширину, в это я вряд ли поверил бы, если бы сам не побывал там.

Станица стояла на берегу равнинного озера Сабандыкуль, от которого начинался сосновый бор, уходящий дальше по скалам в горы.

– Настоящая красота начинается за перевалом, – заметил переводчик. – Там еще два озера. Если пожелаете, могу завтра проводить туда. Вы будете удивлены.

К Григорию Николаевичу подошли местные старейшины, и Алимхан поспешил к нему. Однако разговор уже начался. Потанин в недоумении показывал рукой на новый бревенчатый дом у подножия диких скал на берегу озера. Аксакалы поняли суть его вопроса, Ермакову осталось только перевести их ответ.

– Старый дом сгорел во время пожара.

– Как же так? – развел руками путешественник. – Когда я во второй раз возвращался из Монголии, дом был еще цел.

Он говорил так, будто бы это было вчера или, по крайней мере, неделю назад. Но со времени второго монгольского путешествия Потанина прошло уже тридцать три года.

Старик разом как-то обмяк и присел на крыльцо новостройки.

– Вам плохо, Григорий Николаевич? – подскочила к нему Антонина и стала искать в сумочке лекарство.

– Пустое, – отмахнулся он. – Скоро пройдет. Просто обидно, что старого дома больше нет. Его строил еще мой отец. И первый год семейной жизни он прожил с моей матушкой в этом доме. И, вероятно, его стенам я был обязан своим рождением.

Ни завтра, ни послезавтра у переводчика Ермакова не выдалось свободного времени, чтобы проводить нас за перевал. К дому, где мы остановились, выстроилась очередь из аборигенов, желающих рассказать сказки и предания «аксакалу с красивой душой», как они называли Потанина. Видя такой ажиотаж, я предложил Алимхану свою помощь. В результате у нас возникло своеобразное трио. Григорий Николаевич расспрашивал сказителя, Ермаков переводил вопросы и ответы, а я стенографировал их беседу.

Накануне отъезда мы с Алимханом условились закончить работу до полудня и сразу после обеда махнуть в горы. Григорий Николаевич тоже поначалу хотел поехать с нами, но потом передумал.

– Все равно ничего толком не увижу. Я же даже картин рассмотреть не могу, одни только рамы, что уж говорить о настоящих пейзажах. Езжайте сами, быстрее обернетесь.

Мы вскочили на лошадей и галопом понеслись по пыльной дороге. Однако вскоре наши скакуны сами перешли на шаг, им пришлось круто подниматься в гору. Зато когда мы оказались на перевале, у меня дух захватило от увиденного. За нами простиралась бескрайняя степь, ее скудный ландшафт просматривался и справа, и слева за поросшими сосновым лесом горными хребтами, и далеко впереди. Но если посмотреть вниз, то невольно забываешь, где находишься. Это была настоящая Швейцария. В расщелине между крутых скал и гор, поросших хвойными деревьями, лежало голубое озеро. В самом конце вьющегося серпантина я увидел узенькую желтую полоску песчаного пляжа и указал на нее своему спутнику. Он сразу меня понял, и мы стали спускаться.

Такой чистейшей воды я не видел даже в Швейцарии. Можно было далеко зайти в озеро, даже заплывать на глубину, и обозревать свое тело, словно парящее в прозрачной стихии. Удивительно, но вода здесь была теплой. Обычно в горных озерах долго не купаешься. Раз-два нырнешь, а потом весь дрожишь от холода, и судорога начинает сводить ноги и руки.

Мы купались в Джасыбае (так называлось это озеро), пока солнце не начало садиться за вершины гор. А потом едва успели взобраться на перевал и спуститься на равнину, как кромешная тьма укутала нас. Дорогу в станицу нашли лошади.

Ближе к Куяндинской ярмарке нам стали чаще попадаться навстречу конские табуны и отары овец, погоняемые покрытыми пылью чабанами.

Однажды из-за горбатого увала вылетели на скакунах два джигита. Я уже нащупал в кармане сюртука ребристую ручку револьвера. Но Алимхан очень дружелюбно прореагировал на их появление. Он словно забыл про ружье, а когда они приблизились к нам вплотную и что-то прокричали, с улыбкой ответил им на своем языке. Всадники заливисто расхохотались и, перебросившись еще парой фраз, ускакали в степь.

– Что им было от нас нужно, Алимхан Абеуович? – спросила перепуганная Катя.

– Спрашивали, зачем и куда едем.

– А почему рассмеялись?

– Их развеселила цель нашего путешествия. Им непонятно, зачем старому аксакалу нужны казахские сказки. Неужели в России мало своих?

– А вы им что ответили?

– Сказал, что наши лучше.

Обе барышни прыснули со смеху. Потанин тоже улыбнулся. Набравшись смелости, Екатерина спросила его:

– Григорий Николаевич, а на самом деле, зачем вам столько киргизских сказок? Вы собираетесь их издать?

Потанин сразу собрался, словно вознамерился читать лекцию в университетской аудитории, забыв про тряский тарантас.

– Видите ли, Екатерина Александровна, староват я для простого сборщика фольклора. Времени у меня осталось немного, поэтому хочу посвятить его разгадке тайны, которая меня давно уже занимает. Сибирь – удивительная страна. Здесь сталкиваются и своеобразно взаимодействуют европейская и азиатская культуры. Умственная и общественная деятельность кочевых племен развивалась оригинально, она в меньшей степени испорчена поздними религиями: христианством, исламом и буддизмом. В фольклоре кочевников можно найти истоки. Меня очень интересует влияние Верхней – ордынской – Азии на искусство и жизнь России, а через нее и Европы. В частности, у меня есть все основания полагать, что легенда о Христе родилась вовсе не в Палестине, а пришла туда из Верхней Азии через Киргизскую степь, Кавказ и Армению. Доказательства этой гипотезы я собираю всю свою жизнь, и первые результаты нашей нынешней экспедиции свидетельствуют, что я на верном пути.

Бедная Катя Синицына! Хотя она и изучала естественные науки в университете, но все-таки воспитывалась в православных традициях и наверняка по воскресеньям посещала церковь. Откровенные признания такого авторитетного человека, каким для нее являлся Григорий Николаевич, вошли в противоречие с церковными догматами. В ее больших круглых глазах читался один вопрос: кому верить? И чтобы отогнать сомнения, она быстро перекрестилась.

Два месяца мы пробыли на джайляу в Каркаралинских горах. Жили в юртах. Григорий Николаевич, Алимхан и я – в одной, а сестры Синицыны в другой. Пили кумыс, по праздникам ели бешбармак. И каждый день возле нашей юрты собирались акыны и сказители из всех окрестных аулов, пели свои песни и рассказывали сказки и легенды.

Однажды прохладным августовским вечером на притоке реки Токрау Катя Синицына призналась мне в любви, неумело чмокнула в губы и быстро убежала в темноту. Я потом не спал всю ночь и думал, как мне поступить. Эта девочка по-

настоящему любит меня, и, может быть, мне стоит ответить на ее чувство и предложить ей руку и сердце? Возможно, это и есть мое счастье, а ее любви хватит на нас двоих? Но всякий раз, когда я только пытался допустить эту мысль, перед моими глазами вставал образ другой девушки – с зелеными глазами.

На следующее утро я повел себя так, будто ровным счетом ничего не случилось. Екатерина Александровна сильно на меня обиделась. А вскоре с первыми утренними заморозками мы снялись с кочевья и отправились в обратный путь.

## ДЕВУШКА ПЕЛА В ЦЕРКОВНОМ ХОРЕ

Стоял теплый вечер. И хотя календарь отсчитывал вторую неделю сентября, и листья на бульваре раскрасились в разные цвета – зеленый, красный, оранжевый, желтый, а иные уже засохли, опали и шелестели под ногами прохожих, неожиданно вернувшееся тепло заставило горожан скинуть плащи и накидки. Публика прогуливалась налегке, греясь в преддверии ненастья и следующей за ним долгой и холодной сибирской зимы.

Сегодня на меня свалились курьерские обязанности. Только что отнес тезисы потанинского доклада о каркаралинской экспедиции профессору Технологического института Обручеву, чтобы он просмотрел их перед заседанием Общества изучения Сибири, а еще предстояло выполнить поручение Муромского и доставить какие-то документы его клиенту на Торговую улицу.

Я шел, погруженный в собственные думы, шелестя опавшей листвой, и корил себя за жестокость, с какой отверг чувство Кати Синицыной.

Но вдруг ощутил на себе чей-то пристальный взгляд. После потери голоса я стал очень чувствительным к таким вещам. Видимо, так уж устроена природа человека, что недостаток одного органа чувств приводит к развитию другого. Я обернулся.

На меня смотрела очень красивая барышня. Она стояла на углу Бульварной и Торговой и о чем-то оживленно беседовала с кавалером. Я вначале не узнал ее и сделал еще несколько шагов. Но спиной чувствовал, что она продолжает смотреть мне вслед. Я обернулся. Она улыбалась мне как доброму старому знакомому. Глаза у нее были зеленые, цвета весенней листвы. ЭТО ОНА!

Та самая гимназистка, девочка-подросток из безумного октября девятьсот пятого года с огромными зелеными глазищами. Та, которая призывала взрослых мужчин к стойкости и спокойствию в оцепленном казаками здании Бесплатной библиотеки. Та, которую спасал адвокат Муромский во время разгона ученической демонстрации на Соляной площади. Дальняя родственница Андреевых, моя сокровенная мечта, из-за которой я и вернулся из Европы в Томск, – Полина Игнатовна.

И что бы вы думали я сделал? Бросился к ней навстречу, взял за руку, увел от кавалера, встал на колени, объяснился, как мог, пусть даже при помощи карандаша и блокнота, в любви, попросил руки и сердца? Ничуть не бывало. Я отвесил дежурный поклон и, изобразив на лице искусственную гримасу наподобие улыбки, прошел мимо.

Как же мне хотелось вернуться назад и излить ей свою душу, но ноги упрямо несли меня прочь. Я ненавидел себя за смущение и малодушие! И хотя

разум оправдывал мой поступок неожиданностью встречи и правилами этикета, но сердце отказывалось подчиняться логике.

Даже мельком я успел рассмотреть, что она заметно похорошела за эти годы! Стала настоящей тургеневской барышней. Заплетенные в косу густые темные волосы, высокий лоб, большие одухотворенные глаза, правильный нос, точеная фигура с тонкой талией. И в то же время в ней не было даже малейшего намека на кокетство, что я всегда находил в большей или меньшей степени во всех встречавшихся мне ранее женщинах и девицах. Весь ее облик дышал сдержанным достоинством.

Я долго стоял перед домом купца, к которому имел поручение. Ждал, когда мое лицо перестанет пылать и сердцебиение придет в норму. Потом передал через прислугу пакет и поспешил к себе домой.

В ту ночь я не заснул.

Редакция «Сибирской жизни» выплатила Потанину гонорар за первую часть «Воспоминаний». Жена-поэтесса успокоилась на какое-то время, и Григорий Николаевич смог возобновить свои журфиксы по пятницам.

И надо же было такому случиться, что на первый же вечер к нему собрались одни барышни. Из мужчин были только Шаталов да я. Много было хорошеньких. Сие обстоятельство чрезвычайно нервировало Марию Георгиевну. Она сослалась на мигрень и ушла в свою комнату. Я же надеялся увидеть милое лицо своей возлюбленной. Но тщетно. Полины не было.

Видя, что собрание имеет преимущественно женский состав, Потанин тему для беседы выбрал соответствующую – о сибирячках.

– Заведение пашен, скотоводства, оседлых поселений требовало умножения женщин в Сибири, а в новую страну шло преимущественно мужское население. От недостатка женщин в первое время Сибирь не отличалась нравственностью. За неимением своих женщин русские заводили жен из инородок и, по обычаю бухарцев, заводили их по нескольку, так что московский митрополит Филарет должен был выступить против сибирского многоженства. Жены-инородки добывались или покупкой, или захватом. Многочисленные бунты инородцев, которые вызывались несправедливыми поборами и притеснениями сборщиков ясака, давали повод к военным походам в инородческие стойбища, причем мнимых ослушников избивали, а жен и детей забирали в плен и затем продавали их в сибирских городах в рабство. Голод от бесхлебицы и неурожа зверя заставлял часто и самих инородцев продавать своих детей. Кочевое племя киргизов, занимавшее южные степи Сибири, делая набеги на соседних с ними калмыков, всегда возвращалось с пленными и пленницами и также иногда сбывало их в сибирских пограничных городах.

Старик откашлялся и продолжил:

– У сибиряков собственное воззрение на женскую красоту. Местный вкус более пленяется татарским или бурятским идеалом женщины. Есть даже такой анекдот, когда иркутские девушки, рассматривая альбом портретов, находили хорошенькими лица азиатского типа, которые имели узкие глаза и плоский нос. Слово «краснорожий» в Сибири синонимично слову «безобразный» и употребляется как бранное. Тогда как слова «черномазый, халзан, карым или карымочка»\* – ласкательные по отношению к детям или девицам. Росомаший разрез глаз и скуластое лицо здешних красавиц пленяют сибиряков гораздо более, чем европейские каноны красоты...

В залу бесцеремонно вошла супруга с перевязанной полотенцем головой, сказала, что ей совсем дурно, и попросила срочно послать за доктором. Гости были воспитанными, поэтому сразу стали собираться. Я тоже направился к выходу, но Григорий Николаевич тихо окликнул меня. Я подошел к сидящему в кресле старику, и он, наклонив мою голову к себе, быстро зашептал мне на ухо:

– Петр Афанасьевич, голубчик, пока мы с вами путешествовали, у Андреевых случилось большое несчастье. Александра Васильевича сослали в Нарым. Семья осталась без кормильца. Вот десять рублей. Пожалуйста, передайте Анне Ефимовне.

И он сунул в карман моего сюртука замусоленную банкноту.

В комнату вернулась супруга, уже без каких-либо признаков болезни. В руках она держала полотенце.

– Друг мой, не надо доктора. Как ушли эти вертихвостки, мне сразу стало лучше, – заявила она бодрым голосом.

Потанин насупился, а потом еле слышно произнес:

– Я ошибся. Двух счастлих в жизни не бывает.

Лучшего повода, чтобы попасть в дом Андреевых, было не найти. Роль посланника доброй воли, приносящего вспоможение в годину лишений, великолепно подходила для возобновления знакомства с этим милым семейством.

Я разглядел потанинскую десятирублевку, потом аккуратно свернул ее вчетверо и спрятал в тайное отделение бумажника как ценную реликвию. Вместо нее положил в конверт, свои сто рублей и надписал: «Анне Ефимовне Андреевой от Григория Николаевича Потанина». Теперь можно было не опасаться, что не смогу объяснить хозяевам или прислуге цель своего визита.

Уезжая на лечение за границу, я тайком оставил Григорию Николаевичу точно такую же сумму. Но только для меня даже в ту пору это былая сущая мелочь, капля в море. Потанин же отдал семье друга чуть ли не последние свои деньги, когда нечем заплатить за квартиру или продукты. Я представил себе, какой скандал ему зататит Мария Георгиевна, и подумал: не зря монголы считали его «кукушкой» – святым человеком.

Андреевы проживали в собственном доме на Преображенской улице, на городской окраине недалеко от вокзала Томск-I. Прошлый раз я был у них зимой, когда все было замечено снегом, поэтому не мог разглядеть всей здешней красоты. Зато сейчас, ранней осенью, в разноцветье природных красок я в полной мере оценил великолепие этого места. Двухэтажные деревянные дома с резными наличниками буквально утопали в садах и цветниках. Подступавший к усадьбам березовый лес подчеркивал патриархальность и гармонию этих жилищ. Жужжали вновь проснувшиеся пчелы, в стайках мычали коровы. Даже не верилось, что это город.

Именно здесь, по рассказам Потанина, когда он жил во флигеле возле дома Андреевых, зародилось Общество изучения Сибири, в честь чего эту часть Преображенской и прозвали Сибирской слободкой.

Если сказать, что я нервничал, подходя к дому под номером двадцать, значит не сказать ничего. Я краснел и бледнел одновременно, сердце клокотало у меня в груди так, что, казалось, оно вот-вот выпрыгнет наружу. Подойдя к парадному



крыльцу, я невероятным усилием воли заставил себя постучать в дверь. Однако мне никто не ответил. Тогда я постучал еще раз, и вновь не дождался ответа. Я решил, что зайду в другой раз, и облегченно вздохнул. Но неожиданно из ворот вышла женщина в какой-то кацавейке и туго повязанном, как у монашек, платке. Она несла ведра с помоями. Я видел ее только со спины и решил, что это прислуга убирается в хлеву.

«Ну вот и славно, – окончательно успокоил я себя. – Отдам ей конверт. Пускай передаст хозяевам. А с Полиной, Бог даст, встречусь потом».

Тем временем работница вылила помой за ограду, повернулась и увидела меня, стоящего на крыльце. Она всплеснула руками, бросила ведра и ринулась бегом к воротам. Но я опередил ее и загородил дорогу. Женщина буквально с лету врезалась мне в грудь и закрыла лицо руками. Я уже подумал, что это какая-то полоумная девка и что деньги ей нельзя доверять. Но заметил, что из-под ее грязных пальцев текут слезы.

Я отнял ее ладони от лица. На меня смотрели огромные заплаканные зеленые глаза.

– Извините меня, Петр Афанасьевич, за мой коровий костюм. Но Анне Ефимовне нечем платить прислуге...

Что произошло со мной в этот миг, я не помню. Обычно от неожиданности лишаются дара речи, но его у меня давно уже не было, и поэтому я его... обрел.

– Вы? – изумленно прошептал я.

Не мыча, не заикаясь, а нормальным человеческим языком, как говорил до грома. Я бы и не заметил этого, утонув в омуте бездонных зеленых глаз, если бы моя барышня-крестьянка не прыснула смехом в свой измазанный кулачок.

– Чудно... А мне говорили, что вы – немой.

– Я и был им. А еще слепым и глухим. Пока не встретил вас, – пролепетал я и наконец-то осознал, что ко мне вернулась способность членораздельно говорить.

– Ну это вы на себя напраслину возводите. Хотите произвести впечатление на провинциальную девушку. Только куда уж больше? – Полина глубоко вздохнула. – Или это у вас такой маскарадный костюм, вроде моего коровьего. Только я в нем за коровами убираю, а вы – девушек соблазняете.

За этими словами она стремилась скрыть собственное смущение от того, что посторонний человек из благородного общества застал ее в таком непотребном виде. Мне же было безразлично, о чем говорить: лишь бы говорить с ней.

– Вы ошибаетесь, Полина. Я молчал целых семь с половиной лет. Объездил всю Европу, лечился у самых знаменитых докторов, но никто не смог мне помочь. А с вами вдруг взял и заговорил. Это чудо совершили вы!

Она смотрела мне прямо в лицо, пристально и недоверчиво, словно изучала, что происходит у меня внутри.

– А вы не обманываете? – тихо спросила девушка.

– Нет. Никогда в жизни я не был более искренним, чем сейчас.

Полина немного успокоилась, напряжение с нее спало.

– А вы к Андреевым по делу или как? – поинтересовалась моя барышня-крестьянка.

– Ах, совсем из головы вылетело, – я стал рыться в карманах в поисках конверта. – Вот, будьте так любезны, передайте, пожалуйста, Анне Ефимовне от Григория Николаевича Потанина. Здесь, кажется, деньги.

Она бережно взяла конверт и поблагодарила:

– Спасибо. Они будут очень кстати. Только тети дома нет. Она поехала в ломбард – закладывать какие-то ценности. Нина и Вера сейчас на службе. Поэтому я вас в дом не приглашаю. Но если вы сможете подойти в субботу к обеду, то, я думаю, все будут очень рады вам. Придете?

– Непременно.

Крепко сжимая в руке конверт, она вернулась за ведрами, подняла их и крикнула:

– Ну, идите же!

– Вы меня уже гоните?

– Нет, но баба с пустыми ведрами – плохая примета.

– А я не верю в приметы.

– Зато верю я. Ну, пожалуйста, – взмолилась Полина.

– А вы будете меня ждать?

– Больше всех.

Услышав ее ответ, я как на крыльях пустился обратно. Я был на седьмом небе от счастья.

## ПРИМЕЧАНИЯ

**Петр Васильевич Муромский.** Прототипом послужил Вологодский Петр Васильевич (1863–1925), председатель Совета Министров Сибирской республики, премьер-министр Всероссийской Директории и правительства А.В. Колчака (до ноября 1919 года), почетный гражданин Сибири.

**Андреев.** Прототипом послужил Адрианов Александр Васильевич (1854–1920) – исследователь Сибири, публицист. Участвовал в экспедиции Г.Н. Потанина в Северо-Западную Монголию. Совершил два самостоятельных путешествия на Алтай и Саяны. Находясь на акцизной службе в Восточной Сибири, вел большую исследовательскую работу – раскапывал и изучал древние курганы, составлял археологические коллекции, гербарии, собирал этнографический материал. Первооткрыватель енисейских писаниц. В 1913 году был сослан вначале в Нарымский край, а затем в Минусинск. С 1 июня 1917 до конца декабря 1919 года – редактор газеты «Сибирская жизнь». Вел активную полемику с большевиками. С приходом их к власти был арестован, а в марте 1920 года расстрелян.

**Шаталов Михаил Бонифацевич.** Прототипом послужил Шаталов Михаил Бонифатьевич (1882 – 1937) – исследователь, общественный деятель. В 1914 – 1917 годах редактировал и издавал в Томске журнал «Сибирский студент». Был учеником и последователем Г.Н. Потанина, сторонником идеи автономии Сибири. После Февральской революции вступил в партию эсеров. Был избран депутатом Всероссийского Учредительного собрания. Выступал с докладами на Сибирских областных съездах. Министр туземных дел в составе правительства Сибирской республики. В сентябре 1918 года под давлением правых написал прошение об отставке. Работал в Томске уполномоченным Сибирского союза земств и городов. При советской власти был инициатором создания, а затем директором Томского краевого музея. Арестован в 1933 году, осужден на 10 лет. Дата, место и обстоятельства смерти неизвестны.

**Поэтесса из Барнаула Павлова.** Прототипом послужила вторая жена Г.Н. Потанина Васильева Мария Георгиевна (1863 – 1943).



Помню Свету Борзунову университетских лет. Всегда в движении, куда-то спешит – в библиотеку, в кино клуб, на редакционное задание. Говорила она тоже на ходу – всегда чётко, определённо, с пристрастием. Писала стихи. На фоне филологических манерностей сокурсников и сокурсниц они выделялись естественностью интонации и жеста. Сразу видно было, что они написаны из душевной потребности, и чувство, рождающее их, облекалось в крепкие, энергичные строки.

*Проторенной тропой  
Пройду, минуя площадь,  
Рванётся ветер вслед,  
Но я не обернусь.  
Ладонями всплеснёт  
Возлюбленная роща,  
Где каждый бугорок  
Ты знаешь наизусть.*

Это про всеми нами любимую университетскую рощу.

Мы не были близко знакомы, потому не сразу я узнал, что Светлана уехала из города. Потому только в этом году попала мне в руки книга её стихотворений «Ты – моя судьба», изданная в Благовещенске в 2001 году. Я нашёл тут и старые стихи, что нравились мне открытостью, какой-то даже задиристостью: «А я вот такая!». И увидел, читая книжку, что всё это сохранилось, а прибавилось мастерства

и жизненного опыта. И сохранилась особая борзуновская романтика. Не нужно было уходить в мир алых парусов и Маленького принца. Света находила её в окружающей нас повседневной жизни.

Вот и в её послесловии воспоминания о Томске предстают в романтическом ореоле. *«Очагом демократии в вечно оппозиционным властям университете была многотиражная газета «За советскую науку», куда я пришла в начале первого курса»*. Боже мой! Многотиражка была хороша, но не более того. Университет был таким же послушным властям, как его собратья по всей стране.

*«В студенческом киноклубе показывали тайком картины, положенные Го-скино на полку»*. Ну не показывали нам в киноклубе таких фильмов, этого просто быть не могло! Шли картины «второго экрана», распечатанные с малым количеством копий: «Кто вернётся – долюбит», «Чистые пруды», «Тени забытых предков». Замечательные фильмы, что и говорить, но....

Впрочем, никаких «но». Так запомнились эти и вправду необыкновенные студенческие годы.

Светланы Борзуновой больше нет среди живых. Остались дети, остались стихи, написанные с полной искренностью и доверием к тому, кто их прочтёт.

**Владимир КРЮКОВ**

## Светлана Борзунова «И Я БЫЛА ДУШОЮ ДОМА...»

\*\*\*

Был дом. И я была душою дома.  
Все окна выходили на зарю.  
Несчастливым это чувство не знакомо:  
мой мир прекрасен, я его творю.  
От счастья просыпаясь на рассвете,  
теплом и светом наполнялся кров.  
Здесь пели птицы, подрастали дети,  
и этим миром правила любовь.  
Как получилось? Будто и не с нами.  
Я не умею объяснить себе,  
как женщина с холодными глазами  
прошла шутя по дому и судьбе.  
Я понимаю – вовсе не нарочно:  
в борьбе такой все средства хороши.  
Дом устоял. Он был построен прочно.  
Но только в доме нет теперь души.

\*\*\*

Рассержусь на себя –  
что веду себя словно девчонка.  
Рассержусь на него –  
разве можно при встречах краснеть?  
Наша юность прошла.  
Но так тянет за нею вдогонку.  
Бесполезно. Смешно.  
Прикажу себе жестко: не сметь!  
Но заря расцветет поутру  
и не спросит про возраст,  
и беспечные птицы  
осанну заре пропоют.  
И премудрое сердце  
рассудку подскажет: не поздно  
ошибаться, влюбляться, –  
бессилен тут разума суд.  
Если хочешь, казни.  
Только все-таки лучше помилуй.  
Нет у сердца брони  
из обдуманно прожитых лет.  
Ты опять покраснеешь при встрече.  
И снова не в силах  
буду взгляд отвести.  
И сама покраснею в ответ.

\*\*\*

У юности – свое.  
Завидовать не надо.  
Пооблетит пыльца  
с нарядного крыла.  
Пусть молодость парит,  
пока над вешним садом  
стоит ее луна, парадна и светла.  
А нам с тобой знаком  
горючий привкус пота.  
Нам наши зеркала  
безжалостно не льстят.  
Мы знаем, как сладка  
любимая работа,  
как трепетно в руках  
любимое дитя.

Не стоит никому  
жалеть о бывшем лете.  
Пусть ноша с каждым  
днем дороже и больней.  
У юности – свое.  
А мы с тобой в ответе  
и за грехи отцов, и за судьбу детей.

\*\*\*

Я – взрослая. Мне уже пять лет.  
Пять с гаком.  
Мама уходит. У мамы в кино билет.  
Стыдно плакать.  
Я – взрослая.  
Жизнь прожита на треть.  
Тридцать с гаком.  
Мама уходит!  
Мама уходит в смерть.  
... не плакать.

\*\*\*

Спи, мой ангел, сладко до утра.  
Нынче я твой сон постерегу.  
... Над рекою светится гора,  
и цветы цветут на берегу.  
Сказочные нежные цветы,  
в каждом лепестке –  
счастливый сон.  
В той долине вечно я и ты  
проживаем череду времен.  
Там блаженно реют облака,  
небо восхитительно светло.  
Там в моей руке твоя рука –  
вечное бессмертное тепло.

\*\*\*

Провожаем, провожаем, провожаем  
близких сердцу до последнего предела.  
Уплывают, улетают, уезжают  
белым облаком но небу, сизым снегом.  
Простирай – не простирай в бессилье руки,  
краток век наш на земле и быстротечен.  
На печали неминуемой разлуки  
обрекли нас всех в минуты первой встречи.  
Но когда у нас ночами, безутешных,  
от отчаянья и горя едет крыша,  
возвращаются друзья из тьмы кромешной,  
нас прощают и ответственуют, и слышат.

\*\*\*

Пришел и нес ерунду.  
Я чай подала: сиди.  
Насупился: я уйду.  
Сказала: валяй, иди.  
Вздыхнула: как хорошо,  
никто не мозолит глаз.  
... А если б ты не пришел,  
я просто бы умерла.

\*\*\*

Незримые птицы кричат по ночам.  
Колотятся волны о ветхий причал.  
И пеной заходится пристань.  
И месяц мигает, почуя беду.  
На этот причал я с тобой не приду  
отныне, вовеки и присно.  
А помнишь, божились?  
А помнишь, клялись?  
Что вместе до гроба  
всю длинную жизнь  
и жили, и умерли вместе.  
Греховны и смертны, безмерно слабы.  
смогли бы мы разве избежать судьбы  
и выполнить клятвы по чести?  
Останутся птицы, останется ночь.  
Ни мне, ни тебе невозможно помочь,  
печаль поливая елеем.  
Не плачь и обратно меня не зови.  
Все будет как есть, кроме нашей любви.  
И даже причал уцелеет.

\*\*\*

Душа восходила как к небу ростки.  
И с детства любили меня старики.  
Не сверстники – старцы, старушки.  
Но чем я могла за любовь отплатить?  
Сама я лишь только готовилась жить  
у жизни суровой на мушке.  
Могла – помогала. Порой не могла.  
Случалось, что под руку слабых вела  
к земному последнему краю.  
Душа отгорит и растает как дым.  
Зачем стариков так влечет к молодым?  
Старухою стану – узнаю.

\*\*\*

А сердце залито дождем,  
а разум пуст, как день вчерашний.  
И ничего уже не страшно,  
и ничего уже не ждем.  
Но ежегодно – как закон –  
плывет над Тихим океаном  
неразличимый слухом звон,  
струится сладостным дурманом.  
И – ничего не решено.  
Все будет так, как ты захочешь.  
Любви бессмертный колокольчик  
звенит в открытое окно.

\*\*\*

Октябрь завесу туч  
откинет ненароком  
на самый краткий миг –  
и выплывут из мглы  
две слабые души,  
в руках слепого рока  
несовершенны,  
но божественно светлы.

Не все ли нам равно:  
Россия или Штаты?  
Мелодия поет  
и вечно будет петь.  
И снова я и ты  
ни в чем не виноваты.  
И все, что нам грозит, –  
от счастья умереть.



А было – как ожог.  
По сердцу сладкой болью.  
И падал снег-снежок.  
И все звалось любовью.  
И месяц плавал, сед,  
на небе бледно-синем.  
Классический сюжет.  
Америка – Россия.

\*\*\*

Полувесна, полузима.  
Я с детства не любила март.  
Захлестывало разум.  
На жухлых травах иней сед.  
И проявлялся темный след  
на всех дорогах сразу.

Тянуло к мелу и углю.  
Я говорила: я люблю.  
Ты говорил: не надо.  
Оставим глупую игру.  
Я говорила: я умру.  
Ты говорил: не надо.

Весны последнюю метель  
я воплощала в акварель,  
любви своей примету.  
Потом и лето отцвело.  
И жизнь прошла, и все прошло.  
Да полно, было ль это?

Упало яблоко в траву.  
Я умерла, а все живу.  
И все, что было, – было.  
И всякий август, всякий март  
поет в душе моей азарт:  
люблю! люблю!  
... любила?

\*\*\*

По имени любовь окликну.  
Отзовется щемящая печаль, томящая тоска.  
Уже не подфартит, уже не обойдется,  
уже не просвистит стрелой у виска.

Уже вопьется в плоть, уже насквозь пронизет  
и кровью просквозит средь воспаленных трав.  
О, мы с тобой близки, что не бывает ближе.  
Но кто из нас двоих был все-таки не прав?

И кто из нас кого не понял или предал,  
и чей там прах летит золою на ветру.  
Не все ль теперь равно, кто празднует победу?  
Держись, не умирай! Я тоже не умру.

\*\*\*

Я прошлое примерила, как платье:  
неловко, тесно, как-то не по росту.  
В конечном счете вовсе не к лицу.  
Гляжу назад и не могу понять я,  
как лжедрузьям решалась доверять я  
и падала в объятия подлецу.  
Ты вовремя меня в те годы предал.  
Меня иные миновали беды,  
и жизнь прошла, как следовало быть.  
Я прожила свой век других не хуже.  
И не о чем жалеть. Так почему же  
я плачу над обносками судьбы?

## ***К 75-летию Виктора Колупаева***

### **«ХОРОШО ПРОЖИЛ ТОТ, КТО ПРОЖИЛ НЕЗАМЕТНО...»**



Это выражение Декарта, вынесенное в заголовок, было девизом, кредо всей жизни В.Д. Колупаева. Для писателя-фантаста, замеченного миллионами читателей во всем мире, эта мысль может показаться абсурдной. Но она очень точно отражала стиль и отчасти смысл жизни Виктора Дмитриевича. Слава не вскружила ему голову, он пережил её скромно, «незаметно». Интервью давал редко, на газетных полосах и телеэкранах появлялся крайне редко. Если мне не изменяет память, только однажды Виктор Дмитриевич появился на экране томского ТВ. И это выглядело так, словно молодая ведущая пыталась человека, ничего не понимая ни в его творчестве, ни даже в жизни вообще. Больше на ТВ писатель не появлялся, категорически отказываясь от всех интервью и ток-шоу. Это не значит, что он не ценил внимание к себе и своему творчеству. Ценил, но только если видел, что перед ним по-настоящему заинтересованный читатель.

Всякий талант многогранен. И многие грани, как правило, остаются не востребованными. Виктор Дмитриевич пришел в литературу из науки. Но заметьте, что его произведения очень мало или даже совсем не связаны с научно-техническими идеями. Если и присутствует что-то технофутуристическое, то лишь как фон, антураж. Основная характеризующая черта всех «доперестроечных» произведений Колупаева – пронзительная лиричность. Причем в первый период творчества (70–80-е годы) это лирика оптимиста, хотя и склонного к сомнениям и раздумьям. В последующих его вещах оптимизма всё меньше. Тут, конечно, не возраст сказывался, – социальный и нравственный надлом, которым сопровождалась новая эра, эра «виртуальных человеко-людей» (термины из последнего романа В. Колупаева «Безвременье»). В каком-то смысле это «безвременье» 90-х годов его и убило, как заметил друг Виктора Дмитриевича писатель-фантаст Геннадий Прашкевич. Но не только «безвременье», которое принесло с собой не столько радости

свобод, сколько горечь национальных конфликтов, несправедливая приватизация, внезапное и массовое обнищание народа. Поскольку в переломные времена наука всегда заменяет лженауку, а искусство – самодовольный кич. А наукой Колупаев занимался до последних дней жизни, причем с каждым годом сфера его интересов ширилась; поиск ответа на вопрос, что такое пространство и время, вел его сначала к древнегреческим философам, потом – к средневековым теологам, труды которых редко попадают в поле зрения ученых (за время работы над своим научным трудом о пространстве и времени Виктор Дмитриевич законспектировал свыше 3 тысяч научных книг, монографий, статей). Наконец, отвечая в конце 2000 года на вопрос газеты «Томский вестник» – «Назовите самое значительное для человечества открытие прошлого», Виктор Дмитриевич сначала сказал – «Теория относительности Эйнштейна». На другой день позвонил и поправил себя: «Нет, главным открытием была теория «коллективного бессознательного», созданная Карлом Юнгом».

То есть вопрос о происхождении времен и вселенных, в конце концов, привел к вопросу, сформулированному Гогеном: «Кто мы? Откуда мы? Куда мы идем?». И психоаналитик, и философ Карл Юнг приоткрыл эту тайну. Еще одна сторона творчества Колупаева – музыкальность. Много лет назад я прочитал один из ранних его рассказов – «Настройщик роялей», и музыка, возникавшая тогда при чтении, уже не оставляла меня. Даже чисто формально в произведениях Виктора Дмитриевича множество музыкальных ассоциаций, включая названия, например, «Поющий лес». А повесть «Жизнь как год», – что это, как не прямая переключка со «Временами года» Чайковского и Вивальди? У каждого времени года – свой мотив. У каждого периода жизни – тоже. Надо заметить, что Виктор Дмитриевич очень любил и тонко чувствовал музыку. Он собрал огромную коллекцию грампластинок и магнитофонных кассет. Иногда и сам садился за пианино. Четвертая ипостась таланта (после литературы, науки и музыки) – изобразительное искусство. Виктор Дмитриевич часто рассказывал, какие живописные полотна возникают в его воображении, вплоть до мельчайших деталей. Считая, что рисовать не умеет, очень глубоко и тонко разбирался в живописи. И жалел, что еще не придуман такой механизм, который мог бы воспроизводить то, что рисует воображение. Возвращаясь к литературе, хочу сказать, что В. Колупаев невероятно точно и тонко понимал писательское ремесло. Он как никто безошибочно мог определить, что перед ним – литература или очередная «виртуальность». В так называемые годы застоя он читал запрещенные «Котлован» и «Ювенальное море» А. Платонова, и особенно ценил стиль этого необыкновенно самобытного русского писателя. Важно не только, ЧТО написано, но и КАК это сделано. Малоизвестный тогда булгаковский роман «Мастер и Маргарита» был для Колупаева одним из образцов совершенного художественного слова. Актом Словотворения.

\*\*\*

Виктор Дмитриевич Колупаев родился 19 сентября 1936 года на прииске Незаметный (какие удивительные совпадения случаются в жизни; «незаметное» – слово, очень часто встречающееся в творчестве писателя: есть даже персонаж, которого так и зовут – Незаметный, в повести «Толстяк над миром»). Сейчас это город Алдан Республики Саха, а тогда – Якутской АССР. Детство провел в Якутске, затем семья переехала в Красноярск. Из детских воспоминаний: «Я остановился и посмотрел вверх, потом вообще задрал голову, насколько мог. И обомлел. Я не понимал, что произошло. Я вдруг увидел небо объемным. Одни звезды были ближе, другие дальше... Они были цветными: голубыми, желтыми, красноватыми, почти белыми... Небо было неопишимо красиво и в то же время жутковато своей необъятностью. Я и прежде тысячи раз видел звезды, они и тогда были красивы.

Но в эту ночь в них появился какой-то скрытый и непонятный для меня смысл... Жуткий восторг охватил меня. Восторг и страх перед бесконечностью Пространства и Времени» («Пространство и Время для фантаста»). Редкое признание для человека, который отличался невероятной скромностью. Колупаев в течение многих лет писал научный труд, посвященный Пространству и Времени. Когда стало очевидно, что этот труд вряд ли будет опубликован в обозримом будущем, он написал сжатую версию – уже упомянутую книжку. Открытие этого труда еще впереди, – даже я, человек достаточно далекий от физики и космогонии, понимаю, что научные поиски Виктора Дмитриевича имеют огромную ценность. «Сорок два года потребовалось мне, чтобы от первого восторга и благоговейного ужаса перед Пространством и Временем шагнуть к их объяснению. Если же я ошибся, то это самая трагичная, но и самая прекрасная ошибка в моей жизни» («Пространство и Время для фантаста»). Внешние же события текли, как у многих: школа, переезд в Томск, учеба на радиотехническом факультете Томского политехнического института. Затем – работа в специальном конструкторском бюро, на заводе математических машин «Контур», долгое время инженером в лаборатории бионики Сибирского физико-технического института. В 1960 году женился на Валентине Александровне Капиткиной, вскоре родилась дочь Ольга. В 1982 году он, уже признанный писатель, уходит из института. Причины здесь были и внешние, и внутренние. Внешние – работа перестала удовлетворять, зато отнимала много времени. Внутренние – Виктор Дмитриевич устал от работы, от нервозности, от разногласий с начальством (что такое НИИ советского времени – каждый может понять, вспомнив «Понедельник начинается в субботу» Стругацких). «Я понял, – сказал он в одном из интервью, – что такое скорость света, как ее измерить, каким образом она связана с Пространством и Временем. Я ПОНЯЛ, что такое Пространство и Время. Тотчас же возникло множество следствий. Я уже знал, почему вращаются галактики, почему время течет из прошлого в будущее, почему причина предшествует следствию и многое другое. Все это произошло мгновенно. Примерно то же самое происходило со мной всякий раз, когда в голову приходил сюжет рассказа. Он приходил внезапно. Я чувствовал его в свернутом виде. То есть в нем уже было все от первой до последней буквы... но слов еще не было. Этот свернутый в точку сюжет я носил в голове по многу месяцев или лет, пока не наступала пора слов. Так и здесь. Я знал всё. Но это ВСЁ было свернуто в точку. Это очень странное состояние. Как будто носишь в себе какую-то радостную тайну...».

\* \* \*

О литературном творчестве Виктор Дмитриевич не помышлял, хотя и баловался для себя в детстве и юности. А потом – писатель рассказывал об этом не раз – его дочка, которой тогда не было и года, произнесла четкие и странные слова: «Капики, дзяпики, аптека». Виктор Дмитриевич говорит, что сразу догадался: дзяпики – это родители и гости, аптека означает, что всех нас надо лечить, а Капики – место, где все происходит. «И в ту минуту я уже точно знал, что буду писать фантастику и напишу роман «Дзяпики». Вечером сел и написал одну страницу будущей повести, правда, а не романа, где главными героями стали дзяпики. После этого года четыре прожил спокойно, а с шестьдесят пятого года начал писать фантастические рассказы». Кстати, повесть (а не роман) «Дзяпики» все же была написана. Но в советское время оказалась «непроходной» – слишком уж издевательски изображала она типичный НИИЧАВО, и больше – советскую действительность вообще. Журнал «Техника – молодежи» объявил конкурс на научно-фантастический рассказ по нескольким рисункам. Виктор Дмитриевич решил по-

пытать счастья и писал рассказ... девять месяцев! После этого в течение трех лет он написал более трех десятков рассказов, один из которых «Билет в детство» и стал первой публикацией автора в 1969 году. «Я года три не посылал никуда свои рассказы. Потом у меня их накопилась целая пачка – штук 20. Ну, это было страниц 300... Я послал их в журнал «Искатель», потом где-то в это же время был в командировке в Ленинграде. Зашел в ленинградскую писательскую организацию. Там никого не было, кроме секретарши. И второй экземпляр я там и оставил. И написал на пачке: «Прочтите хоть кто-нибудь» – и уехал. Приблизительно через полгода пришла телеграмма из журнала «Вокруг света». Журнал намерен опубликовать рассказ «Билет в детство». Критик Евгений Брандис рекомендовал рассказы и в другие журналы. В последующие годы его книги выходили в США, Чехословакии и Германии, а в Японии, Швеции, Польше, Венгрии, Болгарии, Китае, Корее, Монголии, Франции его рассказы печатались в различных сборниках. На одном из съездов КПСС в отчетном докладе Л. Брежнева в разделе, посвященном культуре и литературе, в частности, докладчик перечислил несколько фамилий «лучших советских писателей-фантастов». Среди лучших оказался и Колупаев. Впрочем, партаппарат знал, о чем говорил. Известно высказывание одного из Стругацких: «Колупаев интереснее, чем Брэдли». Но эпоха перемен наступила. И этой эпохе творчество В. Колупаева оказалось ненужным. Книг Колупаева не стало: их не печатали по причине будто бы отсутствия читательского спроса. Многие из бывших коллег Виктора Дмитриевича довольно быстро «перестроились» (как, например, Василий Головачев), уловили веяние времени и стали гнать «космические оперы». А для редких одиночек, веривших, что литература – это искусство, а не профессия, наступило глухое безвременье. В 93-м в соавторстве с ровесником и старым другом Юрием Марушкиным Колупаев начал писать роман «Безвременье». Издателя на эту необычную, веселую и в то же время щемяще безнадежную книгу не нашлось. В 2000 году книга все же появилась – «за свой счет». Тираж её составил 75 экземпляров – на большее «собственного счета» не хватило. В том же году, на первом фестивале фантастики в Томске «Урания» (организованном, в основном, стараниями одного из учеников Колупаева Юлия Буркина) Виктор Дмитриевич устроил что-то вроде презентации «Безвременья». И довольно мрачно пошутил: «Если повезет, вы и эту книгу не заметите». Последним романом писателя стал нарочито усложненный пародийно-философский роман «Сократ Сибирских Афин», написанный, мне кажется, именно так, чтобы ни один издатели, находящийся в здравом уме, не взялся бы печатать. Напечатали, – но после смерти. Виктор Дмитриевич умер 4 июня 2001 года от сердечной недостаточности, не дожив трех с половиной месяцев до своего 65-летия.

\*\*\*

«Я не знаю, каким образом Вселенная может выйти из сингулярного состояния. Скорее всего, это проблема не просто физическая. Но предположим, что скорость фундаментального воздействия начинает уменьшаться и Вселенная выходит из сингулярного состояния. Это происходит не в шуме и грохоте Большого взрыва... а в тихом Сиянии и Славе» («Пространство и Время для фантаста»). «Более пронзительных и загадочных слов, чем эти – в тихом Сиянии и Славе, – в отечественной фантастике я не знаю», – признался Геннадий Прашкевич в статье, посвященной памяти В.Д. Колупаева.

\*\*\*

Но это еще не конец истории. Томичам повезло, что Колупаев жил и работал здесь. Под его опекой выросла целая «школа» молодых (а теперь уже и молодых) писателей-фантастов. Среди них Татьяна Мейко, Юлий Буркин, Дмитрий

Федотов, Александр Рубан... Все мы (автор этих строк тоже прошел колупаевскую «школу») не похожи друг на друга ни обстоятельствами жизни, ни тем более своим творчеством. И это прекрасно. Это значит, что у нас был настоящий Учитель.

**Сергей СМИРНОВ,**  
член Союза писателей России,  
декабрь 2004

### ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА В.Д. КОЛУПАЕВА

**1936, 19 сентября.** Родился в пос. Незаметном (н. г. Алдан Якутской АССР – Республики Саха-Якутии) в семье рабочих прииска.

**1954.** Поступил на радиотехнический факультет Томского политехнического института (ТПИ). С этого года вплоть до самой смерти жил и работал в Томске.

**1969, октябрь.** Опубликовал первый рассказ в центральной печати – рассказ «Билет в детство» (журнал «Вокруг света»).

**С 1970 г.** Профессиональный писатель.

**1972.** Издана первая книга В.Д. Колупаева – сборник рассказов «Случится же с человеком такое!..» (М., Молодая гвардия).

**1974.** Издан сборник «Качели Отшельника» (М., Молодая гвардия).

**1976.** Принят в Союз писателей СССР.

**1977.** Издан сборник рассказов «Билет в детство» (Новосибирск, Зап.-Сиб. кн. изд-во)

**1977.** В ГДР издан сборник произведений «Качели Отшельника». Книга была переиздана в 1979 и 1985 гг.

**1977.** В Швеции издательство «Дельта» выпустило сборник научно-фантастических рассказов советских писателей «Весна света», в который вошло несколько рассказов В.Д. Колупаева, в том

числе и рассказ, давший название всему сборнику.

**1978.** В США вышел сборник произведений В.Д. Колупаева – «Качели Отшельника». Том составили 6 рассказов и одноименная повесть. Книга входила в 20-томную антологию советской фантастики, выпущенную издательством «Мак-Миллан».

**1979.** Издана отдельной книгой повесть «Фирменный поезд «Фомич»» (М., Молодая гвардия).

**1982.** Издан сборник «Зачем жил человек?» (Новосибирск, Зап.-Сиб. кн. изд-во).

**1984.** Издан сборник повестей и рассказов «Поющий лес» (Новосибирск, Зап.-Сиб. кн. изд-во).

**1986.** Издан сборник повестей и рассказов «Весна света» (Томск, Томское кн. изд-во). Книга издана к 50-летию со дня рождения писателя. В 1988 г. за сборник «Весна света» был удостоен литературной премии в области фантастики «Аэлита», учрежденной Союзом писателей РСФСР и редакцией журнала «Уральский следопыт» (г. Свердловск, ныне Екатеринбург).

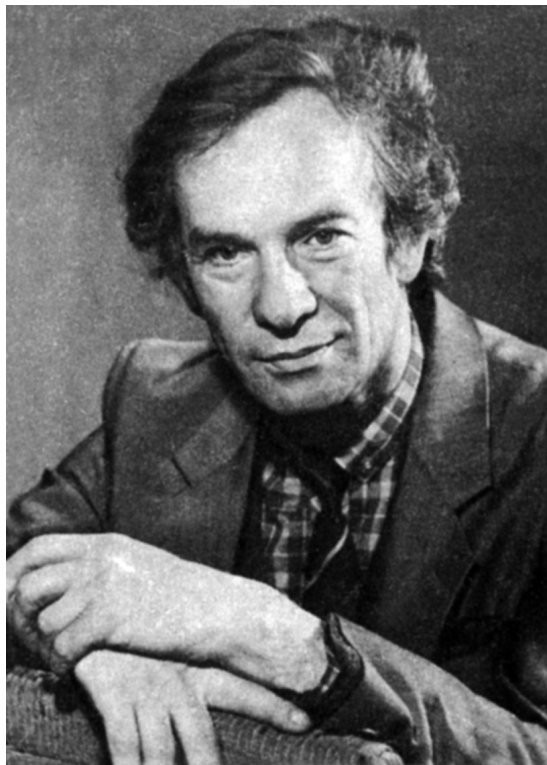
**1987.** Награжден Почетной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР.

**1990-е, начало.** В Томске издавалась «Фантастическая газета». В ней публи-

- ковались участники литературного объединения, как называл его сам В.Д. Колупаев – фантастического семинара.
- 1990.** Издан сборник фантастических рассказов и повестей на экологическую тему «Вполне порядочный мир» (Томск, Томское кн. изд-во). Составителем сборник был В.Д. Колупаев.
- 1993, март.** Написал краткое изложение работы «Пространство и время. (Физический аспект), получившее название «Пространство и время для фантаста». В виде книги было издано в 1994 г. в Томске тиражом всего 500 экземпляров.
- 1993–2001.** Работал над трилогией «Безвременье. Времена. Вечность». В 2001 г. отдельным изданием вышел 1-й роман трилогии – «Безвременье», написанный в соавторстве с Юрием Ивановичем Марушкиным. 2-й роман трилогии – роман-пародия «Сократ Сибирских Афин» – опубликован в красноярском журнале «День и ночь» (2001, № 7–8; 2002, № 1–2).
- 1994, 21–27 ноября.** Входил в состав жюри фестиваля фантастики (конвента) «Белое пятно» (Новосибирск).
- 2000, 19–23 июля.** Принял активное участие в подготовке и проведении Всероссийского фестиваля фантастики (конвента) «Урания», проходившего в Томске. Возглавлял оргкомитет фестиваля.
- 2001, 23 февраля.** В Томской областной универсальной научной библиотеке им. А.С. Пушкина литературное объединение «Автограф» провело творческий вечер В.Д. Колупаева.
- 2001, 4 июня.** Умер в Томске от острой сердечной недостаточности. Перед смертью готовил к изданию полное собрание сочинений в 6 томах. Именем В.Д. Колупаева названа улица в пос. Апрель Томского района Томской области.
- 2001, 18–21 июля.** Во время проведения в Томске фестиваля фантастики (конвента) «Урания» имя В.Д. Колупаева было присвоено премии «Малая Урания». Премия им. В.Д. Колупаева присуждается за лучшее произведение в гуманистических традициях русской фантастики, впервые опубликованное в предыдущем году, продолжающее гуманистические традиции русской фантастики, в частности, произведений Виктора Колупаева.
- 2001.** В сборнике юмористической фантастики «Наши в городе» (М., ЭКСМО-Пресс) были опубликованы фантастические рассказы В.Д. Колупаева – «Фильм на экране одного кинотеатра» и «Город мой».
- 2003.** В Москве в книжной серии «Классика отечественной фантастики» вышел сборник произведений В.Д. Колупаева «Качели Отшельника» (М., АСТ; Ермак).



## К 75-летию Виктора Лихоносова



Я рос и учился в Сибири, далеко от  
Москвы, это были первые послевоенные  
годы, и не раз краснота слеза и  
назойливый пропелангид я повсюду везде  
и везде, но меня воспитали учителя  
либералы...

*Виктор Лихоносов*

### «РОС И УЧИЛСЯ В СИБИРИ...»

Виктор Иванович Лихоносов родился 30 апреля 1936 года на станции Топки Кемеровской области. Отец погиб на фронте в 1943 году. Мать – малограмотная крестьянка. Детство и школьные годы провел под Новосибирском.

В 1961 году Лихоносов окончил Краснодарский педагогический институт, после чего учительствовал на станциях Кубани.

Первый свой рассказ «Брянские» он опубликовал в «Новом мире» в 1963 году. «Проза у него светится, как у Бунина», – писал Александр Твардовский.

В 1966 году вышли две книги Виктора Лихоносова: «Вечера» и «Что-то будет». В том же году был принят в Союз писателей СССР. В 1967 году опубликован сборник рассказов «Голоса в тишине» с предисловием Юрия Казакова: «Все, что он написал, написано свежо, музыкально, очень точно, и все проникнуто острой, даже какой-то восторженно-печальной любовью к человеку». Юрий Казаков познакомил Лихоносова заочно и с писателями из эмиграции – Б. Зайцевым и Г. Адамовичем; с этого началось изучение Лихоносовым жизни русского зарубежья.

В 1969 году в «Новом русском слове» были напечатаны повесть Лихоносова «На долгую память» и статья о нем лучшего критика русской эмиграции Г. Адамовича. А в 1973 году выходит книга «Чистые глаза» с предисловием Виктора Астафьева.

Опубликовал цикл повестей-путешествий «Люблю тебя светло», «Осень в Тамани» и «Элегия» – по есенинским, лермонтовским и пушкинским местам.

С 1978 года Лихоносов замолкает на целых десять лет, работает над своим главным романом о судьбе русского казачества «Ненаписанные воспоминания. Наш маленький Париж» (1986 г.)

Лауреат Госпремии России, Международной премии имени М. Шолохова. В 2003 году на Толстовских встречах получил первую премию «Ясная Поляна».

Виктора Лихоносова с его элегической, лирической, полной романтизма прозой напрямую к деревенской прозе и не отнесешь, но и сам писатель, и его герои, как правило, из простого народа, и мысли и чаяния их совпадают с нравственными императивами писателей-деревенщиков. Впрочем, и сама проблема малой родины Виктором Лихоносовым была поставлена одним из первых.

Последние годы Виктор Иванович редактирует в Кубани литературно-исторический журнал «Родная Кубань», пишет повести «Афродита Таманская», эссе о Лермонтове, книгу «Записки перед сном», выступает с воспоминаниями о Юрии Казакове, Юрии Селезнёве, Виталии Семине. Почетный гражданин города Краснодара. Там и живёт. Женат, имеет двух внуков.

### О М.Ю. ЛЕРМОНТОВЕ

#### – Какими сторонами своего творчества М. Ю. Лермонтов близок вам?

– Он дорог мне весь. Волшебник, он воистину жил под звездами небесными и внимал их загадочному мерцанию. Казачья Тамань превратилась под его пером в полусказочное место. Дело не в контрабандистах и ночных приключениях Печорина. У него всякое реалистическое произведение волшебно. Как будто сказано все, но вроде бы самое важное скрыто. Это и есть поэзия. Лермонтов – «кудесник богов».

#### – В чем сказалось его влияние на ваше творчество, на литературу нашего народа?

– Творчество М. Ю. Лермонтова может сказываться только на писателях, замороженных его ранней душевной зрелостью, утонченностью, высоким страданием, а в прозе – простотой слога. Его легко воспримет душа музыкальная, нервная, сосредоточенно одинокая и чем-то как бы обиженная в своих великих притязаниях к жизни. Большой душе всегда тревожно в мире, который, сколько бы ни сиял над тобой, кажется кратким, мгновенным в твоей доле. Высказывание А.П. Чехова о лермонтовской прозе известно. На закате своих дней И.А. Бунин поставил Лермонтова выше Пушкина. Это было не предпочтение одного другому, а скорее всего сожаление: сколько бы, мол, этот юноша еще мог сделать, и тогда, наверное, он бы вознесся выше Пушкина!

**– Ваше любимое произведение у Лермонтова.**

– Стихотворения «Выхожу один я на дорогу», «Они любили друг друга так долго и нежно» и роман «Герой нашего времени».

**– Ваше личное отношение к повести «Тамань».**

– Маленькое это чудо – повесть «Тамань» – привело меня в 1963 году на крутой берег, где тогда еще ничего не стояло музейного. Как я ходил по станице! Как спрашивал у женщин возле хлебного магазина о слепом звонаре, о хатке Царицыхи! Как верил всему, с какими чувствами глядел я на пролив, где не мелькало никакого желанного паруса, как засыпал! Лучшие часы жизни. Мне тогда было столько же, сколько прожил Лермонтов.

**– Как вы относитесь к распространенному мнению, будто Лермонтов был неуживчивым человеком?**

– В публичных высказываниях мы не можем задеть характер Лермонтова. Здравое, во всей глубине. Лермонтов – национальный гений, вечная слава России. Когда мы думаем, что он возвышает нашу нацию, нам дела нет до того, какой у него был характер. Мы ему все прощаем. Лермонтов нам дороже Мартынова, и, если бы он в тот последний поединок убил Мартынова, мы бы не ставили ему в вину, а в печати постарались бы говорить об этом как можно реже. Величие затмевает для потомков мораль, как это ни странно. Но в ту пору о гибели Лермонтова (как и Пушкина) сожалели далеко не все хорошие люди, потому что над ними царствовала не литература, а жизнь, и относились они к трагедии с точки зрения своих жизненных симпатий и антипатий. У жизни очень жестокие законы, они одинаково безжалостны к людям простым и гениальным. А законы эти таковы, что человек любит, оберегает прежде всего самого себя и ни с какой чужой гениальностью не считается. Чтобы хоть немножко понять трагедию Лермонтова среди людей, надо перенести его в наш век, в наши дни и подумать, как бы поступили с ним друзья, женщины теперь, с **живым**, а не с памятником, как бы относились они к его злым остротам, обидам, оскорблениям и резким стихам. Да, общественные отношения сейчас другие, но не забудем, что природа человеческая все та же! Не только общество, но прежде всего люди сделали и Пушкина, и Лермонтова такими одиночками.

Гению все прощают поздние века. Все его жалеют, боготворят, готовы даже якобы пожертвовать собой. А современники забывают в суете человеческих тщеславий, распрей, выгод о том, что перед ними гений, слава Отечества. Так всегда было.

*Владимир Крюков*

## МАТЬ И СЫН

Осенью 1967-го на втором курсе историко-филологического я познакомился с занимательным персонажем. Он был неопределенного возраста. Хотя, во всяком случае, явно старше меня. Конопат и рыжеволос. И прозвище ему было Лёха Рыжий. Цвет лица слегка розоват, но становился гуще, малиновой, после приема алкоголя. В такие минуты он казался мне марсианином (не знаю, почему, у Брэдли Бёрна, они вроде другие). Да и голос по-своему замечательный, скажем, даже высоковатый, ломкий, но проговаривал то, что надо, уверенно и с неожиданной хрипотцой.

Этот голос сопровождал полюбившийся мне жест. Наш герой держал перед собой палец не жестом подзывающего учителя, а как бы подтягивая к себе невидимую нить. Я с интересом его наблюдал. Бывал он порой франтоват, недолго, небрежно. Помню его клетчатую рубаху с накладными карманами, джинсы. Он приходил к старшекурсникам играть в шахматы. Странное тогда было поветрие у филологов – среди них водилось немало классных игроков.

Однажды живой взгляд его светлых, несколько навывкате, глаз остановился и на мне. «Стишки-то тоже любишь?» – добродушно спросил он, включая меня в эту кофлу. Я кивнул, понимая свою ущербность. Потому что здесь, за этим шахматным столом, я услышал уже такое запредельное... Субтильный, но при его дремучей бороде не производящий впечатления слабака, Федя Госпорьян, называвший себя сыном трех великих народов (имелись в виду армяне, евреи и русские), потягиваясь, читал густым красивым голосом:

*Мой милый, что тебе я сделала?!*

И сколько отчаянного женского страдания в этом было...

До моего исключения в 69-м мы только и всего, что здоровались. А вот с начала 70-х стали общаться часто и помногу. Видимо, он решил, что этот придурок заслуживает некоторого внимания. С годами его рыжий цвет всё активнее отнимала седина – теперь я знал, он постарше меня на десять лет, прямо предвоенного производства. Но прозвище осталось навсегда.

Совсем не сразу я узнал про то, что он – сын писательницы Халфиной. (Сам Алексей носил фамилию Камбалов). Пришел час, мы познакомились с мамой. Она была известна и за пределами нашего досточтимого города. Её печатал «Огонёк», по её сценарию поставили фильм «Мачеха». Я, тогда до безумия много смотревший кино, тоже его видел. Мне понравилась милая Татьяна Доронина, и я поверил в эту историю. Потом был и не столь знаменитый, но тоже собиравший зрителя фильм «Безотцовщина». Мария Леонтьевна была не похожа на тех, кого называли в нашем городе писателями. (Это было до моего знакомства с Виктором Колупаевым). С ней было интересно разговаривать, суждения её были свободны, взгляды широки. Всё это решительно отличало её от тех, кого я успел увидеть и услышать на семинарах и встречах – зажатых, осторожных, косных.

То-то, пожалуй, неинтересно и вяло вспоминают они общение с нею, потому что это ей самой было неинтересно. О чем они могли бы говорить? О современной жизни? Но они хорошо держали ушки на макушке и поворачивали их по ветру. О

«секретах творчества»? Но у неё за спиной была мировая литература с бесконечных стеллажей ее поселковой библиотеки. О школе жизни? Так сколько историй поведали ей простые сельские жители, сколько семейных драм пересказали! А у этих семинары да наставления советских мастеров. Не напрасно ведь так сразу, со своим голосом, с вечными темами шагнула она на страницы изданий в те годы, когда еще не надо было подстраиваться, пресмыкаться, «делать, как надо».

Интересно: она ведь не собиралась становиться писателем, как это у многих происходит. Она была хорошим библиотекарем. Были какие-то наброски, наметки, у кого их нет? А потом сложилась драматическая жизненная история, и самая читаемая газета страны «Комсомольская правда» её напечатала. Мария Леонтьевна нашла болевую точку. Об этом сказали тысячи писем. И отступить теперь было некуда. И она продолжила. В том году, когда я поступил в старейший университет Сибири (1966), она написала одну из лучших своих повестей, во всяком случае, самую известную – «Мачеха». Ну и где-то через год в университетском общежитии я увидел её сына.

Непогожим осенним утром (конец 70-х) Лёха отловил меня возле знаменитого томского места сборов, скажем так, людей свободных профессий, ну, если хотите, полубогемных, – кафе «Молодежного». Уже несло мелкую снежную крупу, и, скрываясь от неласкового ветра, мы закрыли за собой дверь. «Возьми кофе. Двойной», – предложил Леха. Это был его обычный стиль. Пока девушка готовила кофе, мы немного отдышались. Но только взяли свои стаканы и пристроились у окна, за которым было вдвойне уютно, потому что снег пошел гуще, Лёха сразу упер в меня светлые свои, почти бесцветные глаза и сказал голосом, в котором уже зажигалась энергия: «Слушай».

Сделал глоток, отставил стакан и начал, помогая себе полусогнутой в кисти рукой:

*Час зачатья я помню неточно – значит, память моя однобока.  
Но зачат я был ночью порочно, и явился на свет не до срока.*

Голос его креп, он не то чтобы набирал пресловутые децибелы. Он наполнялся этакой силой, сокровенной правдой. А как, помню, с наслаждением проговорил он пассаж, поразивший его словарным исполнением:

*Они воткнутся в лёгкие  
от никотина чёрные  
по рукоятки лёгкие  
трёхцветные, наборные!*

И как весело прозревал подросток от наивной, но впервые открываемой жизненной философии:

*...коридоры кончаются стенкой,  
а тоннели выводят на свет.*

Учителем школы зоны строгого режима, куда заводила меня судьба, я на занятиях литературы вспоминал Лёхины уроки и старался читать стихи с такой же самоотдачей, выдавать всё, что они могут дать.

Вижу перед собой Лёху с листочками, фрагментами «В ожидании Годо» Беккета. Тут, боюсь, слова мои будут недостаточны. Тут нужен актер в поддержку: уместные придыхания, паузы, которые растут, безумно увеличиваются, наконец,

нужны мертво останавливающиеся глаза. Кто помнит абсурд сцены: два героя Владимир и Эстрагон всё уговариваются тронуться в путь и никак не идут.

Эстрагон: Ну что, Владимир, пошли? Владимир: Идём. Ремарка (*не двигаются*). Диалог повторяется с маленькими вариациями. Типа: Однако, пора. Пожалуй, пора. И лишь ремарка неизменна (*не двигаются*). Слова героев Лёха произносил достаточно обыденно. А вот «не двигаются» сначала звучало нейтрально, потом напряженно, потом зловещим и громким шепотом: «НЕ ДВИГАЮТСЯ». Становилось вправду жутко.

Нет, не скажу, что я готовил себя к тому, что услышу что-то необыкновенное. Всё это творилось, что называется, здесь и сейчас. Спонтанно. Может, найду одно подыгрывающее Лёхе обстоятельство: я был молод, нервен, неуравновешен. Сейчас вдруг вспомнилось, что вот подобное ощущение физической жути я пережил в доме Андрея Винарского, слушая с вертушки «Страсти Христовы» Пендеревского.

Вернемся к матери. Марии Леонтьевне не надо было ловчить и морочить головы таким юнцам, как я. О Солженицыне говорила свободно, не поименовая великим, но называя большим писателем. Кроме прочитанного мною «Одного дня», дала «Захара-калиту» в «Новом мире». В том же ряду были Можаев, Белов, Распутин.

Я прочел ей несколько стихов, она отнеслась к ним сдержанно, объяснила, что не берется судить о рифмованных делах, и слава богу, потому что это было беспомощно и раздражительно. Но когда я принес ей рассказ о бабушке, она разобрала его подробно и довольно безжалостно, делая точные замечания. Советы давала конкретные: вместо описаний лучше дать картинку, разговор. Как помню, ей понравилась одна деталь. Я и сам думаю: это единственное, что получилось. Герой прилетает на родину, в северное село, после долгого отсутствия. Выбирается после болтанки из самолета, топает по лётному полю, и тут у дверей аэропорта видит ЗНАКОМОЕ ЛИЦО. Не узнаёт кого-то определенно, а именно что-то родное, знакомое, из былых лет. И говорит «здравствуйте», и эта пожилая женщина здоровается в ответ. Дальше – торжество безвкусицы: он произносит мысленное «спасибо» родине за этот подарок – знакомое лицо – и еще какие-то сопли. Мария Леонтьевна сумела так сказать о всех провалах моего рассказика, что это меня не размазало, но заставило понять, как я много не знаю и не умею. Она спросила, кого из современных рассказчиков я люблю. Я назвал Казакова и Нагибина. Она кивнула, никак не оценивая мои вкусы, и добавила, что сама высоко ценит Сергея Антонова. Может, был назван кто-то еще. Да, конечно. У неё услышал я имя Виктора Лихоносова и полюбил его, присоединив к самостоятельно открытому Юрию Казакову.

Между прочим, для многих так называемых творческих работников была дилемма: как признавать мать и не замечать сына. Хотя, как известно, сын за отца не отвечает. Вероятно, за мать тоже. Меня это не трогало. Потому я дружил с обоими. Марии Леонтьевне даже показалось, что я окажу на Лёху положительное, оздоравливающее влияние... Как-то при встрече она попросила Алексея сходить за булками к чаю и в отсутствие сына заговорила о его чрезмерном пристрастии к вину. Сказала, что моя молодость, скромность позволяет ей надеяться, что я буду неким сдерживающим фактором. Надеялась безосновательно. Я не испытывал отвращения к этому продукту. За бутылкой я чувствовал себя с Алексеем свободнее, моя необразованность не казалась мне такой ужасной. Кстати, сам он никогда не позволил себе высокомерия или снисходительной фразы. Может быть, в этом было нечто их родовое.

Лёха был совершенно *беспонтовым* диссидентом: стихийный законченный антисоветчик. Ему не надо было ни с кем бороться. Он жил, как будто не замечая

этой сраной идеологии, всей лжи государства. Конечно, ему не доставало свободы. Той же свободы информации. И на этой почве тоже происходило наше сближение. Лёха был информирован гораздо лучше. Мария Леонтьевна брала в обкоме КПСС полузакрытый бюллетень под названием «Глобус». Там были статьи наших политических тяжеловесов, перепечатки-переводы из коммунистической европейской прессы. (Кстати, уже и после смерти Марии Леонтьевны мой сокурсник, обкомовский лектор Яша Дюканов продолжал подпитывать Лёху этим журнальчиком. Помню там один замечательный материал. Он назывался «Продавшийся и Простак». Продавшимся был Солженицын, Простак – Сахаров. Если первая часть была напечатана на двух полосах «Литературки», то вторая осталась только здесь – видимо, учёного ещё надеялись образумить).

Ирония жизни и творчества заключалась в том, что автор семейных повестей и рассказов, к сожалению, не могла вполне опираться на свой жизненный опыт. Там были темные места. И в этом, как мне казалось, понимание между матерью и сыном, существует. И в том, как Лёха беседовал с ней о её трудах. С подлинным уважением. Свидетельствую, что это были не только уступки при общении с нею. И в наших разговорах он просто говорил: «Матушка пишет хорошо, потому что не врёт. И жизнь знает». Я вполне соглашался. Он мне как-то подсказал: «Так скажи ей об этом». Я сделал это искренне, волнуясь, косноязыча. Наверное, это было лучше выверенных похвальных слов.

Мария Леонтьевна называла себя писателем для семейного чтения. Потому, прежде чем надписать мне новую книгу, спросила имя жены. Даря следующую книгу, не переспрашивала (а я уже тогда запоминал имена-фамилии лишь с третьего раза).

Да, не сложились его отношения с мамой. И она, и он это переживали. Она даже предала огласке рассказ «Игорь», правда, слабый, который едва ли может кому-то что-то подсказать или чему-то научить.

Она ценила в нем ум, память и эрудицию. Но сделать его нормальным членом общества было ей не под силу. Лёха не получил высшего образования, что было понятно. Представляю, как выворачивало бы его на лекциях обществоведов. Зато, не будучи скованным боязнью за карьеру, он с удовольствием просвещал нас, рассказывая о современной западной философии, сыпал цитатами из Хайдеггера и Ясперса, Сартра и Камю.

Поразительная память была у Лёхи. Как-то летом у нас во дворе после изрядного портвейна, который истощает мои и без того малые мнемонические данные, вдруг нашел на него раж читать не кого-нибудь, а Есенина. Неисчислимыми косяками. И получаться это стало так задушевно, так убедительно при теплом наклонном закатном свете, что мы расчувствовались и готовы были слушать бесконечно. К тому же четвертым, кроме нас с женою да забывшем об экзистенциализме, был Саша Фортес, который стал напевать что-то уж совсем проникновенное вроде «Руки милой – пара лебедей» или «Я по первому снегу бреду». В общем, прощались мы так, что чуть не перемазывали друг друга теплой душевной карамелью. Но и тут не обошлось без привычной Лёхиной подлянки. Он при случае тащил всё, что ему надо было, и не испытывал более совести. Убирая в дом тарелки да вилки, мы не обнаружили ножа. Нож был не прост – его подарил мне один зэк прямо из зоны. С зэком мы были близки, говорили об античной мифологии, о неэтичной привычке ловить сидящих на подставах. Назавтра я спокойно взял Лёху на арапа: «Сидели-то хорошо, но зачем нож увёл?». Он раскололся тут же, как-то вполне спокойно: «Так уж сумерки были. Сам знаешь, в каком я районе живу». Жил он и правда в ту пору в блатном раю, на так называемой Степановке, да ещё на её окраине. «Ну так принеси», – сказал я замирительно. «Нет, – ответил Леха,

разведя руками, – вечером же и пропал. Так что он и не помог бы». Получается, оставалось его только пожалеть.

Однажды осенью Лёха пришёл со старым бывалым рюкзаком, свалил его у порога. После чая, бесед и его привычного монолога о Ясперсе (или Хайдеггере) он кивнул на тот рюкзак, простодушно обратился к нам с женой: «Ну, насыпьте картошки. Поди, заготовили. Может, ещё что...». Набрали ему ведро картошки. На огороде нашем, среди сосен, при нехватке солнца, больше ничего и не росло. Лёха ничуть и не обиделся на небогатый ассортимент. Взял на горбушку рюкзачок и как бродячий китайский философ отправился в ночь. Потом признался: кто-то одарил его и редькой, и репой, и свеклой. А эта символическая горстка маиса согрела нашего Ли Бо на несколько месяцев, когда задувают суровые северные ветры.

Вот всё хиханьки да хаханьки. И ведь таких историй действительно немало. Весело жилось с Лёхой, и я не замечал его страданий по неудавшейся жизни. Вот, пожалуй, я подошёл к этой банальной, требующей подведения итогов теме, какого-то резюме для толоконных голов. Но ведь и правда не сложилась жизнь, не удалась, не состоялась? А как она выглядела бы состоявшейся? С женщиной, которую присмотрела сыну сердобольная Мария Леонтьевна? Она съехала с более шумного Курского переулкa в уютный домик на Вершинина и великодушно оставила их вдвоем. Себе она придумала причину пожить на Лесной даче – пристанище (доме-интернате) одиноких стариков. Дескать, написать надо об их проблемах. Нет, не заладилась Лёхина семейная жизнь, и Марии Леонтьевне пришлось вернуться.

Последний раз вместе я видел их на юбилейном вечере Марии Леонтьевны в марте 1988-го. Проходил он в Доме творческих организаций. У меня серьезно болел отец, идти мне не хотелось, но надо было как руководителю областного литературного объединения. Прямо в этот день заехал командированный в Томск любимый мой свояк Вова Прыгунов. Мы пошли в больницу к моему отцу, они рады были друг другу, настроение как-то улучшилось, с тем же Вовкой пошли мы на чествование Марии Леонтьевны. Там рядом с ней были моряковские подруги. Когда-то она окончила Томский библиотечный техникум. А в 1949 году по направлению областного отдела культуры приехала в этот речной поселок Моряковка (по-другому Моряковский Затон), где стала заведующей поселковой библиотекой. Эта руководимая ею библиотека на одном республиканском конкурсе получила звание «Лучшая библиотека РСФСР». Я видел, как весело вспоминали они былые годы, да это и сохранилось на хороших фотографиях того вечера. Рядом был благостный и благообразный Лёха. Чистенький и свежий. Приятно было их рядом видеть. Я сказал какой-то нелепый экспромт, сроду бы не вспомнил, но вот при поддержке Николая Серебренникова (а тот привел со слов Лёхи) восстанавливаю:

*80! Вот те на,*

*Мария Леонтьевна!*

Мне кажется, ее позабавило. К тому же находчивый Прыгунов сунул мне в руку живой цветок (не частое тогда для Томска дело), и всё получилось вполне красиво. Мой отец умер в конце марта. Мария Леонтьевна ушла в ноябре. Лёха передал её архив и часть вещей в школу Моряковского Затона, заложив там основание музея Халфиной. Ещё существует некий фонд её имени. Кто им управляет, чем они занимаются, мне совсем не интересно.

Состоялся бы Лёха с его любовью к Хайдеггеру? Вот доживи он до нашего времени, чем бы он порадовал ученый мир? А впрочем, он и дожил до поры,



когда философа стали печатать и комментировать. И что же? Вся фишка с поздравлением Мартина Хайдеггера была смешна и уместна лишь в свое время. Тогда Лёхина телеграмма философу не ушла дальше томского КГБ. Многолетний капитальный труд «Брокен против Сиона», начатый Лёхой в соавторстве с таким же чудачком, сыном сибирского писателя Михаила Кубышкина Алексеем ничем не завершился. Когда Лёха за бутылкой с восторгом читал фрагменты, я не мог это долго слушать. Прием прост: два дромадера двигают фигуры на шахматной доске, а в мире, соответственно, творится черт-те что.

И все-таки он был неординарен, любил учиться. В периоды трезвости Халфиной удавалось определять его в Научку (Научную библиотеку университета). Я встречал его там с просветленным лицом, с осмысленными живыми глазами. Куда хотел он приложить накопленные знания? Окончить философский? Да как бы этот свободный человек общался с марксистско-ленинской шушерой? Научные статьи? Их ждала бы та же судьба. То есть никакая. Не знаю, листал ли Лёхины работы кто-то из диссидентствующих? Его влекли, разумеется, запретные имена. Какой-то труд по сравнительной антропологии он сунул моему товарищу, профессору-этнографу Андрею Сагалаеву. Тот, добросовестно прочитав, не решился пойти поговорить о нем. Просил передать меня рукопись автору. Сказал, что это понахватанное из разных работ, замешанное на элементарной шизофрении. Я сказал Лёхе, что Андрей мало чего понял и боится дискуссии.

Как и положено, были в Томске андеграундные орлы Лёхиного полета. С кем-то он сходил ближе – с теми, разумеется, кто мог хорошо и охотно с ним пить. С другими дело обстояло сложнее.

Познакомил я его со Стасом Божко, университетским недоучкой, но упорным самообразованцем, селфмейдменом. Хорошо помню этот день. Летний день 75-го, кажется, года. По главному проспекту города шагает Стас с привычной сумкой через плечо. Бороду топорщит, глаза жмурит. Отозвал меня в сторону:

– Старик, заглядывай завтра. Архип будет.

Наконец-то. Надо зайти к Стасу на дежурство в цветочную теплицу и получить давно обещаемый «Архипелаг ГУЛАГ».

Лёха просек мое оживление, ревниво спрашивает:

– Это что за супермеще?

– С ним, – говорю, – сможешь и о Леви-Строссе покалякать.

Вскоре я их свёл. Обнаружились общие интересы. Кроме социолого-антропологических вопросов их объединяло понятное нежелание вписываться в нашу общественную систему. Аутсайдерство, говоря языком Стаса. И зарабатывали они сходным образом – калымами: летом – прокладка траншей канализации, заливка мягкой кровли на широких крышах госучреждений. Весной – сброс снега с крыш многоэтажек. Лёхе ещё несколько зим прифартило – чистил детский каток в двухстах метрах от дома на Вершинина. И несхожести были. Стас не любил выпить (это не фигура речи, а натурально). Лёха – любил. Этот пункт, по-моему, и не дал им крепче сблизиться.

С поистине китайской анонимностью он разбрасывал широкой щепотью свои парадоксы, завиральности, цитаты любимого Хайдеггера. И я не пару раз узнавал их в суждениях прибившихся к университетской науке, но с оглядкой общавшихся с ним. Ну вот они, говоря научным языком, «остепенились», кто кандидат, кто доктор, ученики, дипломники, собственные дети, обскакавшие их на этом поле. И что же? Каждому – своё. Не могу я, хоть убей, жалеть потерянного для значимой жизни Лёху.

С помощью Марии Леонтьевны добрые еврейские эскулапы находили у Лёхи психические отклонения. И это облегчало его жизнь. На «психе» (нашей об-

ластной психолечебнице) его не подвергали карательным методам. Уважаемый профессор Красик приставил его систематизировать старейшую и богатейшую библиотеку, к тому же не пострадавшую от всяких партийных чисток. Лёха там до одури начитывался, какую-то работу выполнял. Но ещё и занимался вандализмом, безжалостно резал философские и медицинские журналы. Это у меня вызывало протест и моральное неприятие. Тащил оттуда подшитое на черную нитку и продавал нашим осторожным научным работникам. Продавал задешево, за красненькую. Мне перепал слегка обгорелый Шелли в переводах Бальмонта, любовно восстановленные переплетчиком «Демоны глухонемые» Волошина.

Что ещё сказать? Умножить печальный перечень его проделок? Было от него всякое. Лёха чуть не сжег мне постель, а может, дом, ночью ткнув в матрац горящую сигарету. Лёха похитил у меня несколько довольно хороших книг. Лёха перезанимал у меня немало денег по мелочам (а кто тогда был богат) без отдачи.

Но Лёха учил смотреть на жизнь открытыми глазами, не через карьерную кабинетную щель или драную десятку. Лёха учил говорить то, что думаешь, если не каждому дураку, то тому, кто хитренько ждал от тебя, что ты словчишь. Лёха рассказал мне массу интересных историй (и даже философских на уровне моего понимания). Он приобщил меня к Швейцеру. И сделал безумно щедрый подарок – изданную для научных библиотек «Культуру и этику», добытую наверняка при поддержке мамы. А сколько он прочел мне замечательных первоклассных стихов. И слушая мои лопотания, он же чутко выуживал достойное внимания. Нет смысла сейчас вспоминать эти случаи. Поверьте, я их помню.

При жизни Лёхи я написал несколько рассказиков, где он был персонажем. Один из них «Дар Даймона» напечатала либеральная «Сибирская Газета». Свернув его до формата письма, Лёха носил рассказ в кармане своей куртки. При встречах на улицах в беседе с каким-нибудь знакомым вынимал, разворачивал, показывал. Мне это было забавно.

А вот такая уличная философия от Лёхи. Оставаясь у меня ночевать и зная, что курить нечего, он звал меня к автобусной остановке с фонариком и без труда собирал полновесные охнарики: сама жизнь предметно воплощала здесь приоритеты. Автобусы тогда ходили редко, ждать следующего закурившему не было резона.

## ПОСЛЕСЛОВИЕ

На той самой городской окраине под названием Степановка Лёху и убили. Мне сказал об этом Коля Серебренников. Мы пошли в Университетскую рощу, к моргу. Там на площадке толкалось несколько человек от писательской организации: всё-таки умер сын писательницы. Из порядочных помню Витю Колупаева, Игоря Мигалкина, Сашу Кошляка, Александра Францевича Ковалевского. Мы с Колей не поехали на кладбище, помянули Лёху у него. Был осенний день, сухой и холодный. Я, может быть, и не сразу восстановил бы день смерти, но вот – с чего, поди разбери – написалось спустя несколько дней странное стихотворение, и под ним я поставил дату, сохраняемую во всех публикациях. Так делаю и сейчас.

\* \* \*

*Дворы тополиные,  
Жаль вас покинуть.  
Пусть жизнь будет длинной,  
Как песня акына.*

*Простой и великой,  
Смешной и печальной,  
Под пух этот липкий,  
Под звон величальный,*

*Под маты и плачи,  
Под грозы и вьюги,  
Под холод собачий,  
Под шёпот подруги.*

*Глаза бы глядели,  
Вбирая детали,  
А ветки гудели,  
А птицы летали.*

*И, верно, могла бы  
Судьба быть такая:  
Текла и текла бы,  
Не истекая.*

*5 окт. 1996*

*(девять дней Лёхе Рыжему)*

...Имел Леха склонность и к мемуаристике. Как-то очень давно передал он мне, не знаю зачем, несколько страниц воспоминаний, написанных его округлым разборчивым почерком. Несколько страниц... А название записок «Мертвое время» обещает сочинение явно большого формата. Продолжал он эту тему, нет ли – кто теперь скажет.

Герои сохранившихся страниц – такие же антики, как и он сам, и ведут они знакомые с лесковской поры русские разговоры с придурью и глубокомыслием.

**2010 – 2011**

## Людмила Конюшихина

### ИГРУШКИ

Повесть (журнальный вариант)

#### Пассажирка у иллюминатора

Евгения Петровна в очередной раз возвращалась из хвостовой части самолета. Пыхтя и отдуваясь, как штангист после рекорда, она, наконец, загрузила себя в кресло. Оно в ответ жалобно «мякнуло». «Расширить, что ли? – она сделала восьмерку своей посадочной частью. – Да энергию на глупости жалко тратить...»

– Не проще ли сузиться? – нечаянно сострил шупленький профессор. – Вы что-то беспокоино нынче летите, Женечка. Есть проблемы?

– Чищусь. Сами видели, с кем общаться пришлось... Нахвталась...

«Забилась» вся как есть... А проблемы, коль случаются, то с деньгами не кончаются... Глянь-ка, стихами заговорила. Знать, прочистилась до самой «сахасра-ры», – она щёлкнула себя ладонью по макушке.

– Это не ругательство. Это чакра так называется, которая самая верхняя, седьмая – биоэнергетический резервуар, – пояснила Евгения Петровна свой жест пассажирке, сидящей у иллюминатора по правую руку профессора.

Евгения Петровна не первый раз покушалась заглянуть молчаливой попутчице в лицо... И сейчас, пытаясь наклониться и при этом «медвежисто» отталкиваясь локтем, нечаянно вмяла профессорский торс в спинку его же кресла:

– Бледненькая вы какая-то... Ну да ладно – разберёмся... Время есть! Больные не кончаются, кончаемся мы – экстрасенсы! Правда, профессор? Ах, как я вас!.. Тысячу извинений... Я уже давно вся во власти «младшего брата смерти», то бишь сна, как вы любите выражаться. Всё: отпадаю. – Она действительно засопела на следующем полуслове...

– Eхunquеleonem, – расправил рёбрышки профессор, – это по латыни...

– Спасибо, я поняла, – пассажирка прижучила его крепким карим взглядом. Лицо этого человека ей показалось каким-то отталкивающим и в то же время будто знакомым. Где-то уже встречающимся.

– Нет же, право, «видно сокола по полёту», – на всякий случай перевёл профессор не свое изречение и заёрзал. – Евгения Петровна – удивительно тонкочувствующий человек с неординарными способностями. Недалёк тот день, когда её имя будет в ряду таких имён, как Роза Кулешова, Нинель Кулагина, Елена Агаркова и т. д. Поверьте, рядом с нами безмятежно поживает очередная сенсация уходящего века. И я, как член международной ассоциации по исследованию проблем психотроники, могу гордиться, что имел некоторое отношение к открытию этого феномена. Имею, – спешно поправил он себя. – Вот и сейчас мы летим в столицу на международную конференцию по изучению аномальных явлений, – он начал чеканить слова, как диктор радио, читающий бесцветную сказку.

– Впереди у Евгении Петровны, естественно, солидные биофизические лаборатории страны, научные эксперименты и, конечно же, самое серьёзное испытание – славой! – Его вялая улыбка окончательно сползла к левому углу нижней

челюсти, а в противовес улыбке проворная ручонка профессора тщательно то и дело заправляла скомканный носовой платок в оттопыренный карман его серого пиджака. На скошенном, как у приматов, лбу профессора созревали и созревали крупные капли пота...

– А вы, значит, подобно полковнику Олькотту при Елене Петровне Блаватской? – подтрунила пассажирка.

– Ну что вы, куда мне до таких регалий! Я...

– Ладно скромничать-то! – позволила себе проснуться Евгения Петровна. – Что я без вас, мой покровитель? Кто я была: ворожея, знахарка-самоучка какая? В столовой котлы тягала да кошек, собак по соседям отыскивала... Правда, когда и людей приходилось находить. Только уж очинно болею, когда они мёртвыми оказываются, прямо хоть самой в лёжку на неделю... А попросят – и не откажут: беда ведь людская! Я все больше по поискам *их* интересую, – она ткнула профессора в плечо пухленьким указательным пальцем. – А самой лечить страсть как хочется! Но *они* говорят, что рано ещё: сперва в лабораториях заместо мыша поисследоваться полагается... Там, если бог даст, и сертификат на лечение за получу. А может, вы тоже что или кого потеряли? Так я постараюсь... Уж больно вы бледненькая и печальная такая... Вот сегодня утром, на выступлении, одна барышня тоже никак не признавалась, что мужика потеряла, пока я ей всю фотографию и биографию его в лёт не описала. Оказался любовник, а муж тут как тут – на последнем ряду находился... Все выслушал и пообещал недоброе нам (ей и мне, стало быть, заодно)... Смех и грех приключился! А так все бы гладко прошло: и деньги, и документы – всё находила, правда, профессор? Теперь «чищусь», гоняю энергию по чакрам: вытесняю из себя, что «навешали» на меня худого...

*«Навешали... лаборатории... эксперименты... Все так знакомо, словно было ещё вчера, а не восемь лет назад... И Евгения Петровна – вся такая восторженная, потому что ей пока неизвестно, что такое, когда по-настоящему навешивают... И ты идёшь «живой посылкой» и, сам того не подозревая, несёшь адресату всё, что было угодно отправителю... И неизвестно, кто из нас двоих в большей степени сейчас нуждается в помощи. Срочной помощи! Если бы мне в своё время кто-то подсказал, как все эти игрушки отразятся на здоровье...»* – Пассажирка посмотрела прямо в серые, глубоко вколоченные глаза «перспективного экстрасенса»... Евгения Петровна заметно ступсывалась под напором её мыслей.

*«Не поверит, не услышит: слишком уж близка и заманчива победа... Да что я распричиталась заранее?!»* – осадила себя пассажирка.

– Вы-то сами служащая или тоже по науке? – не пожелала «затеряться» Евгения Петровна.

– Служащая, служащая. Только бывшая, – уже с заметной решительностью заныривала в себя пассажирка. Наконец круги привычного волнения сошлись в точку над её головой...

*«Итак, на чём я остановилась? Валерка, мой милый единственный Валерка, моё жизненное испытание, мой первый трепет от поцелуя в губы! Художник-оформитель всей моей жизни в прямом и переносном смысле... А теперь ещё и мой столичный издатель.*

*Уже полгода прошло, как он в очередной раз обнаружился в новом качестве. До этого времени – года три – мелькал художником в нескольких столичных журналах. А тут, совсем неожиданно: «Алё, беспокоит Москва, к вашим услугам*

– издательство «Импульс», и после знакомого «ха-ха», – слушай, радость моя, не пора ли солидно издаться? Чай, в союз писателей метишь... Наслышаны и начитаны... Молодец! Что там у тебя – бестселлер, не меньше? Тираж в двадцать тысяч устроит? Значит, ставлю в планы, как и нашу с тобой свадьбу! Ты ведь всё равно на консультацию сюда, к своим эскулапам, прибудешь, как обещала?... Вот и сговоримся, наконец... Жду с макетом книги, и с прекрасным свадебным платьем! Обещаю парадную встречу!»

«Смешной Валерка, он понятия не имеет о моих настолько невесёлых делах... Но, дёрнуло же меня пообещать: по крайней мере – сотрудничество!..»

Она достала из сумки толстенную записную книжечку не с одним десятком рассказов, кое-какими набросками и дневниковыми записями разных лет.

«У меня «талмуд» прямо, как у Тургенева: он вёл дневниковые записи за своих героев, чтобы получались они в его произведениях максимально жизненными. Вот и я... Хм, замахнулась на сравнение с великими!.. Не слишком ли?..»

Ах, если бы не срочность этого вызова в клинику на госпитализацию!.. Всё у меня «через пень». Теперь хоть бы план книги толком успеть составить. Что там со временем? Еще часа полтора до промежуточной посадки и после ещё большие трёх часов лету. Если постараться, можно успеть. Если, конечно, очень постараться! Ладно: за дело...

Детство моей героини описывать не стоит: ничего примечательного, за исключением, может быть, того, что отец её в своей следовательской работе проявлял невиданные по тем временам чудеса обнаружения преступников, вещей пострадавших, с лёту угадывал номера машин и даже как-то – шифр сейфа. Стало быть, Милка изначально имела наследственность, «отягощенную» экстрачувствительностью... Где-то была пара «детских» рассказиков по теме... Листай-листай, ищи-ищи!.. Да вот же они...»

### «Санта-Лючия»

– Ну что ты горлопанишь с самого утра? Воскресенье ведь! Мало того, что из всех окон слышно этого Робертино, чтоб он поздоровел, так и ты ещё покоя добрым соседям не даешь! Куда мать твоя смотрит? – рыжая тётя Лёля щурила и без того маленькие глазки, пытаясь схватить Милку за ухо, чтобы потом слегка повыкручивать пойманное ухо, зажав его между двумя своими железными пальцами... Всем пяти семьям – вот где твоя одарённость, лауреатка худосочная... Петушка ты недорезанная, а не «Санта-Лючия», – тетя Лёля образно полоснула ребром увесистой ладони по своему горлу строго между первым и вторым подбородками.

Из Милки градом посыпались слёзы, и совсем не от страха (бояться тетю Лёлю она давно устала), а от жалости: что станет с бедной Сонечкой, если отпиленная голова её мамы Лёли покатится по двору с выпученными глазами и шевелящимися губами? И как доктора будут обратно пришивать тёплую голову к холодному, почему-то кудахтающему туловищу тёти Лёли? И она – тётя Лёля – долго не сможет кричать на всех детей во дворе, что они «халявы чёртовы», что, когда они явятся на учёбу в школу и, не дай Бог в её класс, она с них целых три шкуры сдерёт! Не сможет кричать, потому что от натуги порвутся швы на её шее...

– Что ревёшь, дурёха? – удивилась тётя Лёля, разворачивая Милку за плечи лицом к себе.

– Я видела вас без головы, и вы кудахтали в нашем дворе, – доверительно пожаловалась Милка. (Она вдруг вспомнила, что мама ей говорила, будто тётя Лёля на самом деле очень добрая, а строжится для какой-то пущей важности)... Потому Милка так доверительно разоткровенничалась. За что тут же получила.

– Не я, а ты безголовая как есть! Ишь, выискалась предсказательница соплявая: Витька-пацан из-за неё червяков наелся, видишь ли, рыбкой золотой себя возомнил... Петр – здоровый бугай – на крыше два дня сидел – пожара боялся... Теперь до меня добралась?! Нет уж, со мной не пройдёт: махом в милицию за хулиганство сдам. Пошли!

Милка не поняла, в шутку или всерьёз её решили сдать милиционерам, но выбора у неё не было...

Милиция находилась через пять дворов от колонки, в которую все ходили за водой. Поравнявшись с колонкой, Милка вырвала руку из железной пятерни тёти Лёли и, как могла долго, хватала тугую, обжигающе-холодную водную струю пересошим от волнения ртом. Затем покорно вернулась и поплелась, свешивая голову, и без того тяжелую от двух толстых кос. В траве на обочине мелькнуло что-то пёстрое, похожее на свёрнутые деньги... Так и есть! Милка радостно заскакала: «Я деньги нашла, деньги! – и тут же грустно добавила: – Они так нужны той тёте, она ищет их, плачет».

– Какой ещё тёте?.. И правда – деньги! – рассматривала тётя Лёля перевязанную резинкой от бигуди солидную пачку купюр. – Везёт же дуракам! Вот и кровать тебе мать купит, а то – пятилетняя дылда, а всё с матерью спишь... – Она незаметно для себя распахнула дверь милицейской дежурки...

– По какому вопросу, граждане? – спросил усатый милиционер без звездочек...

– Мы? – растерялась тетя Лёля и посмотрела на Милку...

– Мы вот деньги нашли! – внесла ясность Милка. – Их потеряла женщина с совсем маленьким ребёночком на руках. Они продали свой дом, чтобы уехать... А теперь...

– Да, есть такое заявление... – оторопел милиционер. – Только ты откуда полагаешь такими данными? Уж не ты ли их обворовала, а теперь каешься... Совесть замучила? А?!

– Да что вы, товарищ милиционер! – коршуном бросилась на защиту Милки тетя Лёля...

– Странная девочка... – тихо заметил милиционер тёте Лёле, когда, наконец, всё понял.

– Дочь фронтовика. Батя её был на войне контужен, вот она и получилась у них малость трихохокнутая...

### **Капля графской крови**

– Перекрестите её, бо она скажется, – заявила моя бабушка Дуня в присутствии многочисленной сельской родни, тревожно покачивая головой в мою сторону...

Мне казалось, что я ничем не отличаюсь от детворы моего возраста: может, только чуть побледнее да послабее, чаще уединяюсь, реже жалуясь, побольше фантазирую и... плачу.

– А глазищами-то как стреляет, – не унимался муж моей двоюродной сестры Степан, возрастом подходивший мне в «дяди».

А почему бы мне не «стрелять глазами», если от Степана всегда несёт самогонкой, и я почему-то знала, что в это воскресенье он зарежет хрюшку. По этой причине я уже целых три дня встречалась взглядом с всёпонимающими серыми «свинячьими» глазками... Не успокаивало и то, что, «пидгортая картошку», Степан случайно сильно поранит себе ногу: поэтому поводу я тоже поплакать успела...

Взрослые относились ко мне настороженно-бережно, как к заводной кукле иностранного производства: заплетали, одевали, купали, даже на колени к себе усаживали, а внутрь заглянуть не решались.

«Заводиться» же я умела – с пол-оборота, в ответ на любую жесткую фразу, холодный взгляд, недобрую мысль. Спасалась бегством.

И все-таки родичи относились ко мне по-хорошему, как умели... Повседневная грубая сельская работа сделала схожими их руки, лица, голоса, фартуки, платки, рубахи... В этом было что-то притягательное и отталкивающее одновременно, но тем не менее, не мешающее мне уже пятый свой июль с удовольствием проводить здесь: в красивом русско-хохлацком селе Покровка, основанном в прошлом веке тремя крестьянскими семьями, перебравшимися из Тамбовской губернии Моршанского уезда. Главой одной из «пришлых» семей оказался белокурый «москаль», мой прадед Василь – «малый с головой» и умелыми руками. Видно он, Василь, тогда, как я теперь, был очарован живописным оазисом на правом берегу беспокойной горной реки Талас. Привлекли прадеда вольные киргизские земли... Заманила степь и успокоила его душу, взрастив на своем теле побег его не бесславного рода.

А пока каждый июль я как бы заново знакомлюсь с Покровкой. Едва рейсовый автобус выруливает к заветному таласскому мосту, вдали, в гуще пирамидальных тополей, всё отчетливее проступают прижавшиеся друг к другу побеленными боками избы, незатейливые дворики все больше съёживаются, да и вся деревушка на фоне остроконечного хребта Тянь-Шаня всё более походит на маленького, заблудившегося в степи барашка. Вот и деревянная калитка «нашего» двора заметно легчает под нагибом моего плеча. И тетушкин дом, некогда гриб-великан, уменьшается в размерах и будто заваливается набок, только из-под шляпы его привычно косит чердачное окно. Меняется все. Прежними остаются лишь страхи, например, брат из тёткиной колючей, сморщенной ладони конфету... Но страсть к сладкому побеждает, и я, зажмурившись, ныряю в её ладонь двумя цепкими пальчиками, хватаю липкую карамельку, будто вылавливаю её из кипятка...

Аппетитом моим никто не восторгался, и к остывшей тарелке щей меня зачастую пригоняли, отрывая, словно с корнями, от цыплятника, свинарника, козовника... Или пытались собрать «в кучку» моё тельце на клеверном поле, где я не только в ощущениях, но и физически «расползалась» на такие расстояния и была такими травками-муравками, жучками-паучками с полным набором их ножек, лапок и крылышек, каких никто никогда не видывал. Однажды Степан чуть не наступил на меня, крича до посинения: «Ми-и-лка!». А я слышала только возню муравья в траве и надрывалась вместе с ним, поднимавшим соломинку. Не менее выразительно посещали меня и деревенские запахи. Утро несло с собой одуванчиковый аромат, густо приправленный дуновениями ночных отходов дворовой живности. Вечер отдавал парным молоком, а поздний вечер – лягушечей прохладой и горными тюльпанами. Обед же воспринимался катастрофой: столовые тряпки, даже на сто раз постиранные, источали – словно персонально для меня – запахи жира, переваренных овощей, мяса разной степени готовности... На что реакция моя была исключительно рефлекторная...



Зачастую расценивая мои выходки как капризы, взрослые, исчерпав запас терпения, почти замахивались с желанием «поддать барыньке, как следует», но их что-то останавливало... Зато это «что-то» не останавливало детвору, для которой борьба с моей «непохожестью» стала чуть ли не главным развлечением...

### Как Теля поили

– Ну, городца, пишлы теля поиты, – вручая десятилитровое ведро воды, обратилась ко мне Валька – дочь Степана и моей двоюродной сестры Марии. К поручениям я относилась более чем ответственно: с гордостью за оказанное мне доверие, да ещё в такой представительной компании, которую олицетворяла собой моя одногодка и первый знаток сельских дел Валька. На полусогнутых я тащила драгоценную воду, страшась расплескать хоть каплю...

Знойный полдень пылил под ногами и поджаривал на собственном масле. Телёнок пасся за три двора от дома тетушки Гаши. Привязанный железной цепью, он тщетно тянулся в тень одинокого деревца. Такую крупную тяжелую цепь я видела лишь у будок злоющих собачищ. А у телёнка были такие добрые, глупые глаза! Пил он жадно, чмокая, и ещё долго мотал мордой в опустевшем ведре...

– Жарко. Пишлы до хаты! – порешила Валька, махом выдернув из земли огромный железный кол.

– На, держи телёнка, только крепко: отпускать нельзя – в горы убежит! – подозрительно перешла Валька на чистый русский говор. Металл тяжело прилип к моим ладоням, и тут же на спину мне села холодная «птица», сдавливая плечи широкими крыльями. Так я ощущала недоброе...

– А ну, быстрее! – у Вальки в руках откуда-то взялась хворостина, которой она все увереннее подхлестывала телёнка, пока тот не побежал во всю прыть. Я не отставала и, помня наказ, лишь крепче сжимала ладонями «собачью» цепь. Свисающий на цепи кол все чаще и больше лупил по моей коленке...

Мы неслись, как угорелые, в одной упряжке, гонимые разными страхами. Кол в последний раз ударил по коленке и нога моя уже не согнулась. Дальше я «ехала» на животе, ощущая, как ухабистая, каменистая дорога сдергивает с меня первый, второй, третий... слои кожи (сколько их всего, я еще не знала: медицинский институт был далеко впереди).

– А мне не больно! – кричала я Вальке, силясь повернуть голову назад.

– А мне не больно! – так, корчась, говорят все играющие в «казаки-разбойники», когда им заламывают руки, пытаясь вырваться.

– А мне не больно! – кричала я селу, всему свету и себе.

Дошло только до меня. Боль отступила. Я въехала во двор. Телёнка поймали. А боли всё не было... Меня, словно «цыпля», разложили тут же – во дворе под виноградом. Его прозрачные тугие ягоды теснились в огромных кистях и участливо поглядывали, как меня смазывали зелёной – всю: от подбородка до пят. Как причитали и поблескивали глазами родичи, обступившие стол со всех сторон. Меня же более всего страшило вновь услышать голос тётки Нюрки, ехидно повторяющей в таких моих случаях: «Вот бы бабку твою сюда, графиню! Полюбовалась бы на свою внучечку распрекрасную... Куда уж нам, «дядевне», до таких воспитаний! До нежнастей таких...»

*«Что-то тут дописано карандашом»*

Спасительное «а мне не больно» действовало ещё сутки. По прошествии двадцати лет я буду говорить о формуле внушения «мне не больно» своим многочисленным пациентам, пытаясь объяснить механизм обезболивания путем самовнушения. И буду неоднократно демонстрировать свою обезболенную самовнушением руку, протыкая её насквозь спицей... Буду «сражаться» с коллегами-скептиками за право на жизнь нового, перспективного метода лечения, основанного на выявлении и использовании неограниченных возможностей человеческой психики. Но это в будущем. А пока на страницах моего дневника 1961 год. И человечество учится выживать в космосе... А я учусь выживать здесь, на родной земле, среди людей.

## Гроб Вия

– Милана, вы себя несносно ведёте за столом! Заметьте, это с вами случается всякий раз после посещения деревни. То, что вы загорели, вам к лицу. А то, что едите хлеб, обмакнув его в сок салата или вытерев им тарелку с остатками пищи, – это просто возмутительно! Соизвольте, дорогая, удалиться в библиотеку: вы наказаны! – дед говорил непривычно жёстко и отрывисто. Только глаза его знакомо улыбались... И от этого Милке стало чуть поспокойнее, но не менее стыдно.

В библиотеке дедовского дома пахло бумажной пылью и чем-то влажным. За всё свое сознательное время пребывания в библиотеке Милка успела рассмотреть картинки почти всех книг на четырех нижних полках и рассортировать портреты авторов книг на три части: бородатые, без бороды и тётки-писательницы. Ещё хотела отсортировать очкариков, но их оказалось больше всех... Сегодня Милка уже дотянулась рукой до пятой, соответствующей её возрасту, и последней «сказочной» полки. Сказки на четырех «пережитых» ею полках она давно читала, скучая: знала наизусть. Другое дело – восьмая полка, на которой в жёлтом переплёте пребывал загадочный Мопассан, спрятанный по настоянию бабушки подальше от Миланы. Этой весной Милка как-то попыталась добраться до заветного тома, соорудив шаткую книжную лесенку, но... потерпела неудачу. Идею эту она не собиралась похоронить, так как девочек в семье деда наказывали только длительным пребыванием в скучной библиотеке. Что же касается мальчиков, как рассказывал Милкин отец, его самого и его брата ставили коленями на горох и нагружали двумя-тремя книгами в каждую руку. Милка, не совсем тайно, безмерно ликовала, что родилась девочкой, иначе бы ей никаких коленок не хватило отстаивать целыми днями на горохе... Почтенный дед, пребывая в добром расположении духа, не раз проводил Милке экскурсию по библиотеке, задерживая её внимание на особо ценных для него книгах, доставшихся им с бабушкой ещё от их дедушек и бабушек – почётных дворян. У многих из этих старинных книг были сильно потрепанные страницы, а несколько небольших книжек даже имели особенные переплёты: украшенные серебряными и золотыми нитями в виде сеточки. Здесь же находился уголок памяти о встрече деда с бабушкой. Историю их встречи вся семья знала, как таблицу умножения... Некогда дедушка, будучи ещё студентом Казанского университета, нечаянно встретил на улице прогуливающуюся по скверу бабушку. Она была очень красиво, даже слегка чопорно одета, имела важный, неприступный вид. Дедушка к тому времени уже остался один, без родителей, и был почти обедневшим дворянином или «прокутившим своё состояние», как, сме-

ясь, говорила бабушка, которая при этом добавляла: «правда, княжеского рода». Ему, деду, понравилась красивая девушка, часто гуляющая по скверу, и как-то он решил просто проводить её до дома. А на следующее же утро его разбудил резкий стук в дверь. Стучали чем-то деревянным... Сонный студент открыл дверь и опешил: на пороге стоял очень представительный господин в цилиндре и с тростью. Он попросил разрешения войти в дом. Господин был в ярости! Он потребовал у деда объяснения его недостойного поведения. Сказал, что дед скомпрометировал его дочь, польскую графиню, допустив недозволительную вольность: прилюдно взять её под ручку, а при расставании ещё и посмел приобнять графиню за плечи.. Теперь, как честный дворянин, дед обязан был искупить свою вину женитьбой на его дочери.. И дед, погоревав, побушевав, попировав, сделал бабушке предложение... А полюбил он бабушку, как и она его, значительно позже... Очень сильно и навсегда полюбил, когда она родила ему двоих сыновей, младший из которых теперь папа Миланы.

– Вот такая история, – в конце добавлял дед. Затем он аккуратно брал в руки стоящий в уголке памяти легендарный цилиндр и помахивал находящейся тут же той, исторической прадедовской тростью... А иногда дед вспоминал и вспоминал дальше... И эти воспоминания Милка тоже знала наизусть: дед удивлялся, как они могли с бабушкой вот так случайно встретиться в городе Казани?.. Ведь бабушкиного деда, одного из предводителей Польского восстания 1830 – 1831 года, власти царской России лишили всех его польских имений и сослали почему-то именно в Казань. А бабушка ещё смогла закончить Петербургские высшие Бестужевские курсы и была, по тем временам, очень образованной девушкой. Потом они с дедушкой стали народовольцами и поехали в Казахстан, обучать грамоте и вообще просвещать казахский и другой народы. Построили на бабушкино наследство пять школ для детей. Были сначала и учителями, и директорами школ, училищ, затем преподавали в институте. А потом дедушка управлял всем образованием в области, и его в Москве наградили орденом Ленина. Теперь, по их милости, Милана живёт в Казахстане и учит казахский язык, как когда-то казахские детишки учили русский.

Милка уважительно, на сотый раз, пересмотрела семейные реликвии и занялась своими, более актуальными делами: сегодня она тянулась вверх, стоя, до хруста, на цыпочках и, наконец, успешно выудила с полки нетолстую книгу со странным названием всего в три буквы. Автор книги на фотографии был худой, без очков, носатый и оттого какой-то грустный. С рисунка – на третьей странице книги – на Милку уставилось невообразимое чудище, порождённое, конечно же, ветром. Это было легко понять по названию книги «Вий». «Вий – вий – вий», – так завывало чудище, разрушая всё вокруг своими лапищами... «Поднимите мне веки», – сложила Милка незнакомые слова. Милка захлопнула книгу, но вскоре снова распахнула её на середине. Там, на рисунке, в гробу летала страшно косматая красавица... И Милке вовсе стало не по себе...

«Вий – вий», – доносилось со страниц странной книги. «Вий – вий», – вторил за окном неожиданно сорвавшийся ветер. «Вий!» – резко распахнуло форточку в огромной библиотечной комнате... Милка нырнула в кожаное кресло. Сквозняк начал приводить в движение шторы и бумажные листы на полках. Над Милкой нависли громадные полки, до потолка забитые книгами. Хлопая переплётками, как крыльями, книги покачивались из стороны в сторону... Зловещий шелест и скрип-стон становились громкими и ритмичными, как шаги её сердца! Страх сковывал.

Теперь уже реальное чудище дышало холодом ей в лицо. Милка вспомнила, что надо заговаривать со своими страхами, чтобы их понять (как учил её дед). И она заговорила с чудищем, не понимая почему, когда так много вокруг ветра, так мало ей воздуха? Она задышалась...

Доктор со «скорой» сказал, что ребёнок очень нежный и впечатлительный, но, скорее всего, у девочки ещё и аллергия на книжную пыль... И счастье, что такой затяжной приступ удушья благопрятно разрешился дома. А Милка так и не поняла, что ей теперь разрешили дома. Но очень надеялась, что всё...

\* \* \*

*«Выходит, что моя героиня была столь чувствительна к писательской, образной энергии Гоголя? (Ведь впоследствии никакой аллергии на книжную пыль не отмечалось? Нет!.. А уж книги-то всегда и всюду с ней по жизни... Об этом потом)... Еще бы фрагментик вставить по поводу лекарьских «способностей» героини... Если нелишним окажется...»*

## Шамурат

Появлялся Шамурат неожиданно в разных концах села, часто сопровождаемый ватагой ребятишек, обзывающих его, корчащих ему рожицы. Он убегал от них, бранился, плевал. А если докучали чрез меру, наклонялся, как бы подбирая камень с дороги... Иногда и впрямь брал бульжник и бросал его в сторону сорванцов. Но бросал несильно, недалеко, чтобы случайно не попасть в кого-нибудь. Милка это замечала. В некоторых дворах относились к бездомному попрошайке жалостливо: кормили и давали одежду. Для Милки приход этого «дурачка», как называли его почти все сельчане, становился событием! Она, как в археологическом музее (куда её часто водила мама), рассматривала совсем вблизи потрёпанный малахай – шапку Шамурата. Полы его чепана – киргизского халата – были оборваны собаками и свисали лохмотьями. Милка ловила взгляд прищуренных и без того узких его чёрных глаз и не понимала, почему она должна была бояться Шамурата, как это делали другие дети. Он просто походил на грязного Деда Мороза, с той лишь разницей, что Дед Мороз раздавал подарки из своего мешка, а Шамурат собирал в мешок. Зато видеть Шамурата можно было круглый год. На этот раз тетушка вынесла ему молока и хлеба. Молоко он пил захлеб. Белые струйки стекали с бесформенных усов на смуглые щёки, жидкую бородёнку и капали на чепан. Хлеб он бережно уложил на дно своего здорового мешка (того, в котором Шамурат, как говорили, «иногда уносит от родителей совсем плохих детей»). Возвращая тётушке пустой молочный кувшин, он недолго побеседовал с ней тихо, нараспев. И при этом дурашливо хихикал. Милке удалось расслышать только обрывок фразы: «... быть в твоём дворе четырьмя большими колесами...». Уходя, он глянул в Милкину сторону глубокими и хитрыми, как у Алдар Косе, глазами... Разве мог быть дураком этот Шамурат?!

– Конечно не дурак, – подтвердила Милкину догадку тётушка Гаша. – Но ему, видать, жить так легче, когда дурнем считают... Несчастный человек: чабаном был – овец у него украли, справедливость искал – тюрьму нашёл... Пить начал – жена ушла от него, сын отказался от отца родного. Уж сильно, говорят, образованным стал сынок... А пока учился – не стеснялся побирушечьих денег... Эх! Дитя дитю тоже разница...

Милка не совсем понимала переживания тетушки, но слушала её на редкость внимательно, как всегда интересуясь всем, что так или иначе связано с Шамуратом. «Виткиль вин всэзнае? Ты дывысь, як скаже, так оно и будэ...», – удивлялись Милкины родичи необычным способностям Шамурата. Им, как и многим в селе, не раз приходилось убеждаться в правоте его предсказаний. В этот день, после очередного визита Шамурата, родня собралась в кружок на самом просторном дворе (у тетушки Гаши) и не на шутку ломала голову над «четырьмя шамуратовскими колесами». Кто-то задумывался, кто-то отмахивался, кто-то болтал «чё попало», но все втайне надеялись на выигрыш, конечно же, автомобиля: имели на руках по денежно-вещевой лотерее, выданной в обязательном порядке каждой семье (в кассе сельмага «на сдачу»). «Сломать» голову не успели, так как ещё до выхода в свет тиража лотереи неожиданно умерла баба Дуня. А следом тяжелая травма приковала к инвалидной коляске двоюродного брата Милки – девятнадцатилетнего Андрея...

Милка слышала, что Шамурат лечит всякую живность, и лечит на славу. Но только у хороших людей лечит. Уверенно причисляя себя к «почти хорошим», она резко порешила познакомиться поближе со славным Шамуратом: сойтись с ним на «почве» лечения. Почему на почве, а не на траве, цветке и так далее, ей особенно задумываться было некогда: «дворовый телефон» донёс, что Шамурата только что видели у мельницы. Никому не сообщив о своих намерениях (так или иначе всё равно влетит...), Милка метко вылила чью-то роскошь – ярко-красный лак для ногтей – на лапу ничего не подозревающей первопопавшейся курицы. Завернув её, перепуганную, в старый тюль, Милка помчалась в сторону мельницы, сопровождаемая жутким кудахтаньем.

При очном знакомстве «больная» показала изрядную прыть. И Шамурат с Милкой довольно долго вылавливали её, бегая с растопыренными руками по «мельничной» дороге. А когда им всё-таки удалось остановиться и Шамурат уразумел, в чём дело, он звонко похлопал себя по голове, затем повернулся к Милке задом и похлопал себя ещё и по нему... Для большей убедительности, наверно... «Действительно, дурак», – с ужасом отпрянула Милка и собралась проделывать обратный путь. Но Шамурат её остановил: «Хочешь со мною лошад лечит? Айда!» – он махнул рукой за реку. Там, вдалеке, почти у самых гор, виднелись глиняные дувалы дворов и редкие юрты.

– Пошли! – не раздумывая, согласилась Милка. И тут же опомнилась: «А ты, дядька Шамурат, больше не будешь меня пугать?»

– Не буду, – порешил Шамурат, вручая Милке её уже «потухшую» курицу.

Он браво двинулся к таласскому мосту и приготовился плевать всю дорогу. Потому Милке было как-то спокойнее семенить позади Шамурата. В пути Милка занимала себя укачиванием курицы, которая отказывалась спать, хотя глаза её уже заметно «слипались». Двор, в который они, наконец, вошли, оказался большим, просторным и чисто выметенным. В центре двора дымилась небольшая печь, по разные стороны от которой почти на равных расстояниях находились юрта и «мазанка». Девчонка постарше Милки как ни в чем не бывало доставала и доставала из печи поджаристые, пахучие лепешки. Она не смела даже посмотреть на вошедших гостей. Такая, видно, была дикая. Взрослые бросались здороваться с Шамуратом очень почтительно: сразу двумя руками. Все вокруг, кроме Милки и курицы, разговаривали только по-киргизски. Каждому входящему в юрту Шамурат показывал пальцем на Милку. Киргизы смотрели на глазастую русскую девчонку с добрым интересом... Кумыс, которым угощали гостей, оказался невкусно-кис-

лым и «стрелял» в нос. После него хотелось спать... Когда Милка проснулась, она удивилась, что лежит на высоко свернутых разноцветных одеялах. На улице уже темнело. Ее курица сидела во дворе у куста, привязанная за лапку. Шамурата нигде не было.

– Где наш дядька Шамурат? – испугалась Милка.

«Лепешечная» девчонка, казалось, её не понимала. Но при слове «шамурат» согласно закивала. Она вывела Милку за двор в конюшню. Там было душно и сильно пахло навозом. На соломе лежала большая лошадь, тяжело дышала и грустно смотрела на собравшихся вокруг неё людей. Шамурат наклонился к морде лошади, брал её уши в руки и что-то нашёптывал в них. Затем он варил какие-то травы и прикладывал смоченные в травяной водичке тряпки к лошадиному животу. Делал это очень долго и старательно.

Наконец, случилось чудо: лошадь зафыркала, потом громко заржала и начала вставать на ноги! Постояла недолго, потому что была ещё слабая. Зато как обрадовались все вокруг! Самый старый киргиз даже заплакал от счастья и быстро-быстро о чем-то заговорил, похлопывая Шамурата по плечу. Даже «лепешечная» девчонка, и Милка вместе с ней, радостно подпрыгивали на месте и хлопали в ладоши! Пока лошадь лечилась, одна важная тетушка с белой накрученной простыней на голове сварила бешбармак из молодого барашка. И когда все снова вернулись в юрту, она поставила блюдо с бараньей головой напротив Шамурата, который начал отрезать от этой головы кусочки мяса и раздавать всем по очереди (так делали все почётные гости). Самой тетушке достались только косточки... Милка терпеливо ждала, но никто с тетушкой делиться едой не собирался.

– Нате мой кусочек, – протянула Милка тетушке-хозяйке свой вкусный кусочек барашка. Все почему-то засмеялись. А тётка смущенно прикрыла широким рукавом своё лицо.

– Домой! Мне надо домой! – спохватилась Милка. Перед её глазами вдруг, как на экране телевизора, замелькали печальные лица её родичей. Даже крикливое лицо тётки Нюрки было мокрое от горьких слёз: Милку все потеряли и все очень жалели, что когда-то ругали эту лучшую в мире девочку; и все обещали воспринимать её спокойно и рассказывать ей на ночь всякие интересные истории... Только бы она снова к ним вернулась!

Милке стало нестерпимо жалко себя, и она неожиданно громко всхлипнула. Хозяева принялись торопливо собирать Шамурата, Милку и курицу в обратную дорогу. Милка ещё помнила, как один молодой киргиз поднял её высоко-высоко и усадил в седло рядом с Шамуратом; что у лошади была какая-то смешная кличка; что ехать было немного страшно, как на качелях; что спереди, порывами, её холодил ветерок с гор, а спину согревало тёплое дыхание Шамурата...

– Проснись, проснись! Вон твой дом, – негромко говорил Шамурат в Милкино ухо. – Держис крепче!

Он спрыгнул с лошади и мигом ссадил её, ещё полусонную. «Вон твой дом. Беги! Быстр, быстр беги!». Не успела Милка пробежать соседний с тетушкиным дом, как услышала уже далеко-далеко от того места, где они остановились, знакомый конский топот, удар хлыста и голос Шамурата, подгоняющего их лошадь.

Её выловили, не доходя калитки. Плакала только тетушка Гаша. А все остальные, особенно муж двоюродной сестры Степан, обещали всяческие жуткие расправы над Милкой, вплоть до откручивания головы. Но все переносили казнь на утро.

Утром всё было намного спокойнее: Милка всего лишь уставала пересказывать, где была и что делала. Теперь её сильно расстраивало намерение Степана свернуть голову не ей, а Шамурату, и то, что её, Милку, после случившегося непременно скоро, даже срочно, возвратят в город. И значит, ей придется целыми днями сидеть на последней парте у мамы на уроках, среди скучных десятиклассников, и рисовать дурацкие домики и цветочки возле них... А тут еще с самого утра проснулась в ней со страшной силой страсть к целительству. И Милка тайком, урывками, а потом и открыто, почти демонстративно, переслушивала и перещупывала всю дворовую живность. Стараясь делать точь-в-точь, как делал Шамурат, она упорно пристраивалась на скамеечку возле коровы. И пыталась пошептать ей в ухо что-нибудь обязательно приятное... Но глупая корова лечиться отказывалась и, в конце концов, прилично двинула ногой по шаткой скамейке, усадив тем новоиспечённого целителя в свежую, пахучую жижу. Свинья продемонстрировала солидарность с коровой и переполошила всех родственников неистовым визгом. Из свиношника Милка вылезла окончательно грязная, уставшая и расстроенная – под неодобрительные взгляды и охи собравшихся. «Графьев бы твоих сюда!» – свирепо вращала глазами и раздувала ноздри тетка Нюрка... От неудачной смеси запахов, звуков и эмоций Милку стошнило.

\* \* \*

*«И впрямь что-то подташнивает... Неужели начинает укачивать? Надо отдохнуть от текстов. Расслабиться. Глубоко подышать...»*

Только сейчас пассажирка заметила, как оторвался от ее записной книжки и юркнул в противоположную сторону липкий взгляд профессора.

*«Надо быть повнимательнее... Как там у Высоцкого: «Я не люблю, когда чужой читает письма, заглядывая мне через плечо...» Так ли дословно? Но смысл тот же...»*

– Что-то пишете? По типу мемуаров? – профессор зачем-то почувствовал необходимость признать за собой грешок...

– Все мы пишем: кто в уме, кто на бумаге... Все пытаемся, наверно, убежать от одиночества.

– Но одиночество есть мать совершенства! «О том мы пишем часто так роскошно, что нам желанно в нас, но... невозможно», – козырнул рифмовкой профессор, не дождавшись её ответа. Писательская тема его явно воодушевляла.

– Люди в сути своей существа робкие. Им нужны потрясения, чтобы они обратились к творчеству. Показательнее всего писательский труд – поистине литературная исповедь! Не правда ли? На страницах ваша рука или, как говорится, «мысль ослабела, сила слов чужих идет на помощь...»?

– Ну что вы.

«Какой монарх с Творцом сравнится? Владычество безмерно у Творца!» – попыталась поддержать его запал пассажирка. Но ей внезапно стало оскотинно-скучно.

– Смотрите, не рискуйте: даже мысленное возвращение к прошлому отнимает пятьдесят процентов нашей теперешней жизненной энергии, – нешутливо предостерег профессор.

Пока он старался непринуждённо зевнуть, в селекторе брякнуло, и голос стюардессы, вначале на английском, а затем на кровном языке известил о том, что для желающих вскоре будет возможность перекусить. Первый вариант обращения был лишь атрибутикой сервиса, так как в их салоне летели исключительно «свои». (Пассажирка невольно изучила состав летящих их рейсом, так как первой – служебной машиной – была доставлена на борт по причине своего «слабоходячего», как она говорила, состояния). Лишь одна парочка, по ощущениям пассажирки, не вписывалась в весёлый хор соотечественников: парень говорил с каким-то прибалтийским акцентом, а девица театрално претендовала на лёгкое поведение, но заметно перевешивала интеллект... На предложение стюардессы профессор, как пионер, внутренне ответил «Всегда готов!» и спешно раскрыл столик. Его обнажённая эмоция рассмешила пассажирку. Она целенаправленно повернула голову назад, как бы отыскивая взглядом кого-то (пусть хоть ту самую парочку в салоне)... Рассмотреть удалось лишь белёсый чуб парня: девушка, скорее всего, дремала на его плече. Зато маневр удался: профессор не понял, кому адресована её «вдруг веселющая» улыбка.

– Ну, вот и Евгения Петровна просыпается под всеобщее оживление. Так, Женечка? А с вами мы до сих пор не познакомились... Непорядок: чай, застолье грядёт, – он резко повернулся к пассажирке: – Валерием Ивановичем меня величают. А у вас, к вашему утонченно-хрупкому овалу лица, и имя должно быть редким. Угадал?

– Может быть... Я – Милана Сергеевна. Не обязательно любить и жаловать, – сухо отпартовала пассажирка: этот тип её начинал «доставать». Может быть, тем, что невольно посягнул оказаться ещё и тёзкой её единственного на всем белом свете аполлоноподобного Валерки?

Правда, когда она встретила своего Валерку, и, как оказалось, сразу полюбила, это был ещё далеко не Аполлон, а трехлетний мальчишка на соседнем горшке в их детском саду номер пять. Потом они опять сидели рядом: целых четыре года за одной партией. После восьмого класса Валера почему-то ушёл в техникум. По окончании своего железнодорожного техникума он первый раз предложил Милане выйти за него замуж. Второй раз ей было предложено то же самое уже после его возвращения из армии. Но Милана собиралась как «краснодипломница» после окончания медучилища поступать в медицинский институт. Увы: ей было совсем не до свадьбы и тому подобного... Обиженный Валерка демонстративно уехал в Ташкент, где вскоре женился. Затем он учился очно в строительном и заочно – в художественной академии. Ни то, ни другое не закончил: посадили на восемь лет...

Произошло следующее.

Чуть примирившаяся с тем, что «значит – не судьба...», Милана вдруг получила письмо от Валеркиной матери. Оно было переполнено горем и уверениями, что Милана была и остаётся единственной любимой девушкой её сына (с женой у него теперь, оказывается, разрыв). И что только она, Милана, может дожидаться возвращения её сына и составить счастье всей его жизни (раньше Клавдия Марковна была прямо противоположного мнения). В конце письма, совсем кратко, Клавдия Марковна описала причину осуждения Валерика. Он был подозрительно во всем виноват: драка со сверстниками, резкий толчок, падение пострадавшего классическим вариантом: с ударом о бордюр и скоропостижной смертью от кровоизлияния в мозг... Боль от ощущения, что мать в очередной раз в чём-то предала его (а предавала она Валерика частенько: в любимчиках у неё всегда ходил



младший сынок); и подспудная вера в Валеркину невиновность; и обида за его наивность; и страх потери, и какая-то ещё надежда – всё это «заглянуло» тогда на миг, а задержалось пожизненно в некрепком сердце Миланы...

Милана Сергеевна отвернулась к иллюминатору, ощущая, как набухают слезами её глаза. Облака стали заметно темнее и плотнее прижимались друг к другу, пряча землю. Казалось, самолёту на спуске будет невероятно трудно пробить их толстое равнодушие к судьбе оторванных от самого дорогого...

– Не создавайте, барышня, аварийную мыслеформу. Тем беспокоите себя и окружающих, – не кто иной, как Евгения Петровна, смотрела на неё с прицелом в упор.

*«Ага, поймалась: это – телепатия. Выкручивайся, дорогуша. Сама позволила...»*

– Сдаюсь: попали в точку! На языке оккультизма это именуется телепатией? Вернее, слово-то латинских корней или греческих? – растерянно отреагировала Милана Сергеевна. Она попыталась отвести от себя как можно скорее внимание сразу обоих её спутников. У неё не было ни времени, ни желания хоть чем-то выдать себя.

*«На первых порах всё кажется чудотворством. А когда покрутишься сам да среди подобных себе – утомляет, как обычная работа. У кого-то более выражено ясновидение, у кого-то яснослышание, кто-то преуспел в телекинезе, кто-то «свихивается» на левитации... А в целом – ничего сверхъестественного: «дрессировка» психической энергии на разных уровнях сознания...»*

*Что-то на мой ответ-вопрос завёл только Валерий Иванович. Сейчас он нас познакомит со всеми премудростями этимологии... Может быть, Евгения Петровна хоть ненадолго переключится на еду? Она как-то не на шутку настраивается на меня. По-видимому, собирается выполнять обещание «разобраться» с моей бледностью... Еда тут как нельзя кстати, иначе Евгения Петровна, невольно конечно, будет «кушать» меня: у начинающих со страховкой и контролем энергообмена очень туго... Забавная дамочка. И что-то может!*

*Ладно, вернёмся к нашим баранам. Мне кажется, в своей книге я поднимаю непосильный пласт тем... Впрочем, как пишет Ян Парандовский: «Искусство рождается из сопротивления материала, которое нужно преодолевать...».*

## Валерка

Разве могла Милана спокойно сидеть на занятиях в доблестном институте после получения таких известий о Валере? Она была просто неспособна воспринимать лекции, даже величайшего биохимика нашей современности – Натальи Иосифовны Ямбовской, тогда как её ненаглядный сейчас томился в стенах тёмной, вонючей «предварилочки». Назавтра она уже сдавала четыреста граммов своей крови, которую, правда, не хотели брать из-за низкого содержания гемоглобина. Но Милана с высоты знаний студентки третьего курса умолила доктора со станции переливания крови взять её кровь хотя бы на сыворотку... Полученная справка давала ей три дня полной свободы от института.

Самолет ощущал её как живой... С верностью конька-горбунка он мчал её на помощь к Валере! И вот Милана, ещё «качающаяся» после сдачи крови, битый час торчит у тюремного КПП в ожидании знакомого фельдшера Федора Рябикова.

Четыре года назад они вместе с Федором закончили медучилище и даже недолго отработали на «скорой». Затем Милана уехала поступать, а Федор обзавёлся семьёй и подрабатывал медиком в зоне. Именно этот Федор, не «ломаясь», и пообещал Милане «устроить свиданку по благу».

Передачу Валерке она собрала хорошую: в обход пустых магазинных прилавков – по знакомству. Ей достали и палку копченой колбасы, и сыр, и любимые Валеркины «Трюфели», и два блока сигарет «Опал». Федор опаздывал с пересменки на «скорой». И на вопрос дежурного, переводимый, как «что она здесь торчит?», Милана вынуждена была оставить передачу на КПП (где её почти ополовинили, как выяснилось позже). Наконец, Федор появился у одной из тюремных стен, шагающий на пару с милиционером. Они вместе неслабо «напали» на Милану за неверность данной им информации... Из всего стало ясно, что её милый уже месяц, как осужден и благополучно «тянет срок на зоне». И что быть ему тут, в лучшем случае, шесть лет плюс два года «химии».

Милана протянула в маленькое окошко свой паспорт и только что вымученное разрешение на свидание. Надо было ещё «пережить» массу железных дверей, замков, лай собак и, наконец, двор, в который они вошли вместе с «блатным милиционером». Валеру она узнала бы сразу: среди мужчин, работающих во дворе зоны, подобного – с его ростом и фигурой – просто быть не могло. Все во дворе были какие-то серо-черные, коротко стриженные, эмоционально обесточенные и оттого казались совсем обезличенными.

«Валера не может быть таким...» – думала она, пока не налетела на него, вернее, почти споткнулась об него... Он возник рядом, стоял как вкопанный и пах чем-то чужим... Их отвели в какую-то комнату со скамьями у стен и оставили вдвоем на полчаса. Вначале Валера молчал и только прижимал её холодно-влажные ладони к своим горячим щекам. Потом он без передышки говорил, и, как ей казалось, о чём попало: о школе, о том, что ушёл после восьмого класса, чтобы избежать позора и насмешек. Ведь, если она помнит, он несколько раз отсутствовал на занятиях по одной, две недели... И это потому, что какая-то тридцатилетняя женщина держала его у себя дома под замком. Совращала или обучала премудростям секса, он до сих пор не разобрался, но, кажется, любила, так как родила от него девочку... И что, если бы он не ушёл из школы, то в конце девятого класса все бы узнали, что он – отец и засмеяли бы... Потом Валера снова предлагал ей замуж за него... и так до бесконечности, об одном... На её просьбу рассказать подробности его «дела» он не реагировал вообще. Вёл себя более чем странно: то возбуждался не в меру, то основательно «тормозил».

– Успокойся, Валерочка, – Милана крепко обняла его, оборвав тем его словесный поток. Он тут же, как-то по-детски склонился на её колени и замер. Она почувствовала тяжесть его головы и широких плеч. Приятную тяжесть... Милана гладила короткие волосёнки на его голове, строго «по шерсти», боясь причинить ему какой-либо дополнительный дискомфорт. Она напряженно думала не о его признаниях – об этом лучше потом, когда-нибудь или никогда вообще... Беспокоило, что она не сможет или не успеет достучаться до него. Не будет знать главного: чем и в чём ему помочь? Сейчас. Срочно! И вдруг (подобное с ней случалось только в раннем детстве) она отчетливо «увидела» Валерку и его младшего братишку Витю в какой-то драке. Было почти темно. Валерка вначале бежал за кем-то, потом возвращался обратно к брату, а Витя жестоко колотил невысокого кудрявого паренька, пока тот

не упал на тротуар и не перестал сопротивляться. И его, уже лежащего, Витя продолжал пинать, пока не подospel Валерка. На затылке у парня видна была кровь!

– Валерочка! Ты же не виноват, Валерочка!! Это твой брат убил человека. Брат твой!! А ты? Ты...

– Кто тебе сказал чушь такую? – он взвыл, как подбитый зверь, подскочив и развернувшись над ней во всю свою высоту. – С чего взяла? Замолчи! Уходи отсюда! Явилась... Кто тебя просил?! – теперь он не казался ей одиноким... Он вдруг отчетливо стал частью той серо-черной мужской массы, которая столарничала во дворе зоны. Милану мгновенно сковали эмоции: обида и страх, горечь и отчаяние, замешанные на его и её боли одновременно... Казалось, это был ещё он и уже не он, её Валерка... Он словно таял: тело его теряло твердость линий, очертаний... истончалось и уменьшалось... Лицо искажалось... Утешало только одно: теперь она знала главное – правду! Его правду.

Когда Милана, наконец, решила нажать кнопку дверного звонка Валеркиной квартиры, по ту сторону порога возникла сама Клавдия Марковна с внучкой на руках.

– А это наша Алёнушка, жена Валерика, растерянно и вместе с тем наигранно-ласково представила она Милане длинноногую, большеглазую блондинку, чинно шествующую в кухню с горой посуды на цветастом подносе.

Дальнейшие объяснения были излишними...

Валера приехал к ней спустя шесть лет. После освобождения из зоны ему, как и предполагалось, оставалось до конца срока два года «химии». Он рискнул сорваться к ней – в Алма-Ату, вопреки запретам «соответствующих органов». Приехал, когда она уже успела побывать замужем и теперь временно жила в Алма-Ате, учась в аспирантуре; когда она уже почти полюбила другого и, как все счастливые мамы, отслеживала первые шаги своего малыша... И снова Валера предлагал Милане соединить их судьбы. И качал её смешливого мальчугана на своих длинных руках, как на качелях. И, наконец, «раскололся», что Милана тогда была права: «увидела» всё, как было на самом деле. И что именно мама Валеры слёзно упросила старшего взять на себя расплату за грех младшего, который не выдержал бы всех тягот и лишений (по слабости духа и здоровья). А главное – могла расстроиться свадьба Витюши с очень престижной невестой Ниночкой Томиной – племянницей самого секретаря горкома партии. А Валера «там» мог пристроиться художником (что он и сделал): «везде есть место хорошим людям. В тюрьме тоже»... Ладно, Бог ей судья, его мамашке... В этот «сворованный» свой приезд Валерка навязчиво обзывал Милану «ведьмой». Как врач, она понимала, что так проявляется его страх перед её способностями ясновидения; его непреодолимый страх вновь оказаться перед ней, как на ладони; его обоснованная неуверенность в человеческой порядочности вообще. Нужно было только время. Много времени! Тогда его у них не было... Обманчиво внешне спокойный днём, ночью Валера метался, сильно скрипел зубами и шарил руками по постели в поисках Миланы. Находил и снова терял её... А в обед, когда они с сынишкой вернулись из магазина, он потерялся сам. Надолго потерялся, на целых семь лет! В тот день ни вокзал, ни аэропорт не выдали его ей...

На столике у кровати Валерка оставил наскоро выполненный натюрморт (яблоко, горсть вишен и залитая ослепительным солнцем ветка сирени с почти полностью опавшими с неё крестиками цветков).

## Способности

– Спасибо, мне только минеральной воды, если позволите, – Милана Сергеевна ответно улыбнулась приятной стюардессе.

– Нет уж, нет! – Евгения Петровна протянула руку за Миланиной порцией съестного. – Мы уговорим соседку поесть: ей это сейчас край как необходимо. Уговорим! Спасибо большое.

Стюардесса с рейса «Нью-Йорк – Токио» могла бы, наверно, удивиться столь фривольной выходке пассажирки. Но стюардессе с любого из рейсов по воздушным просторам бывшего СССР удивляться подобному даже в голову не придёт. И это, как вы понимаете, аксиома!

Евгения Петровна, конечно, поубеждала Милану Сергеевну поесть что-нибудь в миниатюрных броских упаковочках для пищевых продуктов с пометкой Аэрофлота. Но убеждала недолго и не совсем убедительно: аппетит её полностью соответствовал её массе. А непосредственность, с которой она всё выполняла, почему-то всё больше нравилась Милане Сергеевне, уставшей в свое время от чопорного этикета приёмов с претензиями на светские.

Первый раз её, аспирантку, пригласили вместе с её научным руководителем на «пышный» приём, организованный Минздравом одной из тогдашних союзных республик. Повод был обычный: подписание какого-то договора (на международном уровне) по взаимопоставкам каких-то лекарственных средств и спецмедаппаратуры нового поколения. В разгар веселья высокопоставленные «совковцы» без тени стеснения вытащили прямо из-за стола в один из своих шикарных кабинетов молоденькую аспирантку с только что официально подтвержденными (по их каналам) тонкочувственными способностями – выявлять органную патологию бесконтактным путём. И Милане пришлось почти до полуночи обслуживать подвыпившую очередь полураздетых «боссов», которые с удовольствием подставляли свои пожёванные тела – пусть даже на расстоянии полуметра – под руки привлекательной молодой «колдуньи» – для распознавания ею «состояния здоровья» их потрохов. После этой стахановской работёнки (под руководством – в тот день потерянного для неё навсегда – её «научника») Милана набирала свой изначальный энергопотенциал целую неделю: усиленным питанием, доступным отдыхом и разработанным ею же психотренингом. Позже в её жизни были приемы, организованные французами, немцами, англичанами, даже китайцами и индусами, но такого «уважительного» отношения к своим способностям она больше не испытывала. И слава Богу!

*«Итак, пора вернуться к моей будущей книге. О детстве героини, думаю, материала достаточно. Отрочество ничем особенным не памятно. Да и записей толковых нет. Юность – окончание школы, истинная страсть пока только к чужим стихам (свои стихи слагала почти с шести лет, жаль, тексты не сохранились...). Училище. Может быть, как она реанимировала младенца? Об этом стоит: факт интересный. Да объяснить происшедшее тогда – без углубления в сухие научные толкования и без риска утомить ими читателя – вряд ли сумею: ну, заметила (вдруг посиневшего) ребёнка в одной из палат детской больницы, где были на медсестринской практике. Ну, бросилась к нему (никого рядом не было). Звала на помощь... Обычные реанимационные мероприятия эффекта не давали и помощь от коллег не поспевала... Отчаянно прижимала младенца к своей груди с*

*желанием всё ему отдать: часть себя, своего тепла, дыхания, жизни своей!.. И вдруг физически ощутила, как нечто, еле уловимое, прямо перетекло из её груди в тельце малютки (тоже где-то в область груди или чуть выше пупка его). Он задышал, порозовел, задвигался и запищал, наконец!.. Радость её была безмерная, а сил радоваться – никаких... Её будто кто ополовинил... и только рядом с малышом она ощущала себя целостно и комфортно. Тайная привязанность сохранялась с месяц, когда она не могла не дышать, не жить спокойно, не видя «свою половинку». Бестолковая мамаша младенца так ничего и не узнала, не заметила... Когда через месяц добровольные дежурства моей героини в детском отделении все-таки закончились, она рискнула рассказать о случившемся своей бесподобной подруге Тане. Кстати, вот о Тане есть дневниковые записи, довольно занятно высвечивающие мою героиню. Стоит по ним пробежаться, хоть мельком...»*

\* \* \*

Вчера – т.е. 15 апреля 1976 года – мы отмечали окончание училища своим кружком, на квартире у одной девчонки. Я впервые пила водку. С двух глотков стала пьяной (остальные – хоть бы что...). У меня вообще чувствительность на всё чрезмерно обострена (запахи, вкусы, звуки и т.д.). А тут алкоголь... противно! Хочу запечатлеть в дневнике основные события последних трех лет. Первое – стала фельдшером, второе – подружилась с Таней, третье – выйду замуж за Валеру или поеду поступать в институт. О первом писать можно много-премного. Перейду сразу ко второму.

## О Тане

Ее я вычислила еще на первосентябрьской линейке: мы были схожи ростом, длиной и цветом волос и какой-то внутренней задиристостью. Только глаза у неё были голубовато-серые. Таня оказалась из довольно зажиточной семьи и, на удивление, абсолютно не обременена родительским контролем. Она с воодушевлением приняла нашу дружбу. И в довольно короткие сроки «осовременила» меня преимущественно на свой манер: мы слегка покуривали, наводили всяческий макияж, регулярно ходили на танцы во Дворец молодежи или на открытую танцплощадку и примерно раз в месяц пили кофе с коньяком. Случалось, веселились и по-хулигански: обращались к пассажирам в городском транспорте с просьбой предъявить их проездные билетки, изображая из себя неожиданных контролёров; здоровались с незнакомыми парнями на улице, попутно назначая им заведомо неосуществимые свидания, с «неинтересными» партнёрами на танцах, по договоренности, одновременно «западали хромотой» на одноименные ноги. После чего резво «смывались», чтобы не быть побитыми... Опасность последнего действия (учитывая реакцию со стороны местных кавалеров) становилась более чем реальной, когда на танцах появлялись курсанты арабы – вертолетчики (их воинская часть находилась в районе городского базара). Наши парни ревностно блюли, чтобы ни одна девчонка не посмела танцевать с «чёрными». Но мы «смели» по принципу запретного плода – уж больно было интересно определить разницу прикосновения к чёрной коже... Да и жалели их, дискриминированных, готовых просто постоять рядом с девушкой за большие деньги. Русские девчонки жалостливые вообще, а некоторые даже заболели на этой жалостливой почве

всерьёз и приумножали численность населения нашего южного городка разноцветными младенцами. А еще мы снимали шляпы с рассеявшихся в транспорте молодых мужчин, чтобы, следуя взглядом за своей шляпой, они имели возможность заметить рядом стоящих пожилых женщин, беременных и мамаш с детишками на руках... Но «у Тани есть чему и хорошему поучиться», – как говорит моя мама. Людей она любит необыкновенно! Виртуозно помогает всем: и прохожим (перевести старца через дорогу, сумку тяжёлую донести, ребёнка в переполненном автобусе подержать на руках, «чтобы не придавили»), соседей полечить от всего, чем только можно заболеть... Весёлая, остроумная обаяшка – она всегда на виду. А в училище мы благодаря ей были на виду вместе: то хирург с занятий выпроводит за маникюр, то халаты медицинские синькой разукрасим, выделив манжеты, воротнички и карманы, а то... Словом, директор училища нас с ней ценила за неповторимость жанров нарушения дисциплины. И терпела исключительно за хорошую учёбу (мы умудрялись совмещать в себе многие несовместимые качества).

Так вот: о Тане. Месяц назад она задумала умирать. Нет, Таня задумала криминальный аборт, а дальше получилось, скорее всего, как она не задумывала...

В тот памятный денёк – ещё за месяц перед «госами» – мы с ней договорились встретиться, чтобы переписать у одного отличника вопросы к первому экзамену. Но Таня не пришла. Я ждала её в парке на скамейке у хилого фонтанчика и ощущала себя как на иголках: почти во всех проходящих мимо девушках навязчиво находила какое-либо сходство с Таней. Сердце моё при этом непонятно от чего замирало и «ухало», рассыпая по сосудам горячие струйки крови. Тревога во мне пускала корни и заметно разрасталась... Наконец, терпение лопнуло... Я выскочила на обочину дороги и проголосовала. «Частник» старательно-быстро довёз меня к дому Таниных родителей, но я всё равно подгоняла его с непристойной себе занудностью. Остановились. Высокий зелёный забор усадьбы был, как никогда, нем и неприступен. Звонок глух. Только отвязанный пёс метался по двору, попеременно рыча и поскуливая (пса отпускали, лишь когда дома никого не было). Водитель нервничал, «стрясая» с меня деньги за обратную дорогу. Я обещала «золотые горы», только бы удержать машину, а для чего – ещё не знала...

– Да нет же дома никого! Что биться без толку? – раздражался водитель.

– Наверно, нет... – пыталась сдаваться я. И всякий раз при этом мой мысленный голос менял родную мою интонацию на Танину, произнося жалобно: «Я дома. Спаси! Я умираю!!». Это было словно наваждение...

Вряд ли «частник» поверил своим глазам, когда я, неожиданно даже для себя, вдруг перемахнула через забор в полтора раза выше меня «ростом». Калитка оказалась на засове, а дверь веранды на крючке. Крючок мы расшатали и выдрали «с мясом» («частник» помогал). Влетели в дом. Бледно-синюшная Таня лежала, раскинувшись, на диване. Рядом с ней покоились: коробки с ампулами, шприцы, иглы (последние прилично испачканные кровью). Самоистязание, по-видимому, было длительным. На безжизненно свисающей руке болтался развязанный жгут, вздрагивающий при редких вздохах мучительницы-мученицы. И ради этого стоило учиться в меде?!

Может быть, я растерялась, может – испугалась? Не помню. Помню, что опять «включился» во мне кто-то незнакомо-знающий и неожиданно-настойчивый... Оставалось только достойно исполнять Его распоряжения... Мы – все трое – спасали мою Таню!

Пока Таня «очухивалась» в реанимации под капельницами, я, переодевшись, как положено, сидела в гинекологическом отделении, ожидая её перевода для

дальнейших акушерских манипуляций... Задним числом и я была умна, состыковав события, связанные с Таниной ложью по поводу её тошноты, изменившихся вкусов в еде и одежде... Встало на место и недавнее неприсоединение Тани к срочной сдаче «студенческой крови» для детишек, попавших в автомобильную катастрофу. Её отказ тогда удивил даже столы в нашей классной комнате...

А к вечеру того же дня мы с Таней вместе «рожали» её пятимесячный плод. У нас одинаково болели животы и вымирали эмоции. И мы вместе замаливали грехи, только кто-какие... И я оторопело смотрела на, оказывается, малознакомую мне женщину, человека, Таню и понимала, что теперь надолго в этом мире осиротела душой...

Ладно, хватит тоски: «...это было недавно – это было давно», – как поет моя мама популярную песню своей молодости.

Теперь у нас с Таней другая песня: Таня не желает поступать в институт, но желает вступить в брак со своим соседом – отцом её несостоявшегося ребёнка. И так бывает!.. А я жду возвращения из армии Валеры. Он не хочет, чтобы я училась дальше и, наконец, «стала умной», он «видит» меня лишь своей жёнущкой под крылышком его сердобольной матушки. Нет, я, конечно же, люблю Валеру, но всегда зеваю от мысли, что моя жизнь начнет плесневеть на третьем этаже в их квартире номер десять. Наверно, я инфантильная для быта.

*«Господи, а знаки препинания понаставлены, как попало... Надо исправлять. А может, мне, как в свое время делал Аполлинер: писать вообще без знаков препинания? И грамотнее будет смотреться, и трактовать можно, кому как понравится... Хм...»*

\* \* \*

Сегодня 20 апреля 1987 года. И опять события: «выплыла» Татьяна номер два (я их поменяла номерами, а вообще, Татьяну Вадимовну Цареву – мою музыкальную «педагогиню» – я узнала, когда мне было ещё только четырнадцать лет). Мир тесен: сегодня, после замечательного концерта Святослава Рихтера (да-да: такое событие в нашем городе!), я неожиданно встретила её на автобусной остановке. Вот опять вру... Совсем не неожиданно: была мысль, что весь музыкальный цвет соберётся в театре... Словом, надеялась, что пронесёт, и ожидала, что не пронесёт (так будет честнее). Оставила на волю случая... Случилось... Она меня узнала сразу и смотрела как-то виновато (а, может быть, мне хотелось, чтобы она смотрела именно так). Минуло более десяти лет, как я брала у неё частные уроки по *фоно*, намереваясь поступить в музыкальное училище.

Впрочем, маленькая предыстория.

Центральная музыкальная школа находилась через дорогу от нашего дома, почти напротив. Это было одноэтажное старого покрова здание, вытянутое вглубь двора, что позволяло прохожим не слышать игру начинающих исполнителей и тем самым сохранить девственность своего музыкального слуха. На прохожую часть выходили только окна концертного зала, где проходили экзамены и генеральные репетиции концертов. В этом великолепном зале, на холсте во всю стену, стоял по стойке «Смирно!» «масляный» П.И. Чайковский и с завистью смотрел на новёхонький белый рояль «маде ин не наше». Окна зала часто и бесстрашно открывались, что позволяло при попутном ветерке прямо с нашего двора расслышать кучу правильных аккордов и даже отрывки некоторых мелодий. Я заканчивала учебу по

классу фортепиано у одной талантливой, но жутко толстой и оттого, наверно, ленивой гречанки. Училась я вяло. Пока не появилась в стенах нашего музыкального заведения таинственная личность – новый преподаватель, выпускница Ленинградской консерватории – Татьяна Вадимовна Царева. Стройная, даже слегка костлявая, она одевалась чересчур экстравагантно для нашего провинциального городка. Кожа на одной половине её лица была обезображена ожогом, но другая половина лица при этом была необычайно утонченной и правильно-красивой. По фамилии ученики ее прозывали Царица, а по характеру она, скорее, напоминала прекрасную дьяволицу, что ей, однако, не помешало очаровать все население музыкальной школы номер два. Уровень её владения инструментом был доселе невиданным (вернее, неслышанным) в наших местах. Глаза настенного Чайковского просто сияли, когда она подходила к роялю. Инструмент ей, как и всем нам, явно пришелся по душе, и частыми вечерами она засиживалась в опустевшей школе (вернее, заигрывалась на рояле) до самого темна. Выследив свет в окне зала, я, невзирая на погоду, наскоро одевшись, прилипла своими музыкальными ушами к заветным окошкам. Стояла, подпирая спиной стенку и пропуская сквозь себя «времена и пространства». А затем, когда свет в зале всё-таки гас, я так же незаметно возвращалась домой с приятной тяжестью в ногах и совершенной легкостью в сердце.

Однажды, слушая в её исполнении фуги Баха, я (не как завороженная, а скорее, как сомнамбул), сама не ведая того, решительно распахнула двери концертного зала и без приглашения села на крайний стул в первом ряду. Помню, что Татьяна Вадимовна почему-то не удивилась мне. И я ещё целый месяц наслаждалась прослушиванием её консерваторской программы. А когда, в ответ на просьбу Татьяны Вадимовны порадовать теперь её и моей игрой, я все-таки присела за белоснежный рояль, у П.И. Чайковского впоследствии надолго сохранилось выражение лица, с которым нечаянно проглатывают хину... Татьяну Вадимовну моя игра тоже не воодушевила и она предложила мне свои частные уроки, пообещав при этом, что обязательно сделает из меня человека. Спустя год я играла лучше всех выпускников нашей музыкальной школы. Но случилась беда... Когда моя вступительная программа была уже «на мази», меня нечаянно посетил композиторство. И я рискнула обрадовать Татьяну Вадимовну своим первым «шедевром» – пьесой «Слепой дождик». Даже глухому было бы слышно, как шлёпают струи дождя и светит солнышко, и покачиваются полевые тюльпаны, теряя равновесие от попеременной тяжести своих лепестков... Как лихо моросят мои пальцы по белым и чёрным клавишам! Как смолкает дождь, оставляя влажный след на моих взволнованных ладонях...

Татьяна Вадимовна слушала со слишком тихим восторгом. Затем помолчала для пущей важности момента. Почтенно осведомилась, чье это произведение. И попросила впредь не портить её дорогостоящий инструмент.

В тот день я умирала впервые (и не как позже, вместе с Таней), а умирала в одиночку – мучительно долго и бестолково, попутно «зарывая» в себе композиторские зачатки...

А сегодня я её встретила. И ничего: такая же белокурая и обожжённо-загадочная (похоже, этот термический ожог родом ещё из детства Татьяны Вадимовны).

– Как вы? Где? Закончили училище и консерваторию? Где устроились?

– Работаю кардиологом в областной больнице, – как можно безразличнее ответила я. – Милости прошу, если есть проблемы.



Мой автобус подоспел вовремя. Татьяна Вадимовна ещё успела пригласить меня к ней: в нашу «музыкалку», в кабинет завуча и непременно назавтра, и обязательно к шести. Я ей постаралась ничего не пообещать. Автобус тронулся.

«Такой талантище и надо же – врач...» – прочитала я по её губам недоумение, с которым она продолжила беседу со своим спутником (скорее всего, мужем). *А теперь о Валере...*

\* \* \*

– Вы, Милана Сергеевна, музыкант? Но не профессионал, так? Я уловила «вашу музыку», – Евгения Петровна добросовестно разделалась с едой, освободив тем самым свой речевой аппарат для говорения. – Ваша бледность – признак трудолюбия в кабинетах. Воздух нужен, голубушка, воздух! Нет, у вас ещё какая-то хворь есть. И серьёзная... А хотите, я вас порадую. Валерий Иванович опять везёт целую сумку кукол-сувениров, которые я заряжаю для клиентов на исполнения их желаний, делаю заговоры... Правда, куклы набиты какими-то опилками и шиты из ткани. Но работа ручная и очень схожи со мной: такие же толстенькие и личико моё – точь-в-точь. Могу задарить вам одну, из крупненьких. Только вы погодите уходить, когда в Москве будем получать багаж. У нас сумка заметная, в клеточку. Вот только спросим разрешения. – Евгения Петровна повернулась к профессору. Профессор напрягся. Но Евгения Петровна оживлённо продолжала:

– Они мне запрещают маленькие куклы дарить, всё по своим блатным да знакомым разносят. Будто маленькие получше и дороже обходятся. Так, Валерий Иванович? Задарим хорошему человеку куклу, а я что-нибудь на здоровье наговорю. А, может, из маленьких? Они же у нас золотые? – Её раззадоривало нарастающее недовольство и раздражение профессора.

– А вы гляньте внутрь, может, они и вправду золотые, ваши куколки, – вклинилась Милана Сергеевна, лишь бы поддержать разговор.

Профессор, по-видимому, «наелся» подколов по поводу этих сувениров: но после предложения Миланы Сергеевны заглянуть внутрь их кукол он заметно напрягся, его лоб стал мокрым от пота. Полез в карман за носовым платком.

– Ладно, – смилостивилась Евгения Петровна. – Уж и шутить запретно, такие они у нас нежно-нервные. – Она протянула свою широкую ладонь в знак примирения, но Валерий Иванович не заметил её протянутой ладони. Он словно застыл в своих мыслях. Евгения Петровна явно тормозила на смене темы:

– Хотите, потренируюсь почитать ваши мысли, а, Валерий Иванович? А, может, и ваши, Милана Сергеевна?

*«Всё: это теперь надолго... Чёрт бы побрал этих «экстриков» с их, то бишь нашей, бесконечной страстью к самоутверждению! Ещё какие-то куклы... Только с мыслями соберёшься... Такими темпами ничего не успею... И уйти не уйдешь, и «отшить» такую активно-пытливую труда не оберёшься... Боже, а что у нее торчит у основания шеи? Это катетер в подключичке? Точно. Запах реанимационной палаты. Аппарат искусственной вентиляции лёгких. Бледное безжизненное лицо Евгении Петровны... Она... умирает?!»*

Милана Сергеевна нервным рывком «усатила» свой взгляд на Евгению Петровну.

– Что с вами, дорогуша? Нечто я зверь какой? Вы меня прямо пугаете... – забеспокоилась Евгения Петровна. – Может, вам мерещится что?

– Да... Нет, всё в порядке. Извините...

*«То-то и оно, что мерещится... или не мерещится... Надоело! Как мне надоели эти неуправляемые подключения к видениям чьих-то экстримов. Своих выше крыши! Опять голова раскалывается... Надо как-то отключиться. Создать иную психическую доминанту... Тихонько «уйти» от этого кошмара... Только куда уйдёшь... от себя? Во что же «влипнет» эта добродушная толстушка? Жалко будет, если не ошибаюсь... Если всё будет именно так...»*

Милана Сергеевна прикрыла глаза, размеренно-спокойно приказывая себе: «Всё: расслабилась, успокоилась... Ем лимон... Вот он: сочный... жёлтая шероховатая кожа с выпуклостями... Аромат! Приятно-кислый вкус... Ещё отрезаю дольку... Сок стекает по лезвию ножа на тарелочку... Нож...»

*«Точно ли нож? Что-то тонкое, острое... ударом в область печени. Мужчины щупленький, невзрачный... кого-то очень напоминает... Огромные капли пота на лице... Падает! Помещение маленькое, тесное, похожее на туалетную комнату. Какой-то гул. Неужели это в самолёте? Летящем самолёте... На мужчине серый пиджак, из кармана торчит край носового платка... Знакомого носового платка! Да-да! Это он! Именно он – профессор!!*

*Переключилась... Будь я неладна! Ну, все: пошла на «раскачку»! Видение повторяется с уточнением: мужская рука... тонкие длинные пальцы... Ловко выдёргивает из профессорского кармана носовой платок, оборачивает рукоятку заточки. Это ещё до удара... Затем снова эта рука достаёт из внутреннего кармана пиджака убитого посадочный талон... на получение багажа. Чужого багажа.*

*Ну, что опять? Успокойся, Мила! Что тебя «несёт»? Была настроена на творчество... Надо оставить всё как есть, не накручивать. Подсознание не любит давления... Если это серьёзно, всплывёт ещё и ещё раз. Всему своё время... Подумай хоть раз о себе: у тебя нервно-мышечное заболевание, которое не лечится во всём мире. А сердце – это тоже мышца, и оно сдаёт в первую очередь. Мало тебе постоянных аритмий. Ещё не хватало пароксизмов... Любые нервно-физические перегрузки смертельно опасны!! Ещё пережить две посадки и один взлёт! Давай, давай, переключайся. Скоро Алма-Ата. А там и Москва! Валера готовится встречать у трапа. Как раз дежурит в Домодедове Вовка Санин: одноглашка – капитан милиции. А по учёбе – отпетый троечник был...*

*Ладно, смотри в конспекты. Что там? Героиня твоя: институт, стройотряд... В этих новеллах она под именем Анна. Имя это – мелочи. Да, мелочи... Хм... Имя так просто не даётся и не отнимается!.. Имя – это звуковая, чувствительная, эмоциональная вибрация – позывные, с которыми человек блуждает во Вселенной. Оно ещё как способно влиять на события в жизни человека: как у той моей пациентки, что многократно руку себе ломала, пока родители не прекратили уродовать её имя: Катя – «котенок». Примеров – куча! Но мне-то сейчас главное – набрать побольше материала (чтобы было, что отсеивать «с барского плеча», когда дело дойдет до чистового варианта). И чтобы никакой скуки в текстах. Сейчас о любви бы. Ау, любовь, ау, подвиги! Где вы в судьбе моей героини?!*

*Слава Богу, кажется, переключилась...»*

## Помойка

Стройотряд, в который Анна попала врачом, она «вытянула» себе сама – по честному жребью. Это был глухой, забытый богом и людьми казахско-немецкий посёлок, находящийся в Кустанайской степи за двести километров от ближайшего райцентра. В её отряде были студенты Кустанайского строительного техникума: двадцать три «хлопчика», преимущественно местного разлива, и две русские девицы для поддержания всякого рода дисциплины. Жильё, выделенное юным строителям по распоряжению директора так называемого совхоза, находилось на отшибе, вдали от всяких построек и прямо на бывшей помойке. На столь недавно бывшей, что мухи и прочая летающая и ползающая живность ещё не собирались отвыкать от своего злочного места: они продолжали ревностно хозяйничать... Бессонные ночи и вездесущая вонь «почти доканали» бойцов стройотряда ещё до прибытия к ним положенного по штату доктора. С прибытием же Анны «почти» исчезло в течение суток... Молоденькая, стройная шатенка рано утром уже присутствовала на «летучке» в кабинете директора совхоза в качестве незваной гостьи и настойчивого просителя... Смутить её мужскими матами, сбить с толку обещаниями и даже угрозами отправить отряд восвояси было просто невозможно. А произносимые ею речи «били» администратора точно «под дыхло»... В конце третьего дня осады директорского кабинета нервы чиновника сдали: он швырнул при всех и прямо в лицо упрямой «докторнице» ключи от только что достроенного её ребятами дома на два хозяина. Жест был отчаянно-неприятный, но суть его перевесила... Перебрались за пару часов и столько же радовались: пока вдруг не обнаружился первый пациент с признаками острой дизентерии. Это был голубоглазый (большая редкость среди нацменов) парнишка – Марат, комиссар их стройотряда. За ним «посыпались» остальные бойцы с теми же интимными жалобами. Отряд «косила» эпидемия кишечного заболевания. В распоряжении Анны были только одни сутки до сообщения в штаб о случившемся. Катастрофа несла с собой угрозу не только здоровью, но и самой жизни бойцов. А свертывание отряда – это потеря работы для ребят, рассчитывавших хоть как-то поправить своё материальное положение летним заработком. Вначале Анну все «уламывали» не беспокоить верховное начальство тревожными известиями: надеялись на авось. Потом ребята корили себя за опрометчивую откровенность в беседах с беспокойным медиком. Наконец, они заперли честного доктора в одной из комнат «их усадьбы» с условием выпускать исключительно по нужде и при необходимости оказания помощи только сильно страдающим бойцам. Через сутки стало очевидным: «авось» не срабатывает... Благо, что за плечами перепуганного эскулапа есть хоть медучилище! Да медикаментов она набрала «воз и маленькую тележку». И все-таки над головой Анны заметно сгущались тучи и почти наметилось «небо в клеточку», когда двое из девяти парней признались в наличии у них «кровоавого стула». Надо отдать должное: как исправно бойцы караулили доктора, так же исправно и выполняли все её назначения: принимали лекарства, соблюдали постельный режим, ели строго из «своей» посуды и терпели хлорку во всех бытовых манипуляциях... За три дня «докторского ареста» наметилась положительная динамика в состоянии всех пострадавших, кроме одного: Сакена Жубанова. Сакена Анна «отвоевала» у резко поумневших стражей и определила с попутной машиной в районную больницу. Там, правда, у него не обнаружили дизентерийные палочки. Не обнаружилось

вообще ничего, кроме желания отдохнуть на больничной койке, отмыться и отъестся вдоволь... В конечном итоге спасло Сакена редкостное умение вымалывать прощение.

На этот раз отряд благополучно пронесло (сразу в двух смыслах этого слова).

## В ФАПе

Перешагнув порог директорского кабинета, Анна наткнулась на вдруг почему-то добродушно-участливый взгляд главы совхоза. В столь ранний час глава выглядел уж слишком озадаченным.

– Стыдно признаться, что у нас в совхозе за последние десять, а то и все двенадцать лет не было, по существу, ни одного медика. Не удивляйтесь, не тратьте время! Заявку даём каждый год, да не едут в нашу дыру... Все норовят в городе «зацепиться». Вот и заправляет всем на фельдшерско-акушерском пункте («фапе» по-вашему) наша уважаемая санитарка тетя Эльза... Спрос с неё – сама понимаешь... А тут народ прослышал, что доктор со студентами приехал. Просятся люди полечиться у тебя. Болеют что-то... Говорят, с животами у детей проблемы какие-то... Я в этом несилён... Давай-ка, возьми этот ФАП на себя: пока бойцы ваши у нас стройку завершат, ещё месяца полтора поработаешь. Оплачу как положено! За рекой – там совсем худо: только вчера два ребёнка умерли от поноса...

У Анны разом свело все внутренности: «Дизентерия! Эпидемия? Здесь? В этой глуши?! Проблемы в отряде сейчас кажутся комариным укусом, невзрачным фрагментиком в драматическом сценарии возможной эпидемии... Репетицией ужаса... Выход один, как учили: привлечь медицинские силы на ликвидацию эпидемии. И – вода. Основной источник заражения – это наверняка питьевая вода! Надо убедиться самой, что там. Вот тебе и события! В передовице на первой полосе: «Врач стройотряда победила эпидемию дизентерии!!». Конечно, не так звучно, как холеры или тифа, но... все-таки... Тьфу, дура набитая, что я болтаю?!... Прости меня, Господи!»

Из кабинета директора Анна ринулась на подворный обход. За рекой, куда она добралась только к обеду, жили в грязных каморках грязные немцы. Парадоксальное зрелище! Полуголодно-полураздетые, с полосатыми и липкими (от потеков арбузного сока) животиками, преимущественно светловолосые детишки, были абсолютно не обременены родительским вниманием. Они ползали по скудно обставленным жилищам в поисках завалывшегося хлеба или прогоркшего куска сала. Зрелище не для слабонервных...

– Немцы, товарищи немцы! Вы же в мире, как никто, педанты и чистюли. Национальные-то качества быть должны!.. Что с вами? Опомнитесь! – стучалась Анна непонятными речами в их неандертальское сознание. В ответ жители тарасили на неё голубые и карие зенки, затем так же молча теряли к ней интерес и продолжали жить по-старому...

Обойдя дворов пятнадцать, уставшая от беспросветного отчаяния и тупого удивления, доктор плюнула на свою пламенную агитацию и перешла на сухое общение, ограничиваясь выявлением больных. К вечеру итог был устрашающим: за прошедшую неделю только в тридцати дворах умерли семь детей и двое взрослых. По дороге на так называемый «телеграф» Анна размышляла о «спасательных мероприятиях в очаге». Сейчас она сообщит в штаб, чтобы связались с областью.

Сообщит... Значит, так или иначе, их отзовут... Но... судьба?! А пока надо действовать. Ребята еле оклемались от первой «вспышки». Вторую не выдержать! По-видимому, колодец, из которого ребята продолжают брать воду, невзирая на её запрет, заражен основательно: болен шофер, который раньше подвозил студентов на объекты. Он часто пил воду именно из этого колодца. Анна сама видела. Но, устающие на работе «до потери пульса», ребята вряд ли добровольно согласятся покорять в три раза большее расстояние к другому колодцу. Надо было что-то придумывать. Срочно!

Перед сном по настоянию почти невменяемого от всех видов усталости доктора командир собрал бойцов. По их договоренности с доктором он обсудил с бойцами какие-то вопросы по работе и предоставил слово Анне.

– Ребята, – спокойно начала сочинять доктор, – довожу до вашего сведения, что сегодня местные ребяташки достали из нашего колодца дохлую кошку с такими же котятками. Трупы их находятся недалеко от колодца, в чём желающие могут убедиться. Есть, как вам известно, колодец подалее, но это дело и вкус каждого...

Эффект содеянного ею был налицо уже утром: идущих с питьевыми ведрами в опасном направлении не наблюдалось. Желающих удостовериться в правоте её слов тоже не обнаружилось. К счастью... Казалось, что с этого утра её молитвы обрели подъемную силу и начинают достигать цели. А пока Анне предстояла сознательно-временная перестройка на иной образ жизни, начиная с подъема. И не как ещё вчера, в семь тридцать, когда она в качестве рядового бойца осваивала профессию штукатура. Малоуспешно, правда, осваивала, болезненно отметив в себе существенный дефицит физических сил... Зато она почти демонстрировала свою «аховскую» побелку, над которой присутствующие – истинные специалисты своего дела – так же незло поупражнялись в остроумии. В общем, как ни радовалась Анна своему сезонному, добровольному приобщению к рабочему классу, как ни меняла свой, соответствующий назначению, имидж, а всё кем-то за неё было перерешено в одночасье... И свой рабочий день она была вынуждена начинать теперь в пять тридцать, так как в шесть часов по направлению к ФАПу, который находился чуть поодаль, на хорошо обозреваемом пустынном месте, к этому самому ФАПу, в такую рань, уже тянулась вереница страждущих пообщаться с доктором. Люди шли с разными болями, страданиями, проблемами, вопросами, с любопытством и просто потому, что им ходило (это она поняла позже)... Сейчас же, морально сдавленная, почти прибитая неожиданно свалившейся на нее огромной профессиональной и просто человеческой ответственностью, Анна, наконец, заставила свои ноги передвигаться в направлении ФАПа. И шла к нему не пятнадцать минут от силы, что соответствовало действительности, а, как ей казалось, целую вечность... Тяжесть в правой руке перевешивала ее наполам: четыре толстых медицинских справочника (детских, взрослых, инфекционных и хирургических болезней) внушали ей надежду на возможность продержаться до прибытия врачебного подкрепления...

По мере приближения к своему новому месту работы Анна различала словно выплывающих из тумана бабулек с узелками, дедулек с палочками, мамашек с детишками, подъезжали два грузовика и даже телега с кем-то неходячим (видно было, как его сносили)... Когда Анна вошла в переполненную людьми приёмную, все почтительно встали, даже недавно перенесённый из телеги мужичок. Анна

растерялась от такого уважительного к ней обращения. Зато санитарка, та самая тетя Эльза, встретила её вообще со слезами на глазах: «Вот и я теперь никому не нужна». «Хватит, тетя Эльза: старая стала и глупая тут же. Молоденькую поставим за место вас на ФАП». – «А меня, значит, на списание всю сразу.. И вся благодарность на этом... Что я только натерпелась за эти годочки – никому дела не стало. Не выскажешь...», – она говорила без умолку: жаловалась и восторгалась, сплетничала и причитала, попутно утыкая нежданную приемницу носом во все банки-склянки, коробки и инструменты своего медицинского хозяйства. Она заставляла Анну заранее расписываться за все, что её глаза уже видят вокруг и что ещё увидят, когда придет время «икс». Но ждать это время или тратить его самое или какое другое на успокоение суетливой старушечки под названием «тетя Эльза» у Анны не было никакой возможности: за дверью, в темном сыром коридорчике, теснились больные люди. Их проблемы немножко перевешивали страх санитарки потерять своё почтаемо-доходное местечко. Только последняя этого не замечала... Скупыми словами и многообещающим взглядом Анна скоренько заверила тетю Эльзу, что без её участия в работе не только куда-то провалится их общий ФАП, но и сам земной шар сойдёт с орбиты или треснет на две ровные половины... Момент счастливой развязки их встречи был прерван душераздирающим криком из приёмной: в коридоре упала только что подоспевшая бабулька. Упала замертво, не успев в остатке своей долгой жизни пообщаться еще и с «настоящим доктором» (уж больно торопилась одинокая старушка: на волнениях да беспокойствах в последний раз осилила она расстояние в добрых десять верст). И успокоилась здесь, среди своих, «до печенок» знакомых односельчан. Хоть не в одиночестве.

В этот невесело начатый день до самого обеда Анна высматривала в крохотное фаповское окошко момент прибытия бригады медицинской поддержки из области. Она даже заглядывала в небо, как бы ожидая оттуда прилета доблестного десанта врачей. Но на земле, как и в небе, было равнодушно-пусто... Только к вечеру посыльный мальчишка принёс телеграмму, пришедшую на имя главы местной администрации. Где, без намёка даже на фамилию доктора, ей отдавалось распоряжение отправлять «всех по дизентерии» в больницу райцентра. До которой («милое дело») всего-навсего двести километров и ни метра меньше. А сколько коек и какие тут больные, и в каком состоянии все, включая стройотрядовцев, – это никого почему-то не интересовало. Анне понадобилась только одна извилина, чтобы осознать весь ужас своего положения и захотеть «уйти на больничный лист» от действительности.

*«Действительность... Хорошо, что я всё-таки освоила скорочтение, вернее, скоропросматривание, как у меня получается: сейчас вот пригождается... Профессор тоже читает какой-то журнал... Да что-то редко страницы листает, словно видимость создаёт... Журнал подрагивает в такт биению его сердца... У астеников это не редкость... А сердечко-то – частит! (Давление или волнение?). Евгения Петровна опять дремлет... Но лицо её напряженно-сосредоточенное... Не очень-то она на дремлющую походит... Ну, что я опять привязалась к ним со своей подозрительностью? Какое мне до них дело?... Вот мутит меня всё отчетливее... Это – факт. И нарастает ощущение, будто кто-то нахально ковыряется в моих внутренностях... Уж не Евгения ли Петровна принялась колдовать над моим здоровьем? Ей этика лекаря небось и не снилась!... Надо «поставить блок» на уровне подсознания (моё сознание не проконтролирует её, или чьи-либо*

*«происки» при такой напряженной умственной работе... над книгой)... Ну что ж: проверим «ключики-замочки»...*

*Итак, мысли в сторону... Настроилась... Слушаю себя... Верхние чакры, как и положено, работают с перегрузом... Отсюда и «построю» защитные кольца... Отлично! Больше насыщенности: цвет, плотность... Готово! Я в центре. Полюса свободны. Смотрим результат... Да... Не ошиблась... Так и есть: она...»*

Евгения Петровна открыла глаза и повернула голову в её сторону:

– А знаете, голубушка, у меня ощущение, что мы с вами понимаем друг друга на внутреннем языке...

– На невербальном, – поправил её Валерий Иванович. – Привыкайте изъясняться профессионально! – педагогические нотки не старались скрасить его раздражения...

Милана Сергеевна улыбнулась: в ней неожиданно проснулась просто баба, желающая посудачить о том о сём с этой откровенно непосредственной дамой, имеющей редкое качество – признавать одинаково свои успехи и поражения. И вот так, запросто, радоваться тем и другим, примиряя их с жизнью. И радоваться жить!

И вновь со всей трагической остротой Милана Сергеевна ощутила привкус своего видения: его смертельный привкус... Поняла, как ей небезразлична судьба этой женщины. Ей захотелось обнять её, словно большого упитанного ребенка, спрятать от чего-то недоброго. Защитить! Но между ними колом был вбит профессор, и не только местом расположения в кресле, а чем-то более существенным... Он будто стоял между их жизнями...

Милана Сергеевна и Евгения Петровна ещё перекинулись парой фраз, суть которых подтверждала их взаимное желание и готовность попытаться пообщаться телепатически. Словоохотливую Евгению Петровну, конечно же, раздирало любопытство срочно выяснить, откуда и в какой степени её «собеседница» владеет оккультными знаниями. Но она решительно справилась со своей нетерпеливостью, опасаясь неосторожной выходкой «сорвать» интригующий её предстоящий эксперимент.

Теперь эти две женщины были «повязаны»: тревога, порожденная недавним видением одной на уровне подсознательной согласованности, обязательно должна была распространиться на другую... «Может быть, и кстати», – подумала Милана Сергеевна, – совместно ускорим созревание подсказки виденного мной... В конце концов, это в первую очередь в интересах самой Евгении Петровны».

*«Итак, перезагрузилась... Поехали дальше. Что там у меня со стройотрядовскими новеллами?»*

*Ишь ты! А профессору наши разговорчики-договорчики ох как не по душе пришлись! Пыжится. Сердится. Даже очки вспотели от бегающего на разные дистанции взгляда. Боится чего-то этот Валерий Иванович. Предчувствует? Или планирует? «За здорово живёшь» ножичком не воспитывают!.. Опять эта чушь у меня в голове! Всё: переключилась... За дело. За дело, я сказала!.. А может, и не моё это дело: прозу писать? Стихи-то у меня рождаются подобно Минерве из головы Юпитера, уже спелыми. А тут фразы шлифовать да шлифовать... Конан Дойл в свое время писал очень слабые драмы, а попался на глаза редактору его детективный рассказ, написанный автором для собственного удовольствия, и вот: извольте, благодарное человечество, получить всемогущего Шерлока...*

*Может, и мне прислушаться к своей природе? Что там народная мудрость по этому поводу гласит: «Природу иначе не победить, как ей повинуться». А как же тогда «сопротивление материала» и прочая не чушь?.. Давай-ка читать дальше!»*

## Проводы

Провожать стройотрядовцев пришли все прямо к лагерю. Несмотря на то, что планировался прощальный митинг в центре, беспокойный народ порешил иначе... И даже когда уже все вещи были загружены в автобус, погрузивший директор не прекращал агитировать Анну остаться работать фельдшером в их совхозе:

– Зачем тебе учиться: ты и так вон какая умная!.. И наши жители тебя как свою полюбили, правда? – он повернулся к сельчанам за поддержкой и получил её в виде ропота и отдельных одобрительных выкриков. – Вишь, народ: отпускать тебя не хотят... Прямо плачут! Правда, плачут!!

– И зоотехник тоже? – ехидно поинтересовалась Анна.

– Нет зоотехника больше у нас: расчёт взял и в город подался наш зоотехник... А ведь я ему... Ну да ладно!.. – махнул рукой совхозный глава.

– Думала – опоздаю, – подбежала завстоловой с огромным кульком в руках. – Пирожков вам на дорогу настряпали. Ешьте, нас вспоминайте. Зла не держите... Мы – люди простые!..

– Приезжайте на следующее лето коровник строить. И дома нам ваши понравились, ещё закажем... – почти вдогонку выкрикивал директор.

Мотор призывно загудел, все ребята ринулись по местам. В дверях остались командир и Анна. Командир облегчённо улыбался... Анна окинула взглядом толпу жителей – почти всех своих пациентов – и соскочила со ступенек автобуса. Она страстно протянула руку главе совхоза, обняла санитарку, не первый раз прослежившуюся у неё на плече, и послала воздушный поцелуй всем-всем жителям этого забытого Богом уголка земли.

На глазах Анны почти всю дорогу не просыхали слёзы...

*«И правда: как я ревела тогда!.. А сколько ещё было приключений! Можно было бы написать и про тётку, что вены своему мужу-пьянице вспоролла, а потом до моего приезда жгут бедняге всё-таки наложила: вдруг да помрёт бесценный муженёк по случаю задержки доктора... И про то, как ночью, прямо на дому у директора совхоза, пыталась взять у него, директора, стоящего передо мной в одних трусах, расписку о том, что он в курсе происходящего и не предпринял никаких мер... А произошло тогда следующее ЧП: муж одной молодой мамы трёх детей, ожидающей четвертого ребёнка, избил свою беременную супругу-немочку до такого состояния, что у последней возникла угроза разрыва матки. Её, беременную шестимесячным плодом, необходимо было срочно оперировать... Событие произошло ближе к ночи. Везти несчастную – всё те же двести километров до больницы – было не на чём, так как дороги оказались напрочь размыты трёхдневными ливнями. Первый раз мне директор (ещё в домашних бриджах) популярно объяснял, что специального транспорта нет, а санавиацию он может вызвать лишь утром, «когда будет светло садиться». В поисках транспорта я металась, как угорелая, по совхозу, стучась во дворы владельцев любых машин – безрезультатно. И, понимая, что «моя женщина до утра никак*



недотянет», вновь и вновь «трясла» бедного главу администрации. Пока он не стал встречать меня в трусах и вовсю материться... Короче, директор всё же пригнал мне откуда-то трактор К-700, на котором мы затем «ползли» в больницу более пяти часов. Женщину я тогда еле продержала на наркотиках, спазмолитиках и прочитанной в журнале методике гипнотического сна... Господи, и ведь ничего я тогда не боялась! Это оттого, что ещё мало знала про возможные осложнения от своих деяний... Да, и ещё: как в грозу ехали на «газике» по степи и чуть не возгорелись от молнии. Много можно было бы поднаписать... Но сейчас надо выбрать что-то из уже написанного хотя бы... Время-времечко!..

А вот «жучище» я так и не нашла тогда в Кустанае, вернее, мне его не выдали... Расчёт-то нам за работу в совхозе сразу не вручили: позже перечислили (и моих кровных сто сорок рэ). Денег у отряда хватило только-только на обратные билеты и то в общем вагоне. А в Кустанае у меня не было ни одной знакомой души, чтобы остановиться... За те два часа, что оставались до нашего поезда, я лишь успела посетить облздрав. Но без фамилии, по одному имени-отчеству, да тем более с моими сумбурными объяснениями и сомнительными целями, обнаружить Усена Туленовича мне не помогли: перестраховались (мало ли что?..). А мне тогда хотелось только одного: посмотреть ему в его мелкие, раскосые глаза и спросить его, за что он так со мной обошёлся... Сейчас я, пожалуй, хотела бы иного: не дырывать им свою память!

Ну, да ладно: не будем поддаваться разрушительным эмоциям! Вперёд на рукописи!..

Итак: впервые осложненная наследственность моей героини обнародовалась на третьем курсе института. Тогда занятия по детской терапии вёл худой, складывающийся, как перочинный ножик, доцент Дмитрий Залманович Завадовский... А вот и дневничок нашёлся, как раз по теме...»

\* \* \*

Сегодня зима 1978 года. (Так, наверно, не пишут грамотные люди. Но я пишу). На занятиях по «детству» Д.З. Завадовский демонстрировал нам чудеса своей сверхчувствительности: он ставил диагнозы детям на расстоянии двух метров – руками!.. Нет, ставил он диагнозы, конечно же, головой, но с помощью только одних своих рук!

Дмитрий Залманович, не вдаваясь в подробности, как это у него получается, обмолвился лишь, что сей дар принял по наследству от деда – ещё земского доктора. На вопрос, можно ли овладеть этим ремеслом, Завадовский подкатил к небу свои пронзительные глазки – мол, «на всё воля Божия». С тем я на первых порах от него и отстала. На вторых же порах я добросовестно наблюдала за всеми нехитрыми манипуляциями нашего доцента, всё больше отмечая еле улавливаемую связь его деяний с виденными и прочувствованными мною ещё в моем детстве знахарскими происками киргиза Шамурата. Ведь умела же я тогда, как и Шамурат, «видеть» тёмные (больные) пятна во внутренностях хворающих животных. Может, и у людей так?.. Но у Шамурата в момент обследования движения рук были по-мужички грубоватыми и простыми (образование имел чабанское). А наш Дмитрий Залманович над своими маленькими пациентами прямо священнодействовал: выписывал руками кренделя похлеще иллюзиониста, лицо его при этом отражало всё: от звериной настороженности до интеллектуальной сосредоточен-

ности... В особо сложных или ответственных случаях он ещё и подозрительно притоптывал на месте, быстро говоря самому себе под нос: «Так-так-так!»; мятникообразно приближался и отдалялся своими руками и всем своим телом от исследуемого им человечка (словно танцевал карнавальный танец племени «бумбу-юмбу»). Чем больше я наблюдала за диагностикой Дмитрия Залмановича, тем больше мне казались все его па чересчур лишними. С течением времени я стала просто «видеть» проблемы пациентов, особенно отчетливо при первом взгляде на их тела и на то, что находилось вокруг их тел: светлые или серые линии-разводы (как будто сделанные непромытой акварельной кистью). Однажды молодая мама принесла на консультативный приём к нашему доценту своего двухгодовалого малыша, непонятно от чего высоко температурающего. Наш ас поставил ему левостороннюю нижнедолевую пневмонию и недоумевал, почему рентген не показал столь явный патологический процесс.

– Вы простите меня, пожалуйста, – неосторожно «выскочила» я, – но мне видится, что процесс локализуется в корнях легких. По крайней мере, там какое-то затемнение...

В группе почти все и почти разом хихикнули в мой адрес, а доцент, подняв брови выше лба, застыл на несколько секунд с открытым ртом. Затем он снова ринулся диагностировать. А в конце занятий попросил остаться ту студентку, «которая сегодня сказала «мяу». С этого дня я стала, как говаривали, «работать на Завадовского».

*«Что-то у меня не очень выходит с индивидуальностью языка персонажей... Нет, я не самонадеянная дурёха, чтобы говорить, что не ориентируюсь на других писателей, для которых тоже собственное мастерство – труд и любовь! Вернее так: «Любовь к слову – трудная любовь». (Кто сказал – не помню). Зато это точно Яна Снядецкого: «Иметь свой стиль – роскошь. Для создания хорошего нового слова нужно почти столько же таланта, сколько и для создания новой мысли». И плюс дисциплина труда: о чём редко проговаривается, но всегда подразумевается. Вот Жорж Санд – ежедневно писала до одиннадцати часов вечера, и если в половине одиннадцатого она заканчивала роман, то тут же брала чистый лист бумаги и начинала новый. Так вот надобно работать, а не собирать все в кучу, сидя в летящем самолёте, где всё вокруг только отвлекает... Опять меня «занесло» на великих... Опускайся-ка сама на грешную землю, пока не опустили!.. Правда, Раймонд Паулс писал некогда свои мелодии вообще в ресторане, сидя за столиком, прямо на салфетках писал, и – ничего: получалось! Конечно, нам с ним в противовес можно поставить и Гюго, и Бодлера, и Флобера, и Гёте (с их чиновничьей пунктуальностью и соответствующей обстановкой процесса творчества). Ну вот, опять застряла. Прямо буксую сегодня на великих! Уж не примазываюсь ли? Хм...»*

Труд, к которому меня невольно приобщил чудак Завадовский, был прямо-таки сизифов. Начиная с того, что я в домашних условиях пару раз в день должна была укладываться на спину и, прислушиваясь к ощущениям, перемещать свою «воспринимающую» руку на расстоянии порядка пятнадцати – двадцати сантиметров от поверхности собственного тела (определяя тем самым границы своих сердца, печени, селезёнки, почек и прочих внутричеловеческих составных частей организма). Не скажу, что это занятие меня сильно восторгало, но в результате спустя пару недель я начала безошибочно определять границы большинства своих органов. И, что меня

поразило, с закрытыми глазами вдруг стала определять границы любых попадающих под руку предметов, которых в нашей тесной общежитской комнатенке было более чем предостаточно. Вольные и невольные многочисленные свидетели моих оккультных стараний в какой-то степени ненадолго заражались моим занятием. Но, в конце концов, их терпение ограничивалось лишь удовлетворением любопытства или, в крайнем случае, желанием удостовериться в своей собственной органной стандартности. После чего они облегчённо стирали со своей кожи тщательно обозначенные мною (то есть очерченные фломастерами) границы своих неизношенных внутренностей) и поочерёдно исчезали с наших так называемых тренингов. За месяц усиленной работы я выявила столько аномалий у своих сокровников, что вскоре замкнулась, опасаясь невольно проболтаться о том, как они все, бедняжки, внутренне хило устроены... У себя я с лёгкостью обнаружила расширение левой границы сердца, неприлично торчащий край печени и совсем уж кривую границу желудка...

Процесс усовершенствования моей экстрачувствительности мог бы протекать без особого вреда для чьего-либо здоровья, и моего в том числе, если бы не одна роковая случайность.

Как-то меня в числе избранных общежитских особ пригласили на день рождения в комнату этажом ниже. Именинницей была курносая рыжая Ниночка с квадратным затылком, на котором неизменной «дулей» покоилась её закрученная, толстая, деревенская коса. Ниночка была добросовестной зубрилкой. И ещё: вместе с ней мы посещали физиологический кружок, на котором вживляли электроды в разные отделы мозга белым неглупым мышам, вызывая у несчастных грызунов (по желанию научного руководителя) то ожирение, то истощение организма. Я не боялась мышей, если честно, немного брезговала ими, а большей частью не выдерживала... их, лежащих с зажатыми в металлических пластинках головами и в упор глядящих на своих палачей... Исследователя-живодёра из меня не вышло, и очень скоро я оставила внедрённые и невнедрённые свои идеи на милость тем, у кого нервы покрепче. Я ушла в химический кружок, а Ниночка продолжала аккуратным почерком вносить в журнал наблюдений описания внешних и внутренних данных своих белобрысых подопечных, регулярно вспарывая их податливые брюшки. (Кстати, Ниночка потом очень «громко» защитилась, взяв на свое вооружение большинство не своих идей). Но это просто, кстати, а в тот вечер мне, как обычно, совсем не хотелось поздравлять Ниночку с её уже двадцатой бестолковой весной... Девчата как-то уговорили пойти. Как и позже, после выпитых нашей братией нескольких бутылок вина, уговорили «поопределять» с закрытыми глазами всяческие предметы вокруг (начиная с иголки и кончая солёными огурцами, утюгом и т. п.). Определяя в руке у одной девушки что-то металлическое, круглое, с постепенно проступающим до тошноты знакомым профилем Ильича, и догадываясь, что это металлический рубль, я нечаянно наткнулась своим внутренним видением на кольцо, аккуратно пристроившееся на безымянном пальце этой девушки. Тепло, исходящее от кольца, никак не соответствовало колючей волнообразной прохладе его обладательницы. Украшение было чужое. Не успела я перевести своё открытие на вербальный язык, как передо мной проплыла на бешеной скорости вся тусклая биография этого кольца. В ответ на повторенный вопрос: «Что же у меня в руке?» – я каким-то, доселе неизвестным мне самой, почти внутриутробным, голосом сообщила: «Ворованное...».

– Что ворованное? – переспросили окружающие.

– Кольцо, конечно...– продолжала вещать я. – Взято с подоконника в нашей бытовке. Там ещё рядом посуда помытая стояла... Да, да: чайные чашечки, беленькие с красно-золотистыми петушками на боках.

Воцарившаяся тишина свидетельствовала о том, что мои способности уже бесповоротно «поломали» день рождения. Мало того, когда я быстрехонько развязала тёмный шарфик, туго пеленавший два моих анатомических глаза, я, наконец, заметила на столе нашего пиршества и те самые чайные чашки, с только что описанными мной ни в чем не повинными петушками. По лицам присутствующих ползло припоминание прошлогоднего ЧП: у почти выпускницы нашего доблестного вуза исчезли золотые украшения, некогда подаренные ей её приемными родителями. Боясь соответствующих осложнений, выпускница не рискнула поехать домой даже на каникулы. Она просидела одна целых две недели в опустевшем общежитии, и можно только предположить, как прорыдала всё это золотое студенческое время.

Сейчас же, уличённая в недобром, девушка из нашей компании пыталась как-то отпираться, оправдываться или что там ещё, что полагается в таких случаях?.. Мучилась и я... Мучилась горько, стыдно, как человек, невольно подсмотревший в замочную скважину чужую неприглядную тайну...

Расходились все тихо и быстро, как с поминоком...

С этого памятного дня рождения я старалась минимально участвовать в студенческих пирушках во избежание каких-либо осложнений от своих способностей. А так как в общежитской комнате нас было восемь девчат на тринадцать квадратных метров, то самым уютным местом моего пребывания вскоре стала находящаяся неподалёку центральная городская библиотека, где я с удовольствием изучила биографии и творчество практически всех ведущих деятелей эпохи Возрождения. Благо, отдел искусств был в закутке, и я порой засиживалась в нём до самого закрытия библиотеки. Находиться среди книг мне было привычно с детства, потому такой расклад времяпрепровождения меня очень устраивал. А когда с началом следующего года обучения я вдруг оказалась в «чёрном списке» и не попала в общежитие, я впоследствии не пожалела, что перекочевала на квартиру. А сначала впала в отчаяние. Да ещё какое! На счастье, в отчаяние впала ещё одна очень славная девушка из моего же южного города, с которой я встретилась на вокзале, будучи обиженной на институт и весь белый свет... Настя, как звали эту девушку, закончила то же медицинское училище, что и я, только годом раньше. Горе с общежитием и мысль о возвращении на общую родину «назло врагам» тогда, на шумном вокзале, сдружили нас за минуты и на всю жизнь. В тот же вечер, посетовав на обстоятельства, мы с Настей всё же включили здравый рассудок и тут же отправились на поиски квартиры. Обходя в течение нескольких дней всё возможное и невозможное и промозолив всем сотрудникам вокзала их полусонные глаза (ночевали калачиком на скамейках в зале ожидания), мы, наконец, отыскали квартиру с жутко неопрятного вида хозяйкой и её не менее жуткими четырьмя котами. Но мы молча решили, что это, наверно, наша судьба, и перетащили свой скарб в отведённую нам дико вонючую комнату, рассчитавшись за три месяца вперёд. Затем, как положено новосёлам, отправились в баню. Настя попросила меня занять очередь в общее отделение бани, а сама заскочила в магазин купить еды на вечер. Очередь подошла и прошла, а Насте всё не было. Я предупредила очередь и вошла в раздевалку. Мылась я быстро, так как перегрева-

ния не переносила с рождения. Когда я стояла, намыленная от макушки до пяток, в общей массе шоркающих себя разновозрастных тел, в дверях моечной возникла Настя в плаще. Она не замечала недовольных замечаний и покрикиваний в свой адрес. Настю захлёбывали эмоции: «Мила!!! Я нашла квартиру без хозяев!! Благоустроенную!! Правда, гостинку. Но ведь это здорово?!!! Пойдём скорее!!!» – она широко размахивала рукой, на указательном пальце которой поблёскивал ключ. Я мигом вылила на себя всё, что было в моём недавно наполненном тазике, и рванула из отделения: застывшую от радостного шока Настю могли обидеть вполне вменяемые моющиеся женщины, не способные в данный момент к восприятию человеческого счастья, стоящего среди голых тел в уже подмокшем плаще... В течение последующего часа мы с Настей посетили несостоявшуюся хозяйку, которой не пришлось ругаться с нами из-за оплаты (мы автоматически ей её подарили), и в течение этого же часа мы уже прибыли на новое место дислокации. На новом месте, в хороводе ещё пяти проживающих семей, прошло два незабываемых студенческих года. Ещё бы: на семи квадратных метрах поселились «сова» и «жаворонок», сангвомеланхолик и неуёмный холерик; человек, любящий поэзию, красивую негромкую музыку, и орущая всё свободное время под гитару свои собственные песни я! Досталось Насте за два года моих авантюрных происков: то я поэта-диссидента на остановке подцеплю и приведу домой, а он затем ходит неприлично часто, закатывает глаза и надрывно читает одни и те же свои стихи, попутно съедая у бедных студенток всё, вплоть до остатков сахарного песка. То ташу со студенческого хора (где неплохо солировала своим чистым сопрано), в общем, ташу поочередно весь поющий народ, то... Словом, много необязательных эмоций и телодвижений пришлось за это время вытерпеть моей бедной Насте. Но награда рано или поздно находит героя: я случайно (хотя случайностей не бывает) встретила в автобусе своего одноклассника – симпатичного, доброго и спокойного парня, учившегося здесь же, в Карагандинском политехническом, и тут же познакомила Настю с ним, беспардонно представив ей Виктора как её будущего мужа. Не ошиблась: вскоре мы расставалась со счастливой Настей, уходящей в её новую жизнь – семейную! Одновременно я расставалась и с нашей с ней квартиркой, которую резко забрали Настины знакомые, сдававшие эти (наши золотые) семь квадратов под Настину ответственность. Теперь мы с Настей делились в основном на занятиях, но и этого времени ей хватало, чтобы удивиться очередным моим при- и злоключениям и закинуть мне в мозги какой-нибудь дельный совет... После разъезда с Настей я упорно перебирала одну квартиру за другой, пока моя добрая и оптимистичная подруга и одногруппница Верочка не уговорила своих родственников поселить беспокойное хозяйство под названием Милка у чёрта на куличках, на окраине города, правда, в благоустроенную квартиру. Девчонки из общежития периодически посещали меня: просто так или когда я их звала на обед или искупаться... Так же и те же периодически обращались и с просьбой отыскать какую-нибудь мелочь, но теперь я была крайне осторожна в своих действиях...

Итак, несмотря на то, что в институтской клинике коллеги смотрели на Завадовского по большей части снисходительно, всё же в крайних, спорных диагностических случаях или когда дело касалось их родственников и «блатных», они довольно охотно прибегали к помощи «большого чудака». Правда, не затруднялись при этом прислать машину за ним как за уважаемым консультантом, и пото-

му мы с Завадовским частенько тряслись на общественном транспорте через весь город, скрывая за неизменно серьёзными масками столь же неизменный восторг от оказываемого нам профессионального доверия! Всё было бы славно и даже радостно, если бы не куча завистников и злопыхателей. Кто-то написал на бедного Дмитрия Залмановича докладную, или правильнее – «телегу». Его стали мотать по собраниям коммунистов, профсоюзников и по прочим сходкам, преимущественно бездарей и пустословов. Пока вконец не подорвали его и без того некрепкое здоровье. В итоге чем-то сильно припугнули... Завадовский притих, сник и скис... До меня добрались значительно позже, когда я уже с полгода бродила по бабкам-знахаркам, лекарям и колдунам, осваивая принцип народного врачевания.

К ректору вызвали под одним предлогом, а беседа повелась о другом: кому-то нужен был компромат на несчастного, нестандартного Завадовского. Где-то на десятой минуте нашего с ректором разговора последний окончательно понял, что с меня взять будет нечего, а если и взять, то применить будет не к чему... Для меня же открытием стало то, что ректору, оказывается, известно было обо мне многое: и то, что я продолжаю отыскивать студенческие пропажи... и даже то, что при поступлении во вверенный ему институт я знала наизусть порядковые номера и атомные веса всех элементов таблицы Менделеева, чем сразила наповал неприступную в эмоциональном плане профессора химии Лескову. Уж кто-кто, а на сплетницу и тем более доносчицу правдолюбивая Лескова, по моим меркам, никак не тянула... Осудил вездесущий ректор и мои походы по бабкам, пристыдив, что позорю тем самым честь будущего советского врача. А прощался как-то подозрительно непринужденно, почти дружески улыбаясь. Мне тогда ничего не оставалось, как поверить его... улыбке!

*«Дневниковых записей тут пруд пруди... Не брать же всё подряд! Кстати, вот и о знахарях что-то...»*

### Колдунья Фрося

Если кто-то скажет, что бабки охотно делятся своим лечебным мастерством, так и знайте: обманывает! Во-первых, им не чужда конкуренция, во-вторых, они не педагоги, чтобы уметь доходчиво объяснять, в-третьих, они делают зачастую то, что не всегда понятно даже им самим, и, наконец, в-четвертых – они терпеть не могут любопытных, и тем более медиков. Любой мало-мальский медик так или иначе, да подтрунит над их действиями, или того хуже: упрекнёт в дремучести и непрофессионализме. А кому это приятно?

Баба Фрося, к которой направлялась Анна, жила, как и положено ярым колдунам, на окраине города, в частном секторе. Домик её снаружи выглядел весьма неказистым. Хозяйка встретила Анну, мягко сказать, недружелюбно... Когда же Анна выдала себя за потенциальную квартирантку, хозяйский глаз чуть притупил просверливание непрошеной гостьи. При этом Анна облегло вздохнула: уж больно запугали её бабкины соседки, что не станет Фрося и рта открывать с кем попало... К ней и больные-то идут только от хорошо знакомых ей людей. Такой неуживчивый и дерзкий у нее характер. А вот квартирантов почему-то пускает. Правда, никто долго у неё не живёт, сбегают как от прокажённой. Последним квартировал какой-то парнишка-студентик, так она, вражина, высосала все соки из бедненького, все силы забрала для колдовства своего, коварная. Так что съехал

несчастный, не прожив и двух месяцев у Фроси. Да такой оказался хворый да обессиленный вконец, что и чемоданишко свой нести затруднялся: всю обратную дороженьку останавливался, передыхал да с опаской оглядывался (не поспевают ли за ним «ведьма старая» на помеле?).

Страстей про бабку Фросю было наговорено за несколько дней Аниной разведки так неправдоподобно много и охотно, что Анна теперь просто умерла бы на заветном пороге, откажи ей бабка в аудиенции и тем паче – в жилье. Но отказа не последовало, и вскоре Анна очутилась в довольно просторной и почти уютной комнате, которую ей тут же сдала, не ощутившая никакого подвоха, баба Фрося.

Дом колдуньи состоял из кухоньки и двух комнат, соединенных по центру округлыми боками печки-«контрамарки». Эта цилиндрикоподобная печь, как нарочно, растапливалась со стороны сдаваемой комнаты, тем самым дисциплинируя будущих жильцов и освобождая хозяйку от хлопотной, трудоемкой работы. «Не на этой ли печи и «погорел» предыдущий студентик, как, возможно, и все остальные жильцы?» – мелькнул у Анны вопрос. В голове мелькнул, разумеется: вслух она сейчас, кроме «хорошо» и «спасибо», выпустить из себя ничего бы не рискнула. Спугнуть редкую возможность, даже удачу: жить рядом и учиться знахарству у такого аса, какой слыла Фрося (к ней ведь, по слухам, и профессора-медики обращаются, когда приспичит, особенно если что-то злокачественное заподозрят), так вот жить под одной крышей с этой гениальной ведьмой – вот счастливый венец всех двухлетних походов Анны за нетрадиционными знаниями и умениями...

Всё складывалось неожиданно здорово, хотя и трудно! Труднее прочего – одновременно жить в двух, находящихся в разных концах города квартирах... Для начала Анна немедля побелила своё «новое» жилье, до блеска оттерла окна и полы, прихватив в приступе чистоты и кухню, и коридор, и даже помятое крыльцо. В свою же комнату баба Фрося решительно не пустила жиличку, раз и навсегда оставив между ней и собой стенку (в обоих смыслах)... Что могло быть такого таинственного в бабкиных апартаментах, если, уходя по редким делам из дома, она вешала на дверь своей комнаты почти амбарный замок и, в дополнение, трижды перекрещивала дверь?

Началась бешеная по темпу жизнь досужей студентки. Утром, когда бабка велла основной прием больных, Анна, к сожалению, отбывала на занятия в институт. К вечернему же приёму Анна должна была успеть смотаться на свою основную квартиру, чтобы впопыхах принять душ, что-то сготовить, с кем-то увидеться, что-то постирнуть и т.д. Главное – успеть примчаться к восемнадцати часам в свою зверски холодную ночлежку. Почему холодную? В этом-то и заключалась основная гадливая хитрость бабы Фроси: печь топили квартиранты, а грелась она – хозяйка. Когда Анна смекнула, что обогревающая часть печи лишь четвертью своего объёма приходится на её комнатку, она истерично принялась растапливать печь максимумом входящего в неё угля – мол, «грейся, грейся до одури, хитрая бабка, поджаривайся!». На что колдунья Фрося отвечала ей только довольным побрякиванием за стенкой. Но цель была превыше всего: Анна добровольно всеми вечерами просиживала под заветной дверью, надеясь что-либо увидеть, и до боли прижимала ухо к пустой стеклянной банке, ползая в такой дурацкой позе вдоль их общей стенки, в надежде что-либо услышать из происходящего в соседней комнате. В редкие удачные вечера Анне удавалось одним глазком зацепить лечебную мастерскую, когда пациенты с детьми широко распахивали двери, входя или

покидая бабкину комнату. После двух недель нервотрёпного проживания Анна имела негустой урожай познаний: перед приёмом пациентов баба Фрося усердно и подолгу молилась, после ухода больных тщательно мыла свои руки и лицо, затем усаживалась смотреть на тощий фитилёк свечи и что-то при этом бормотала, после чего с аппетитом ужинала, не приглашая к столу единожды по глупости отказавшуюся от горячего её кушанья квартирантку. И всё же чай они изредка попиливали вместе: когда Анна приносила купленные по пути бутерброды или ватрушки, или прочие кондитерские изделия, приятные на вид и вкус. В особо удачные дни баба Фрося располагалась кратенько побеседовать со студенткой обо всём, кроме, конечно же, медицины и бабкиных занятий. Чувствуя Анины происки в этом запретном для неё направлении, колдунья, как нарочно, злила Анну своими недоговорами некоторых очень интересных фраз... Затем она делала вид, что забыла, о чем шла речь, и удалялась восвояси, демонстративно шаркая теплыми собачьими тапочками. Анну просто разносило! Она начала ловить себя на недобрых мыслях по отношению к старушенции и, сама себе не отдавая в том отчет, часто напевала арию Германна из «Пиковой дамы», ту самую арию, когда он смертельно пугает старую графиню...

Хотя бабка Фрося была немногим моложе старой пушкинской графини, напугать её при желании было бы гораздо сложнее: не из робкого материала была скроена её психика, да и шестьдесят последний размер тела!.. Одной зычности в голосе хватило бы на семерых базарных бабулек!

«Что же предпринять? – мучилась Анна осознанием бесполезности своего житья под одной крышей с «трудной бабкой». – Не расколется ведь знахарка! Не допустит к тайнам своего ремесла!..»

Декабрь источал холод по нарастающей... Куча угля, привезённая ещё по теплу и неаккуратно сваленная во дворе, сейчас превратилась в каменный монолит. Отбивать куски угля приходилось даже ломом, который был толщиной как рука Анны, то есть почти металлическим бревном. Своей ежедневной практикой Анна осваивала шахтёрский труд, попутно пропитываясь уважением к мужской половине своего студенческого города, но энтузиазм её заметно угасал. Перспектива продолжать обогревать хитроумную хозяйку, а самой по ночам стучать зубами от холода всё более удручала студентку. Ситуация становилась взрывоопасной. Слава Богу, подоспевший случай ускорил неизбежное:

Однажды в назначенный день своего приёма бабка Фрося куда-то запропастилась. И потому дверь её первому пациенту услужливо распахнула сама Анна. Пациенткой оказалась огромная женщина лет пятидесяти с пристальным взглядом серых выпученных глаз и невнятной речью. За отсутствием главного лекаря Анна провела беглый опрос больной, препроводив её в свои апартаменты. Всё проходило грамотно, в рамках программы учебника по терапии. Неожиданно разговаривавшаяся пациентка (насколько было понятно слушателю) раскрыла не только тайны своей хворобы, то бишь эпилепсии, но и тайны получаемого ею «успешного лечения у бабы Фроси». Обстоятельство последнего факта способствовало полной потере Анной контроля над своими эмоциями, желаниями... Вскоре стало явно заметно, что она переусердствовала с допросом, вернее, его интенсивностью. Это обстоятельство без всяческих предупреждений повергло пациентку в глубокий загруз с последующим падением её со стула на чисто вымытый пол Аниной комнатки... Бедняжка забилась в судорогах эпилептического припадка.



Обзывая себя всякими непристойностями, Анна расположилась рядом с больной, удерживая её голову и тем предохраняя несчастную от дополнительных ударов об пол. Эту экзотическую картину и застала баба Фрося, мгновенно обезумевшая от ярости и негодования!.. Она выгнала Анну тут же, не дав опомниться и как следует упаковать нехитрый студенческий скарб. Анна покидала знахарку с чувством досады и растерянности: на другие чувства ей просто времени не хватило... Только наткнувшись на понимающий взгляд хозяйки соседнего дома, Анна нашла в себе силы ухмыльнуться, вспомнив некогда данные этой же тетушкой небезосновательные предупреждения Анне по поводу её намерения поселиться у Фроси...

Переулочек казался длиннее обычного, а шаги по степени мысленной загрузки утяжелялись... Наконец Анна сказала себе: «Стоп!». Через мгновение она уже решительно топала обратно к Фросиной крепости. Взяла обеих приступом: у крепости чуть не сорвала с петель калитку, на Фросю обрушила поток праведных словес, чем вызвала её дикое молчаливое недоумение... Звучало это приблизительно так:

– Вы безграмотные в медицинском отношении, вы не имеете права лечить тяжелобольных людей! Что для вас главное? Что святое?! Желудок от печени не отличите! А посоветоваться? Ну что ты! Мы – профессора!! Прощайте, добрая тётя, Бог вам судья «отныне и во веки веков...».

«Аминь» уже совпало со стуком входной двери и эффекта не возымело...

На «психе» Анна пролетела переулочек, не заметив ни домов, ни людей... «Вот и конец! Слава Богу!» – она быстро успокаивалась и быстро начинала сожалеть о случившемся.

Помню, где-то через год я вновь побывала у дома Фроси. Дом мне тогда, даже снаружи, показался очень холодным. Постояла у калитки, посмотрела на безжизненные окна и поняла... А подоспевшая всё та же соседка только подтвердила мои ощущения: «Фрося вскорости после тебя ещё квартирантку брала. Да захворала сильно. Всё по тебе убивалась. Говорила, что вот была у меня девка умная да хваткая, всё знания хотела мои выведать. И чё, мол, я ей их не передала?. А вот теперь бы и мне легче было знать, что есть кому бабы Фросины рецепты прописывать... Она одна, да и мы с ней вместе, даже в институт твой медицинский хаживали: всё тебя высматривали да выпрашивали. Кабы фамилию-то знать... Не знали фамилию твою. И до главного доходили, он тожа руками разводил, говорил, что не одна сотня Ань в институте их учится. Поди, найди вашу Аню. Так и померла Фрося в тоске да горести. У кого лечиться теперь станем... как приспичит?».

*«Ага, вот откуда могло стать известно нашему ректору о моих походах по бабкам-знахаркам...»*

## Самолет идет на посадку

Самолёт недвусмысленно намеревался на скорую посадку в аэропорту города Алма-Ата (что в переводе «отец яблока»). Милана Сергеевна, на автомате, свернула свою рукопись, запихнула в сумочку, тем самым приготовившись к выходу, и тут же опомнилась: «Куда я? При моей-то ходьбе на три метра и то не против ветра? Может быть, разрешат не покидать самолёт на время дозаправки? Всё же шестьдесят кило живого веса, да ещё по крутым ступенькам трапа, туда и обратно тащить хлопотно...».

Евгения Петровна досасывала мятную карамельку и сосредоточенно вращала глазами яблоками вверх-вниз, выравнивая тем самым энергию своего тела по чакрам. С последними было всё в порядке, в отличие от мыслей экстрасенса: что-то глубоко внутри разносило Евгению, неосознанный страх кучковался у переносицы неприятным покалыванием.

– Не люблю посадки: потеря времени и здоровья – чавкнула она, – а буфет в этой Алма-Ате хоть стоящий?

Милана Сергеевна кивнула на вопрос Евгении Петровны и грузанулась неожиданной информацией:

*«Я больше никогда не увижу эту милую толстушку... Никогда! Почему? Что может случиться такого-сякого, чтобы в дальнейшем полёте её место оставалось пустующим? Глупости, чушь какая-то видится: улицы, машины, «скорая»... сирена... Опять у меня эти видения... Может, устала? Хорошо поработала. Конечно же... устала...».*

– Вам можно не беспокоиться, оставайтесь на месте, – Милана Сергеевна вздрогнула от неожиданно возникшей возле нее приятной стюардессы.

– А почему только им можно? А мне? – Евгения Петровна смотрела на хозяйку салона по-детски просящим взглядом.

Милана Сергеевна чувствовала, что это в попутнице говорит далеко не её природная лень, а предчувствие... Предчувствие чего-то недоброго...

– И правда, может быть, разрешите нам вместе... – Милана недоговорила, споткнувшись о возмущенный взгляд стюардессы...

Посадка была мягкой, другой она просто не могла быть: вот уже добрый десяток лет за Милану Сергеевну молится один очаровательный парнишка – пациент психиатрической клиники, не на шутку возомнивший себя мессией.

Артура, так величали этого парня, привёл на прием к Милане Сергеевне его старший брат. Больной с трудом передвигался от выраженного нервно-физического истощения. Обликом Артур сильно смахивал на иконописного Иисуса, только в более молодом возрасте. Никто, кроме Миланы Сергеевны, не был посвящен в тайные мотивы столь тягостных страданий, на которые вначале сознательно, а потом по причине развившейся болезни обрекал себя бывший студент-физик Артур. Он беспрестанно молился за всех добрых людей, встреченных на его жизненном пути, не только мысленно, но и физически, якобы принимал их страдания на себя. Порою жутко было наблюдать за его приступами, которые проявлялись навязчивыми движениями тела: заламываниями рук, судорожными потягиваниями, частым прерывистым дыханием. Всё это многочасовое мучение сопровождалось стонами и скрежетом безупречной красоты здоровых его зубов... Родственники Артура были, естественно, в шоке от столь тяжкого состояния парня, а Милана Сергеевна умелыми приёмами пыталась отвлекать «мессию» от его заиклинности на своих переживаниях и даже, между прочим, обучила игре на фортепиано. Порой не один час они проводили вместе и за шахматной доской. Результат лечения был обидным: родственники не согласились тратить свое жизненное время на нужды Артура и благополучно спровадили «несчастливого заступника всего человечества» в психушку на бессрочное прозябание. И такое случается... Милана потеряла своего пациента из виду, но стихотворная его молитва в адрес любимого доктора запомнилась ей четко: «Я Вас храню от всех несчастий, прося у Бога кроху счастья».

\* \* \*

Евгения Петровна с трудом выдвинулась из своего кресла.

– Нет! – Милана Сергеевна привстала с места. – Погодите! Я хотела попросить вас... Может быть, вы бы задержались... Или... – Она тут же села на место, «подрубленная» увесистым взглядом профессора... Милане Сергеевне ничего не оставалось, как только «подкормить» биополе попутчицы молитвенными энергопосылами...

– Я телепатически общнулась с вами, Милана Сергеевна, – обернулась Евгения Петровна, – и всё просекла: она высунула кончик своего языка и зажала его между зубами. Так?.. Вы, когда работаете, как ребёнок – открытая, всё считать можно... Ну, пойдёмте, прошвырнёмся, мой благодетель-кукловоз! – Она слегка подтолкнула профессора, двигаясь по проходу между рядами кресел... От неё исходило одновременно раздражение и какая-то обречённая грусть... Уже набирая обороты своими непослушными ногами, еще раз обернулась, почти у выхода, и, как прочитала Милана по её губам, пообещала ей, Милане Сергеевне, купить какие-то там пирожки...

*«Глупость! Какая глупость жестокая... суета – наша жизнь?! Пусть бы мне всё только показалось! Господи, прости меня, сотвори чудо!!!»*

Милана поймала себя на том, что плачет... Тихо и печально.

*«Только бы не создавать дополнительную мыслеформу с этими кошмарами... Отвлечься. И посылать, посылать Евгении Петровне сил и света. Спасительно-го света!»*

*Салон пустой, как брюхо акулы, воздушной акулы. И я в нём одна, в этом брюхе, окруженная «посадочными местами». Кресла ещё тёплые, излучают энергию тех, кто в них сидел пять минут назад: думал, ел, дремал и т.д. Словом, жил. И ведь с любого места можно, при желании, считать информацию о его временном хозяине... Неужели я сейчас буду заниматься этой глупостью? Надо переключиться. Снова достать рукопись? Полчаса стоянки пролетят незаметнее. Вот как раз начало рассказа о том памятном новогоднем вечере в нашем десятом «А» классе. Почерк у меня ещё совсем детский... Многовато написано. Отсюда нужно взять буквально несколько страниц о том, как мы собрались на квартире у одного из одноклассников. Как, в отсутствие его родителей, наши мальчишки изрядно перебрали спиртного. И как Валера, под изрядной дозой вина, будоражил всех присутствующих громкоголосыми признаниями в любви ко мне. Как я стеснялась, раздражалась, сердилась на него и всё-таки купалась во всеобщем внимании (пока мой Валера в порыве пьяных страданий по поводу моей будто бы безответности чуть не спрыгнул с четвертого этажа той злополучной квартиры). Его тогда еле успели схватить и удержать за ремень брюк и рубаху, так как он уже умудрился перекинуть почти полностью своё тело за перила балкона. Потом ребята разбирались с ним по-мужски: напустили половину ванны холодной воды и держали его в воде до полного протрезвления. А спустя час, когда новогоднее веселье стало окончательно испорченным, Валера вырвался из холодного заточения и босиком бежал за мной по снегу, извиняясь, плача и проклиная свою необузданную ревность ко всему, что когда-либо было, есть или будет мне интересным, кроме него...*

*Нет, это, наверно, не тронет читателя. И вряд ли охарактеризует мою героиню положительно... И вообще, у меня в рассказах совсем мало лирических*

*отступлений: хотя бы описаний природы, настраивающих читателя на определённую эмоциональную волну и помогающих углублённо воспринимать информацию. Классический пример – перо И.С. Тургенева, Л.Н. Толстого... Ладно, позже допишу. Это несложно... А вот и ещё рассказы из студенчества... Пробежусь по ним...»*

## Чёртово озеро

А где же я впервые сблизилась с Георгием-Асиком? Точно: в Каркаралинских горах на Чёртовом озере. После третьего курса несколько групп с нашего потока под контролем кураторов групп отправились в поход в Каркаралинские горы, предварительно договорившись с начальством района о ночлеге в заброшенном пионерском лагере. Кто из местных не знает легенд об этом изумительно красивом озере? Например, по одной из легенд на дне озера, ровно в полдень, при солнечной погоде можно видеть огромный золотой крест. Либо это крест от разрушенной некогда находящейся на этом месте церкви, либо это место борьбы чистых сил с нечистыми, или чистой воды мистика? Но главная причина паломничества – это именно желание увидеть этот загадочный крест на дне озера и загадать желание. Желания, как заканчиваются все известные легенды, обязательно сбываются. Говорили, что кто-то отчаянно-любопытный даже обращался за помощью к водолазам. Но крест найти так и не удалось... Постараюсь описать это чудное озеро. Оно продолговатой формы, приблизительно метров тысячу в длину и чуть меньше в ширину, окаймлённое со всех сторон ровными рядами стройных высоченных сосен. Вода чистая, голубая, холодная до судорог... Если тело погрузить в воду.

*«Какие судороги? Какое тело?? Да, опять отчётливо вижу мою соседку-пассажирку. Она ругается с профессором... Пьёт что-то из стакана и медленно оседает на пол. Голова запрокинута: судороги... Из рта – пена...»*

– Кто-нибудь, пожалуйста, подойдите ко мне! Ну, кто-нибудь, срочно! – Милана Сергеевна надеялась, что её не могли оставить одну в самолёте. Стоянка, понятно... Но без присмотра... вдруг что?

– Кто-нибудь!!

Тишина. Обидно. Как обидно!.. Милана Сергеевна попыталась встать и, держась за спинки кресел, сделала несколько шагов по направлению к выходу, но поняв, что не дойдёт, вернулась на место. Стюардесса вошла в салон практически вместе с началом посадки транзитных пассажиров... Она даже не прислушалась к взволнованному лепету Миланы Сергеевны о чём-то... Главное, на её вопрос о самочувствии «больная сердечница», которую доставили медики к трапу, ответила, что всё в порядке...

Мозг Миланы Сергеевны работал параллельно: бунтовал по поводу происходящего и продолжал отслеживать строки написанного – словно блокировал нарастающий стресс...

*«Да, тело...»*

Тогда, на Чёртовом озере прыгнуть в воду никто не мог отважиться, так как говорили, что можно умереть от судорог. А Георгий-Асик прыгнул, правда, одетым. А затем и отчаянно смелая Гулечка из нашей группы прыгнула, выскочив, как пробка, поглубевшая от холода. По окончании всех восторженных ахов Асик разжевал нам тайну: вода необычно холодная и полно пиявок. Три минуты в во-

де, и, если пиявок присосётся очень много, спасти человека невозможно: пиявки выделяют в кровь укушенных ими людей гирудин, и кровотечение из ранок от укусов остановить никто не сумеет. Свою одежду Георгий победоносно предал огню костра, а сам облачился в заранее приготовленную сменную одежду. Но всё это он проделал только после того, как с ног до головы осмотрел Гулечку. Пиявки к ней присосаться не успели...

– Зато эта пиявка успела! – Милана Сергеевна встретила взглядом с профессорскими колочими глазками, как только он вошел в салон самолёта. На невербальном уровне они друг друга поняли в секунду. Он как ни в чём не бывало сел на своё место. Милану понесло:

– И где это мы забыли своего ведущего экстрасенса? Какая у вас байка на этот счёт? Удивитесь и скажете ещё, что она сейчас подойдёт?

– Нет, не подойдёт, – резко оскалился профессор. – Ей стало плохо ещё в самолете, вы же видели, как часто Женечка ходила в туалетную комнату. Типичное пищевое отравление. Есть надо меньше. Метёт всё без разбора. Врачи со «скорой» тоже считают, что отравление. Ничего, полежит, полечится. Ну не могу я задерживаться с ней! Сидеть в инфекционной и за руку её держать? Кто позволит? Все дела сделаю и прилечу за ней. Да и не ваше это дело, по большому счёту. Сидите. Читайте свою писанину... И не суйте нос, куда не просят!

*«В его поле какой-то вязкий негатив... Что делать? Говорить кому-то о своих бездоказательных подозрениях? Просто тупо агрессивовать и негодовать? Что это: преднамеренная расправа над Евгенией или вынужденная? Спровоцированная? Чем? Почему я чувствую свою огромную вину за случившееся? Использовал, гад, способности Евгении: гипноз, телепатию. Использовал! Сыграл на её честолюбии. А она и рада была стараться: не ведая сама, покрывала все его грязные делишки... Но что я могу ему предъявить? И кто мне поверит в мои предчувствия и картинки?»*

*Опять мозг блокирует нарастание стресса... Опять воспоминания: тогда мы всё-таки успели по скалам, горным уступам и сосняку добраться до Чёртова озера ко времени появления видения золотого креста. И те, кто его увидел, загадали свои сокровенные желания. Я тоже увидела что-то светящееся с золотистым отливом, проступившее вдруг из глубины воды в назначенный час. Единственное, за что не могу ответить, что видела именно крест. Но два желания я успела произнести до того, как явление креста исчезло. Одно из желаний было скорее проверочным и касалось присутствующего при сём Асика. Это – проверочное желание – сбылось позже на все сто: через него ко мне пришло счастье стать матерью!..*

*Чего не скажешь об исполнениях желаний по обещаниям Джуны...*

*Мелькают другие картинки: неудачные платные лекции-занятия у великого экстрасенса, коей считают Джуноу... Лекции – громко сказано: на одной лекции, кроме Джуниных песен и одного рецепта, как лечить коленный артрит (сырым рыбным фаршем на больное колено), более никаких полезностей. Вторая лекция была посвящена рассказу об их разборках с одной из первых величин шоу-бизнеса, где в финале доктором Джуной, обладательницей всех магических и биоэнергетических регалий, была хулигански водружена ваза на голову звёзды шоу-бизнеса! Я не могла тратить своё золотое время на эти занятия, и лютой сибирской зимой явилась на специализацию по массажу и мануальной терапии позвоночника*

*в Новокузнецкий ИУВ. Почему я переключилась на ИУВ? А в руке листки с рассказом. Становлюсь рассеянной...»*

\* \* \*

Занятия проходили далеко за городом, в Ашмарине. Этот живой островок был расположен среди густых таёжных лесов, за огромным навесным мостом через реку, в здании некогда детского лагеря отдыха... Кроме основного двухэтажного здания, где проживали прибывшие на курсы усовершенствования врачи, метрах в пятистах находился жилой дом обслуживающего персонала. Там жили повара, кочегары, сантехник и электрик с семьями. Километрах в трёх, глубже в лес, находился сам маленький посёлок Ашмарино, с подворьем, почтой и клубом – всё, как положено.

*«Правильно: необходимо тематическое напряжение... Сейчас надо вспомнить что-то криминальное, что было пережито... Настроиться на эту волну. Тогда легче и достовернее будет считываться информация... Кстати, это и есть тот случай, когда слова «Иди за мной!» были ключевой развязкой... Может, сразу об уголовнике?... Нет: мозг продолжает работать с уточнением деталей происшедшего... Опять-таки картинками...»*

Нас в комнате двое: со мной поселили молодую девушку из Омска. На первом этаже ещё двое женщин врачей. Они в солидном возрасте, одна из них профессионально делает классический массаж спины – пятками своих ног. А в остальных комнатах нашей двухэтажки разместились бравые парни, доктора-массажисты. И началось: днём лекции, а всеми ночами – оры (парни демонстрируют друг на друге свои методики массажа и свою виртуозность массажиста). Достаточно мне было помочь одному пострадавшему, когда его, по-свойски нещадно «откостоправили» коллеги, как потом ночи напролёт не было покоя от просьб облегчить боли или снять отёки с добровольно травмированных тел других ребят. И, конечно же, молодость берёт своё: мне понравился один спокойный, умный парень из Бийска, а моей соседке по комнате – наш преподаватель. Но, понимая всю несостоятельность романа с преподавателем, она закрутила романчик с рыжим Сашей из Подольска. «Бабушки» были вне конкурса, а остальные ребята ходили и облизывались, наблюдая наши свиданки. Больше всех облизывался в мою сторону один здоровяк-грубиян из Красноярска. Он мнил себя асом в массаже, а на «спецуху» приехал просто отдохнуть и «дурака повалить». Не знаю, как насчёт дурака, а меня повалить он задался целью не на шутку: напрочь не давал мне прохода, игнорируя любые интересы моего избранника-«тихони». Здоровяк постоянно подкалывал нас на занятиях. А на практике однажды резко вклинился в работу моего массажиста (я была подопытной) и вмиг выгнул мой крестец кнаружи, заявив мне на ухо, что вправит крестец обратно, когда я соглашусь быть его... Оставалось две недели специализации, а я не соглашалась, несмотря на свою слегка испорченную фигуру. И помочь мне с моим копчиком ни у кого не получалось, как массажисты ни старались. Этот здоровяк умел в считанные минуты превращать тело в тесто и лепить из него, что угодно. Теперь все с нескрываемым любопытством смотрели на то, чем кончится наше противостояние со здоровяком Стасом. Тихоня Андрей мерк с каждым днём в страхе быть пнутым, в лучшем случае – мной, в худшем – Стасом. Финальный аккорд должен был прозвучать на прощальной пирушке по поводу окончания

специализации. Но он прозвучал на день раньше. Стас не был на последнем занятии, а к ночи предстал вдрызг пьяным. Я предвидела неладное и по секрету забрала своё свидетельство о специализации заранее. Зверская начинка Стаса вырвалась на свободу! Он рычал, кричал, колотился в нашу дверь, выбил её и ещё три двери в поисках меня. А я отсиживалась в женской уборной с охапкой еле собранных своих вещей в ночной рубашке. Но вычислить меня и там было делом времени. Потому, спустившись вниз, я попросила убежище у «бабушек». Но те рискнули только дать мне время надеть на себя джинсы и куртку и облегчённо выпроводили через свой балкон на улицу. Все боялись связываться с буяном. Здесь, в глуши. Едва я отбежала от балкона, как услышала – рухнула дверь и у «бабушек». Значит, всё правильно, обижаться на них не стоило. Хотя, как им не жалко было выгнать южанку ночью, в сорокаградусный мороз в лес, в неизвестность? Падая от усталости, я добежала до домика с обслугой. Но подъезд был закрыт. На мои стуки никто не вышел. Кричать сил не было. Ноги и руки коченели, их сводило судорогой. Я пролезла в какую-то сараюшку, спрятавшись хотя бы от ветра. Вытряхнула все свои вещи на ледяной пол и стала натягивать на себя всё, что лезло. На часах три ночи, а первая электричка из Ашмарина в шесть утра и идти к ней километра три через лес. Но выхода не было, была реальность замёрзнуть, если не двигаться... и я пошла... Вот так: один на один со страхами: холода, ночи, погони, леса, одиночества, страхом смерти... На одном желании – выжить! Страхи меня охватывали, останавливали, толкали, мерещились, прыгали за спиной, глазели из леса. Воздух гудел от мороза, перехватывал дыхание и, казалось, был таким материальным, что можно было нарезать его кусочками, как торт.

По времени и расстоянию я уже должна была выйти к длинному металлическому навесному мосту через реку, за которой рукой подать до железнодорожного полотна и остановки электрички. Но вдаль показались маленькие заснеженные крепости деревенских домиков. Под нахлобученными крышами еле просматривались чёрные зрачки окон. Веяло отстранённой тишиной и неприступностью. Собачий лай, по-видимому, тоже замерзал, не долетая до моего слуха. Я бы заплакала, если бы не стекленели от холода глаза. Отклонение от курса километра на полтора-два! Никаких тропинок и дорог: всё замечено. Повернула обратно, пошла так быстро, как получалось. Через непродолжительное время ощущение тревоги стало нарастать. Ускорила шаг, насколько это было по силам. Бесплезно: я слышала ритмичный скрип. Это были шаги... Шаги за моей спиной! Скрип снега от шагов становился всё отчётливее и тяжелее. Неужели меня догоняет обезумевший буян?! Обернулась. И без того натруженное сердечко ухнуло: тёмная мужская фигура настигала меня неминуемо. Нет! Не может быть: фигура движется со стороны деревушки. Это кто-то другой... Мои ноги стали вдвойне пудовыми. Обернулась вновь, теперь уже как овца на заклании. Почти нос к носу... Ух-х: фигура ростом явно ниже ожидаемой.. Едва поравнявшись со мной, не останавливаясь, мужчина молча выдернул мою увесистую спортивную сумку, как пушинку, из моей ооченелой руки и с неизменным темпом продолжал движение, теперь впереди меня, заметно удаляясь... Я семенила за его широченными шагами в состоянии абсолютной чувственной и эмоциональной глухости. Без возможности сопротивляться происходящему. Без выбора... Через энное время послышался шум воды и сквозь мутно-белое облако пара проступил чёрный скелет моста. Когда я ступила

на этот шаткий (на цепях) мост, мой попутчик был уже на его середине. Совершенно не замёрзшая вода гудела внизу под ногами, клубы пара окутывали тело, сводили видимость к нулю.

Жаль, если украдёт мою сумку, вещи, книги – ерунда. Но там паспорт и свидетельство об этой специализации.

Мужчина как быстро отдалялся, так же быстро вдруг стал приближаться, возвращаясь ко мне... Внутри у меня всё сжалось: «Если что, буду прыгать с моста в эту кипящую холодную бездну. Долго мучиться не придётся». Я машинально остановилась, взявшись обеими руками за перила моста, почти готовая перекинуть ногу через перила... Мужчина подошёл достаточно близко, но не вплотную, и резко скомандовал: «Иди за мной! Плетёшься». Он снова начал отдаляться по мосту. Довольно скоро мы дошли до остановки. Электричка должна была подойти минут через сорок. Холод окончательно сковал тело и затруднял дыхание. Мне, южанке, это было смертельное испытание. Я села на ледяную скамейку, единственную на огромной остановке (ноги больше не держали), и нахлобучила свою вязаную шапочку до глаз: так было теплее лицу и не так страшно смотреть на попутчика. А он, попутчик, стоял рядом, доставал из кармана своего полушубка семечки и смачно плевался их кожурой. Потом в своей манере так же резко наклонился прямо к моему лицу и скомандовал: «Раздевайся! Быстро!».

От холода я не смогла ему даже словесно возразить, только попыталась протестующе зыркнуть в его глаза, крепко вколоченные в череп. Он же, недолго ожидая моего решения, почти сдёрнул с меня мою куртку «на рыбьем меху» и, так же размашисто скинув свой овечий вонючий тулуп, накинул его мне на плечи. В тёплые рукава я легко занырнула сама. Попутчик ухмыльнулся и, взяв тулуп за ворот, ловко встряхнул почти всю меня в спасительное тепло. Сам же накинул мою куртку себе на спину (это всё, что она своим размером могла закрыть), уселся рядом, нахохлившись, как большой снегирь. Так, молча, мы дождались появления электрички. Перед самой посадкой мой суровый попутчик опять-таки беспардонно вытащил меня из его тяжёлой, но теплошей упаковки-тулупа и, накинув на меня мою курточку, зашёл в электричку первым, пока я разбиралась с рукавами родной куртки... Электричка тронулась, людей в вагоне, кроме меня и моего странного попутчика, было ещё трое. Я решительно села напротив моего спасителя и начала рассypаться в благодарных речах. Он слушал молча, но недолго:

– Всё, хорош! Понял. Не мешай спать, – он откинулся на своём сидении и вскоре тихо-тихо уснул. Выражение его спящего лица постепенно теряло суровость и становилось мягким, почти улыбочивым...

*«То лицо, явно уголовного элемента... и это – мнимого интеллигента, – Милана Сергеевна покосилась на профессорский нервный профиль, – когда-то я уже видела это неприятное лицо. Но где? Когда?..»*

Самолёт затрясся и загудел, рванул с места и начал набирать скорость.

*«Говорят, не настройшсья, пока не расстроишсья... Так и есть. Более чем чёткие картинки: повтор ранее виденного! Значит, я не ошиблась! Всё в буфете так и случилось... Но почему? Почему эта мразь сидит рядом? Как ни в чём не бывало? Смотрит своими бесстыжими глазами на мир!!!»*

Кресло, ещё недавно занимаемое добродушной Евгенией Петровной, теперь скорбно пустовало... Как Милана Сергеевна ни пыталась отвлекать свои мозги



от происходящего, у неё это получалось всё слабее и неувереннее... Эмоции заклёстывали. Управлять ими было трудно, а вскоре и невозможно:

– Что, уважаемый Валерий Иванович, раскусила вас ваша самая большая кукла?

– Не без чьей-то помощи, как догадываюсь, – на его щеках заходили желваки.

– Ладно, объяснилась она с вами по поводу вашего преступного использования её способностей!.. Но кто вы такой, чтобы отнимать у человека ЖИЗНЬ? Наверно, и опилки в куклах обработаны, чтобы собачьи носики не почуяли... наркоту?

– Что орёшь?! Говори тише, пока говорится... – зашипел сквозь зубы профессор. Он привстал, потянулся за «дипломатом» на полочке над головой. Снял «дипломат». Странно выкрутил его металлическую ручку, из которой теперь торчало заточенное металлическое остриё.

– Будешь сидеть тихо... Читаешь? Читай! А я решу, что с тобой... делать... Овца продвинутая...

Он оставил «дипломат» на полу, зажав между ног. А бывшую ручку, ныне заточку, сунул в карман пиджака. И застыл в физическом и мысленном оцепенении. Милана Сергеевна почувствовала несильную боль в сердце, затем некоторый сбой сердечного ритма. Боль постепенно усиливалась... Она достала из косметички флакончик с таблетками противоаритмического действия и приняла таблетку под язык. Горечь растеклась по всей полости рта.

*«Надо вспомнить что-либо приятное, лучше из детства...»* – Она прикрыла глаза. И тут же «увидела» ветви яблонь, густо усыпанные спелыми краснобокими яблоками. Много ветвей, много деревьев. Это гордость деда – его самый большой в их городе фруктовый сад! И самый заманчивый для детворы. В редкие часы общения с дедом, когда он не работал в своём кабинете за своим огромным письменным столом, украшенным по краям двумя гранитными пепельницами в виде львов, так вот, в эти радостные часы Милана гуляла с дедом по саду. Они собирали спелые яблоки во все имеющиеся в доме большие ёмкости: вёдра, тазы и даже кастрюли, оставляли прямо в саду, для детей, которые, как их ни уговаривали, не заходили в сад через калитку, а романтично лезли через забор, якобы «воруя» яблоки... Вся семья, по возможности, собирала фрукты, чтобы, лазая, дети не ломали ветви деревьев, с такой любовью выращиваемых дедом. Бабушка была больна, по-видимому, тем же недугом, каким сейчас страдает Милана Сергеевна. Она занималась литературой, печаталась в журналах и совместно с домохозяйкой планировала рутинные домашние дела. У бабушки явно были экстрасенсорные способности, которые она, как оказалось позже, передала по наследству в «букете» с титулом и неизвестным нервно-мышечным заболеванием Милане и её двоюродной сестре Ольге. Способности были невинно-врождёнными, а реализация их... весьма...

*«Где-то попался на глаза небольшой рассказ о работе в биофизической лаборатории. Там ещё у героини имя Лана».*

Таблетка начала действовать, боль в сердце почти утихла...

*«Не надо трогать этого психа... Из самолёта не выскочит... Пусть успокоится хотя бы в отношении меня... Евгенич уже ничем не поможет... Экстрасенс я хренов: не смогла предотвратить... Столько предотвратила!.. Скольких уберегла!.. А тут... Возможно, если бы не отвлекалась на просмотр записей, серьёзнее»*

*бы отнеслась к своим предчувствиям и «ясносмотрелкам»... А так – много информации, чувств, энергий прошлого... Всё переплелось и смешалось... Не сконцентрировалась, как могла бы! Прозевала тётку!!! Простите меня! Простите, Евгения Петровна!*

*Ладно. Переключаюсь... пока этот психопат своей заточкой в мою сторону не машет... Ах, если бы ходила... Как-то да сообщила бы кому-нибудь, что произошло и ещё происходит... Если саму меня за сумасшедшую не примут... Да пусть бы и приняли!.. Только бы услышали!!! Но этот... шевельнуться теперь не даст... Всё: не думать о нём!*

*Вот, нашла рассказ...»*

### Секретная лаборатория

В тот год вышла книга Джуны «Слушаю свои руки». Лана давно заметила, что люди прибегают к помощи своих рук, когда травмируют своё тело, или когда у них что-либо болит... рефлекторно прикладывают руки, даже детишки. Всех «слушают» их руки и помогают всем энергией, которую излучают... А тут вышло в свет целое откровение Джуны, как она с помощью своих рук диагностирует болезни и лечит... Естественно, Лане, которая, ещё будучи студенткой, уже пробовала дистанционную диагностику и лечение, и теперь, работая психотерапевтом, тайно «шаманила» подобным методом в особо сложных терапевтических случаях, так вот, для Ланы эта книга явилась некоторым условным пропуском и допуском к подобному врачеванию, находящемуся на стадии изучения и уже публичного признания... Правда, через полгода тайных лечебных манипуляций Ланы Сергеевны уже почти вся огромная клиника была в курсе её успехов, но пока доктора-завистники не стали «катать на неё телегу» одну за другой, больничное руководство не преследовало её действия, а порой даже использовало в своих интересах: полечить своих близких, блатных и просто похвалиться наличием такого редкого специалиста... Когда же анонимные «телеги» стали складываться в стопки, а на очередное приглашение разобраться с жалобой Лана начала отвечать главному, что придёт на приём, когда наконец вспомнит буквы алфавита, скандал о её незаконной деятельности дошёл до облздрава. Главный врач вызвал Лану официально и поставил в известность, что в ближайший понедельник специальная комиссия (состоящая из нескольких зав. отделений клиники, представителя облздраводства, самого главного и его зама), эта комиссия будет определять, действительно ли Лана обладает необычными способностями или она «обыкновенная шиза». Заявка была серьёзной. Накануне экспертизы Лане не спалось. Так бывает всегда: когда нужна свежая рабочая голова, наступает неврогенного плана бессонница. Уже на рассвете, в полудрёме, Лане привиделся растерянный зам главного, в одних плавках. Он стоял перед ней, словно солдат на медкомиссии, и просматривался, как на сканировании... Лане оставалось только запомнить, где, в каких органах у зама есть проблемы. Невыспавшейся, но абсолютно спокойной предстала Лана Сергеевна на профессиональном судилище. (Представителя облздрава почему-то не было). Она ничуть не удивилась, когда, недолго посоветовавшись, доктора решили, чтобы Лана Сергеевна провела своим уникальным методом диагностику состояния здоровья заместителю главного врача. Лана еле сдержала улыбку: «Ура! Помогают Силы высшие, Силы добрые!».

Просто для видимости, на расстоянии двадцати – тридцати сантиметров, она театрално (как это делал когда-то Завадовский) пару раз провела руками по контурам тела зама, попутно вспоминая увиденную ею «картинку» его болезненных органов и сравнивая настоящие свои ощущения. И она, собравшись с мыслями, «на одном дыхании» выдала и «картинку», и свои ощущения. Коллег накрыл лёгкий шок... Зама постиг шок потяжелее: он принялся высказывать свои сомнения по поводу чистоты эксперимента. Даже предположил, что Лана накануне подсмотрела у цехового врача болезни всех здесь присутствующих... Потом он, уже на повышенных тонах, требовал провести психическую экспертизу Лане Сергеевне и почти кричал, что будет протестовать против её сомнительных лечебно-диагностических воздействий на людей. Остальные члены комиссии, удивлённые виденным и слышанным, смотрели на Лану кто с восторгом, кто с интересом, кто с лёгким налётом зависти, но остудить пыл зама не сумели: не решались да и просто не постарались... И Лана поняла: это провал! Работать ей не дадут. В порыве отчаяния она с вызовом бросила в лицо заму пару фраз из чистого ясновидения, которое, как известно, обостряется при стрессах: «У вашей мамы был сахарный диабет, а ваш отец умер от банального ущемления грыжи... И вообще, вас сегодня ждут на праздновании дня рождения, куда вы очень не хотите идти, а я – ваш громоотвод!.. Не за себя, мне за пациентов обидно! Вы их лишаете шанса... А что касается моих способностей и возможностей.. – Она посмотрела по сторонам и, увидев на подоконнике откуда-то взявшуюся вязальную спицу, без всякой обработки проткнула ею себе руку насквозь со словами: «Смотрите зрочки!». Стоявшая рядом зав. неврологическим отделением ошарашенно прокомментировала: «Зрочки на месте! Чудеса...».

– Почему крови нет? – спросил зав. травматологией, когда Лана выдернула из руки спицу.

– Потому что я себя обезболила. Сосуды ещё спазмированы...

– А столбняка не боитесь? – поинтересовалась зав. гастроэнтерологией.

– Какой столбняк? Когда она рефlekсами управляет! – ухмыльнулся зам. И тут же, более мягко, продолжил: «Что, коллеги, будем решать? Я всё равно против, хотя, если быть правдивым, высказанная Ланой Сергеевной информация о моих родственниках меня озадачила: сведений о них у неё быть не могло...». После этих слов зама все повернули лица в сторону главного врача. Он улыбался, и видно было по всему, что к окончательному принятию решения не готов. Так оно и вышло.

Прошло ещё около месяца, но количество анонимных жалоб не уменьшалось: кого-то очень не устраивали успех и слава Ланы. По секрету несколько человек говорили нетрадиционному эскулапу, что это дело рук зама, который боится, что молодой талантливый доктор, при явной симпатии к ней главного врача, вполне может потеснить его с места заместителя главного врача по лечебной части. Лану, естественно, эта должность не прельщала никаким местом, а об опасениях зама она уже догадывалась... давно. После одной из очередных утренних врачебных планёрок у выхода из зала Лану остановил главный:

– Пойми меня правильно, я тебя ценю на вес золота... Но, во избежание всякого рода неприятностей... надо бы занять тебе какой-либо документ, подтверждающий наличие у тебя этих самых способностей... – Он замаялся.

– Ладно. Понимаю... Постараюсь раздобыть... Правда, не знаю, где и как...

Конечно, Лана Сергеевна не собиралась оставить пациентов без своего нетрадиционного врачевания, но крепко задумалась над предупреждением главного. Подсказка не заставила себя долго ждать. Она случайно наткнулась на свою прежнюю записную книжку, на последней странице которой обнаружила номер телефона одной приезжей журналистки, которая говорила ей о какой-то закрытой биофизической лаборатории... А было это так.

Лана Сергеевна выходила из кабинета функциональной диагностики, когда услышала в коридоре женский крик. Коридор был, на удивление, немногочислен. Звала на помощь молодая санитарочка: она постукивала по щекам лежащую на полу без признаков жизни женщину. Лана Сергеевна попросила санитарку срочно позвонить реаниматологам и на автомате начала реанимационные действия. Сердце женщины не запускалось... Тогда она прибегла к своим методам... Ещё до появления реаниматологов женщина уже открыла глаза и села. Её, естественно, оставили в стационаре, чтобы разобраться в причинах острой остановки её сердца. Лана Сергеевна заглянула к спасённой. Женщина средних лет оказалась командировочной столичной журналисткой, пришедшей проведать кого-то из своих знакомых. Ксения Владимировна, как представилась женщина, после словесного шквала благодарностей сказала, что знакома с тем лечением, которое по отношению к ней применила доктор. Предложила познакомить Лану Сергеевну со специалистами подобного профиля, маститыми экстрасенсами, так как имеет доступ в одну из ведущих лабораторий по изучению биоэнергетических возможностей человека. И оставила свой домашний телефон.

Это именно то, что сейчас было так актуально и так необходимо Лане Сергеевне! Спустя некоторое время после выписки журналистки доктор набрала заветный номер. Но ей ответил автоответчик. И так продолжалось целую неделю. А как-то утром Лану разбудил долгожданный незнакомый голос в телефонной трубке. Это была Ксения Владимировна, вернувшаяся из очередной командировки. Напор Ксении Владимировны выдержать не смогла бы ни одна плотина мира... Уже через три дня самолёт, а затем такси доставили Лану Сергеевну к дому известной журналистки. Домом оказалась современного стиля красивая шестиэтажка. Квартира журналистки была на втором этаже. Потоптавшись у двери, Лана нажала на дверной звонок. Хозяйка вылетела вся запыхавшаяся, торопливо поприветствовала гостью, будто сто лет были знакомы и жили нос к носу: «Мой привет вам тоже! Запомняла, как вас зовут? А!.. Вспомнила... Лана! Лана, завтрак на плите, ключ в замке. Позвоню, подъедешь, куда скажу. У меня летучка. Опаздываю. Пока!».

«Немного беспардонная дама... Впрочем, иначе и быть не может: отпечаток профессии...» – подумала Лана, неуверенно шагая на кухню. На кухне было уютно и приятно пахло печеньем, как бывает на кухнях женщин Тельцов и Раков... Лана с огромным удовольствием выпила чай с самодельным печеньем, помыла использованные ею чашечку с ложечкой и прилегла в зале на диванчик. Кажется, даже вздремнула с дороги. В действительность вернул телефонный звонок. Ксения Владимировна осведомилась о Ланиных делах и объяснила, где и на какой остановке она её ждёт и как туда добраться. Лана вышла на улицу незнакомого ей города. Это особое ощущение – идти по улицам незнакомого города: интересно, немного безответственно и немного боязно... Добралась без проблем, встретились, как старые друзья.

– Так, – инструктировала Ксения, – общение без реверансов: мужики серьезные, занятые делом... Говори кратко и по существу.

– Что говорить? – начала пугаться Лана Сергеевна.

– Как работаешь. Объясни, что ты хочешь от них. А если они у тебя выявят способности, скажут, что им нужно будет и от тебя...

– А что им может быть нужно от меня?

– Ну не постель же, на самом-то деле... – начала раздражаться Ксения, – может, участие в каких-либо экспериментах... Не знаю... Да не волнуйся ты так! Я же с тобой!..

Они вошли в солидное учебное заведение, прямо на кафедру биофизики. В её экспериментальный отдел. В огромного размера комнате было три рабочих места и куча всякой специальной аппаратуры. В центре комнаты возвышалась исследовательская камера высотой более чем в два метра. Ксения вела себя, как заведующая: в секунды перезнакомила Лану с молодыми мужчинами-биофизиками с учёными степенями. Общение в их среде было на американский манер: только на ты и по имени. Лане тут же предложили чай с конфетами и, недолго поизучав вновь прибывший объект, как по команде, вновь загрузились каждый своим делом... Вскоре появился и тот, с кем Ксения договорилась по поводу встречи – заведующий этой лабораторией, профессор Илюхин Михаил Викторович: бравый, симпатично-оптимистичного вида, среднего возраста. Он сразу расположил Лану к откровенному общению.

– Очень-очень приятно! Вас звать-величать Лана Сергеевна? Я – Михаил Викторович. Мне было передано, что вы якобы обладаете некой сверхчувствительностью и, соответственно, неординарными способностями, которые применяете в медицине. И что вы спасли жизнь нашей Ксюше... Так, Ксения Владимировна?

Ксения согласно закивала головой, как бравая жеребица...

– Но, а теперь от печки: как, когда и что, и для чего?.. Разговор был в кабинете Михаила Викторовича тет-а-тет. Лана рассказала обо «всём своём необычном» – с самого детства. Упомянула о работе с Завадовским, о своих походах по бабушкам-целительницам; о том, как стала видеть свечения вокруг тел людей, как вела дневник, отмечая интенсивности цвета свечения в связи с возрастом, образованием и заболеванием своих пациентов. Профессор слушал Лану непривычно для неё – крайне внимательно, будто просматривая насквозь всю её и каждое произносимое ею слово... Наконец широко улыбнулся:

– Так вы, уважаемая, почти диссертацию написали в своих наблюдениях. Милости просим в нашу аспирантуру, такие трудяги нам не лишние... А теперь по существу: «Вот вам бумага и карандаши. Рисуйте виденные вами свечения. Извините, я отлучусь минут на десять». Общаясь с Михаилом Викторовичем, Лана невольно продиагностировала и его самого: она очень волновалась, что, по её наблюдениям, почти всегда значительно усиливает её ясновидение. В биополе Михаила Викторовича она «считала» некоторое смещение (в целом) и проблему в работе жёлтой чакры (в частности), а точнее – в работе печени. По возвращении профессора у Ланы были готовы несколько рисунков, отражающих изменение цвета ауры при различных психоэмоциональных состояниях людей, в том числе она успела нарисовать виденное ею свечение поля самого Михаила Викторовича. Профессор взял в руки её рисунки. Помолчал. По-доброму усмехнулся одними губами и удовлетворенно хмыкнул:

– И меня успела «сфотографировать»! Ишь, какие мы приткие... Значит, открытие свершили: свечение видите. Молодец! Что скажешь? Молодец! Он вышел во вторую комнату своего просторного кабинета и вернулся оттуда с огромным, как настенный календарь, атласом. Листайте и сравнивайте! – победоносно заявил профессор.

– Как так? – удивилась, восхитилась и огорчилась одновременно Лана. – Значит, у вас уже есть такие исследования?! Значит, я изобретала велосипед?! И всё зря? Вот это да...

– Да, уважаемая, этим атласам лет десять, не меньше. Работы наши... Изданы в Штатах. А что касается вас, Лана Сергеевна, вы – самородок... Предлагаю обоюдовыгодное сотрудничество. Ведь вам, насколько я понял, нужен документ, подтверждающий ваши способности и возможности? А у меня есть желание привлечь вас к работе над одним исследовательским проектом, если вы, конечно, не против...

Какое там против? Лана от радости чуть не подпрыгнула на месте и не бросилась расцеловывать доброго профессора. Наконец она обретёт полную независимость от мнений консервативных коллег! Будет открыто работать со своими пациентами!!

Но далее всё было не таким радужным... На следующий день журналистка попросила Лану найти какое-нибудь убежище, то есть место жительства, о котором никто не должен знать. Объяснила это тем, что некоторые «чёрненькие» нашли в ней – «светленькой» – серьёзного конкурента на олимпе не только славы, но и будущего бизнеса. И эти люди не устоят ни перед чем, чтобы уничтожить Лану как экстрасенса. Якобы они приглашают к себе в компанию ради общения и знакомства, затем вводят подобных ей талантливых людей в глубокий транс и обесточивают «жертву» до состояния невменяемости, а порой и полного помешательства. И что она сама в своё время пострадала от них, отказавшись популяризировать их в прессе и на телевидении. Мол, пригласили «на мировую» и захлопнули ловушку: введя журналистку в транс, заставили общаться с её умершим одиннадцатилетним сыном...

– Я чётко видела своего сыночка, сидящего напротив меня, и говорила, говорила с ним несколько часов напролёт, этим сволочам на потеху, пока не отключилась от психоэнергетического истощения. А могла бы и свихнуться... В общем, мне позвонили... Интересовались тобой... Засекречивайся! В лабораторию ездить только на такси и то не из места ночлега, а с любого другого (магазин, аптека и пр.). Домой тоже не сразу... Всё понятно? Неглупая, разберёшься...

– А кто эти люди? Откуда?

– Группа амбициозных особей, обозлённых на непризнание их способностей... Завистливые, мстительные, имеющие неплохую поддержку в некоторых инстанциях... Потому и беспредельничают. Кстати, некоторые из них практикуют и гребут немерено... Так что в случае чего за ценой за твою башку не постоят...

– Господи! Детектив какой-то... Не шутите?

– Я не попугай! Не повторяю... Пойдём, хлопнем чайку на посошок...

Чай был горячий, ароматный. Но вкуса Лана не чувствовала:

– Вот и проблемки повалились... А ты как хотела: на блюдечке с каёмочкой? Куда? К кому? Так, кажется, здесь жила, а может быть, и сейчас живёт моя одноклассница: то ли художник, то ли архитектор... Не помню. Только бы фамилию не сменила! Надо в адресную справку... По телефону, пока он рядом.

– А хочешь, я тебе покажу этих беспредельников? У нас во Дворце комсомола на неделе будет их платное одурачивание населения. Билеты, естественно, дорогие, но я тебя за сотрудницу нашу выдам, а для пущей важности «фотик» на шею повесишь. Ну что, решено?

Лана согласно кивнула головой. И пошла набирать 09. Приятный женский голос сообщил ей, куда необходимо перезвонить, и... о счастье! Сработало! Адрес в кармане! Поблагодарив заботливую Ксению, Лана отправилась на поиски одноклассницы. Соблюдая конспирацию, добралась до нужного микрорайона, дома, квартиры. За дверь хныкал ребёнок. Одноклассница Зоя так застыла в дверях, от неожиданности увидев Лану, что Лане показалось, будто и сидящий на её руках курносый мальчуган тоже на мгновение застыл с тем же выражением лица... Лана улыбкой и объятиями «сказала» им: «Отомри!». И фигуры послушались... Сколько было разговоров и воспоминаний! Сколько ахов и вздохов! Угомонились глубоко за полночь. Лана не стала подставлять Зою её неведением и рассказала всё как есть. Зойка не испугалась, а наоборот... Уставшая от одиночества, привязанная к дому малышом, она с удовольствием выбросила себе в кровь дозу адреналина.

Итак, у Ланы теперь была конспиративная квартира и надёжный человек, а это уже многое... Посещать лабораторию приходилось ежедневно. Вначале были невинные опыты: дистанционно, вслепую определять параметры предметов, работать с фотографиями, всевозможные поисковые тесты и прочие опыты, связанные с применением ясновидения, яснослышания, телепатии, телекинеза... Затем работа в изолированной камере, где определялся энергопотенциал биополя человека в различных его эмоционально-действенных состояниях, выявление предельных способностей участия в энергообмене (донор – реципиент) и прочие штучки... А через неделю Лану пригласили в радиоизотопную лабораторию с целью диагностики её биополя методом Кирлиана. Всеми результатами исследования, и особенно последним, Михаил Викторович остался очень доволен. Правда, Лане пришлось подписать некоторые бумаги о неразглашении... но тогда она этому должного значения не придавала и о том, что это ей может аукнуться впоследствии, не заподозрила. Работа её поглотила, вернее, проглотила всё её свободное время... Времени на личное не было абсолютно. И всё-таки Лана не осталась незамеченной: ей давно и аккуратно симпатизировал Виталий – один из инженеров-биофизиков, естественно, женатый. Он был дружен с журналисткой Ксенией, которая довольно часто заскакивала в лабораторию и в отсутствие начальства по блату диагностировала параметры своего биополя.

– Виталий! Почему мне справку не даёте, что я экстрасенс? Смотри, какие у меня показатели, на одну треть выше, чем у Ланки. Над Ланкой трясётесь прямо... А на меня – ноль внимания!

– У тебя, Ксюша, параметры-то не твои... Удивительно, как ты умудряешься собрать на себя энергию всех подряд: прохожих, таксистов, своих сотрудников, даже нас... короче, всех, кого зацепишь... Да плюс кофе вливаешь, как воду... А Лана и с Джуной потягаться может! И пашет за троих... Хочешь, давай проверим: мы с Ланой в буфет сейчас пойдём, а ты – паши. Посмотрим, что выдашь без нас.

– Пойдёмте, Лана Сергеевна, самое время перекусить!..

В институтском буфете, на удивление, народу было мало. Виталий принёс два стакана сока и несколько булочек. Отпивая сок маленьким глоточками, он внимательно смотрел на Лану: на её руки, шею, её длинные волнистые волосы.

– А что, Лана Сергеевна, небось кружишь головы своим пациентам, девочка-то ты – ничего!.. И психотерапевт неслабый...

– Ой, не говори, Виталик, с этим у меня целая проблема... Не я, а они мне окончательно голову свернули, вернее, мозги... Не знаю, как быть? Особенно последнее время, после всех здешних манипуляций, только начинаю групповые сеансы, меня просто несёт на импровизуху, и сил – хоть горы вороти. Мне кажется, что моих пациентов даже лихорадит от моей энергии! И, знаешь, они... стали раздеваться у меня на гипнозе...

– Как раздеваться?

– А так: если не контролировать, то полностью с себя одежду снимают. Сначала думала, что море жарким даю. Сменили на лес. Всё равно раздеваются и улыбаются блаженно-блаженно... И мужчины и женщины... Видно, как им хорошо... Прикинь?! Пошли признания в чувствах, стихи пишут, даже рисуют меня... В коридоре вылавливают, чтобы увидеть... Просто какая-то эпидемия на любовь ко мне! Я понимаю, что что-то не то... так быть не должно... Обращалась за помощью к своему великому Ник-Нику, профессор всё-таки и стаж у него не мне чета... Ну, говорит, пациенты тебе душу свою открывают, создаётся особое чувство доверия, сопереживания, участия, симпатии и даже влюблённости. И что такого? А душа, она бесполо... Но посоветовал тембр голоса сменить на более жёсткий. Несколько раз дистанцироваться формулой внушения, что «я врач для вас и только врач»... Короче, всё пробовала, и всё безуспешно... Может, вы что-нибудь подскажите? Ведь порвут на фантики вашу «вторую Джуну»!. Не жалко?..

– Не жалко. Нам и одной хватит... А если всерьёз, то ты их, своих пациентов, слишком любишь... Ведь правда любишь? А они в большинстве своём – недолюбленные...

– Ещё как люблю!! Всё готова им отдать, только бы помочь... Они все такие славные!!

– Ты, Лана, этими эмоциями недостаточно совершенно владеешь. И по твоим показателям это явно... Тебя энергетически разносит! Ты и сама это чувствуешь. А они, бедняжки, – заложники твоего чувственного посыла. «Гипноз» как переводится? Как сон. Вот они тебя и любят во сне, а некоторые затем эти ощущения и на явь переносят... Кто осознанно, а кто на подкорке... Учись владеть собой!

## Покушение

Милана Сергеевна продолжала листать свою рукопись, держа под неусыпным контролем любое движение профессора. В свою очередь профессор был ещё более начеку... Милана заправила торчащие из открытого бумажного рта записной книжки прочитанные, просмотренные и ещё нетронутые вниманием листы своей рукописи. Откинув кресло, прикрыла глаза. Профессор сделал то же... Её мысли и воспоминания настойчиво крутились вокруг темы лаборатории. Вспоминалось обследование в клинике нервных болезней, когда её оставили на две ночи одну на весь тёмный безлюдный этаж исследовательской лаборатории и всю ночь провокационно «пытали» резкими звуками, криками, исследуя при этом реакцию её головного мозга на внешние раздражители. При этом, увешанная электродами энцефалографа, она ещё и выполняла кучу психологических и прочей направленности тестов. Сейчас, спустя столько лет, она вряд ли



получила бы такие высокие баллы по исследованию своей высшей нервной деятельности. А тогда она безошибочно работала с целым рядом всякого материала и фотографиями... Вспоминая последние, Милана сильно разволновалась. Беспокойство нарастало, как снежный ком... Перед глазами начали мелькать лица людей на просматриваемых тогда ею фотографиях. Они мелькали всё быстрее и быстрее... И это мелькание сопровождалось теми звуками – внешними раздражителями... И вся эта карусель лиц и звуков будто двигалась по тому темному безлюдному коридору... И от всего этого невозможно было избавиться: она, как тогда, ощущала себя привязанной электродами... Не убежать, не спрятаться... Фотографии... Они стали крутиться медленнее, медленнее и... остановка! Вот оно – знакомое лицо... Лицо из серии фотографий, связанных с темой разведки... Иностранец. Шпион, которого добрый десяток лет не удавалось зацепить двум подразделениям службы... Это – он!!! Вот откуда ей знакомо его лицо. Он – её сосед по креслу! Профессор Валерий – хрен! – Иванович! Сердце Миланы Сергеевны набирало обороты и начало трепыхаться пойманной птичкой... Приступ аритмии разворачивался во всей красе. Происходящие с её лицом перемены не остались незамеченными профессором... Милана Сергеевна достала из сумочки косметичку, нужное противоаритмическое средство... Но профессор с ловкостью карточного шулера выбил из её руки таблетку... Та же участь тут же постигла и весь флакончик со спасительными таблетками, которые беззвучно рассыпались под креслом...

– Сволочь!!! Я знаю, кто ты... – задыхаясь, проговорила Милана.

– Вот и хорошо, что знаешь... – Он приблизил к ней своё противное лицо...

Последним рывком сил Милана сумела надавить на кнопку вызова. Профессор не ожидал от практически умирающего человека такого волевого движения. Стюардесса подошла быстро. Её слова Милана слышала просто звуками... ни о чём... Она то проваливалась в какую-то невидимую перину, то выныривала, будто из-под воды... На мгновение умом отследила, что стюардесса рядом, и крикнула: «Шпион! Это шпион!!!». Это ей так казалось, что она кричит, на самом деле она еле выговаривала слова шёпотом... Стюардесса что-то будто бы понимала или не понимала, но от Миланы не отходила... И тут Милану, как обожгло: она увидела, как профессор берёт стаканчик, наверно, с успокаивающим, из рук стюардессы в свою руку... Удержать свои глаза открытыми Милана не смогла: слишком тяжёлыми были веки, но и с закрытыми глазами она «увидела», как профессор капает в стаканчик какую-то жидкость, выдавив её из маленького мягкого пластмассового резервуара (в каком обычно продаются глазные капли).

*«Яд! – мелькнуло в угасающем сознании Миланы. – Тот же способ, что и Евгению... И почему-то, мне кажется, и его самого... А не остриём...»*

Профессор противно дышал ей в лицо:

– Пейте!! Пейте... и станет лучше...

Милана, как могла, плотно сжала свои губы. И невероятным усилием воли заставила себя открыть глаза, чтобы не только через взгляд, а уже всем своим телом нанести тот, запретный в обычных энергетических практиках удар. Разряд получился. Скрючившись, профессор выронил из руки стаканчик с жидкостью и пролил её на себя. Он тут же соскочил с места и понёсся в хвостовую часть самолёта. Через минуту за ним проследовал прибалт. Но Милана этого уже не отслеживала. Она уже это «просто знала». Стюардесса пыталась растереть пассажирке

виски нашатырём, надевала кислородную маску... Подоспевшая на помощь вторая бортпроводница заметила таблетки на полу у ног пассажирки...

– Наверно, это её таблетки? Давайте попробуем положить под язык... – Девушка разломила таблетку и положила Милане за нижнюю губу. Самолёт подавал намёки на снижение... Первая стюардесса оставалась сидеть рядом с Миланой, а вторая отправилась в радиорубку, чтобы объявить о том, что самолёт идёт на посадку, и вызвать медицинскую помощь к трапу их самолёта.

– Как она? – вернулась бортпроводница. – До посадки дотянем?

– Не уверена. Правда, один раз она будто слотнула слюну. И не такая мертво бледная...

Мозг Миланы понемногу оживал:

*«Где я? А, самолёт... Профессор... Сашенька!.. Мама!.. Валера!.. Книга... Жизнь... – она открыла глаза. – Стюардесса... та самая... Надо было кричать ей тогда, а не говорить... Не прошла бы мимо... был шанс спасти Евгению... Нет. Не было: я была не уверена...»*

– Ну слава богу! Приходите в себя! Господи!! Как вы нас напугали! Что вам дать? Какие препараты? Уже посадка. Там «скорая», даже реанимация! Держитесь, миленькая! – стюардесса нервно гладила пассажирку по руке. – Всё будет хорошо.

– Да? – будто бы удивилась Милана словам стюардессы и опять стала проваливаться в неощутимую перину облаков... Затем она снова очнулась, когда кто-то нёс её к выходу из самолёта: куда-то к свету. Она узнавала их лица: родные, любимые... и радовалась им где-то в груди, где находятся сердце и душа... Только проявить свою радость не могла... Её скованные мышцы не двигались... Она ловила взглядом уплывающие от неё лица ребят и пыталась им сказать самое важное:

– Ребята шпионаж главный убит пособником прибалтом сумка клетчатая куклы маленькие в Мин обороны, ФСБ там знают всё... Люблю...

Она чувствовала, что он держит её на руках, ощущала запах его волос и свежевыглаженной рубашки. А потом уже просто видела себя на его руках, со стороны, поднимаясь вверх по своей самой яркой взлётной полосе... И чем стремительнее она отдалялась, тем ближе ей становились и любимый, вмиг постаревший Валера, и растерянный Вовка, и тревожный серебристый самолёт... и жёлтенький реанимобиль... Всё теперь казалось таким крохотным, таким игрушечным...

19. 02.2011

**Виктор Петров****«И ДРУГОМ СТАНЕТ МНЕ ОГОНЬ...»****ВВЕРХ ПО ОБИ**

*И в глыбе льда таится чистый разум...*

Жерар де Нерваль

Уплывает на север моё отраженье,  
Молчаливая память непроглядной воды,  
И не нужно богатого воображенья,  
Чтоб увидеть его унесенным во льды.

В заполярном кристалле оно сохранится,  
Запечатанным в гранях на года и века,  
Рядом вспыхивать будут белоснежные птицы,  
Всё, что видела, всё, что любила река.

Драгоценно живое, оно не исчезнет,  
Даже если рассыплется мир, но вода  
В новорожденной бездне, в замороженной песне  
Сохранит нас в себе навсегда.

\* \* \*

Неубиенный бубенец  
Под лубяной дугой  
Блестит в дороге снеговой,  
Как месяц-леденец.

И поезд свадебный летит,  
И ленты на ветру...  
На чьём веку, в каком миру  
Открылся этот вид:

Звонит церквушка на яру,  
И бубенец звенит!

**НА СЕВЕРЕ**

Ещё креним во льдах тугие лбы,  
Пытаясь разгадать: зачем? откуда?  
Но первый, кто цветок огня добыл,  
Нашел прямой, простой ответ: «От чуда».

Деревья ветви гнут, чтобы плоды  
Нас усладили спелостью своею,  
И звери лапятся и нюхают следы,  
И тянутся к цветку, в Гиперборею.

**ПОСЛЕДНИЙ ИЗ ВЛАДЫК**

*Он выбрал свет, он стал собой...*

Уйду к началу – и начну  
Впечатывать неверный шаг,  
И ночью звезды обниму,  
И днём найду пещерный мрак.

И в этот дом введу жену,  
Умом по времени скользя,  
Она похожа на луну,  
И не любить её нельзя.

На камне выложу очаг,  
Из кремня сотворю скребок,  
И полыхнёт любовь в очах,  
Чтоб я её увидеть смог.

И другом станет мне огонь,  
Начнет со мною говорить:  
Кто я такой, кто он такой,  
Зачем ликует и горит.

И если всё вокруг бежит  
Порывов диких на ветру,  
Он без меня не может жить,  
Но без огня и я умру!

Дорога бездны коротка,  
Мне дня от ночи не отнять,  
И начали отсчёт века,  
Под содрогание огня.

Мир кровью изнутри омыт  
И звездным небом просвещён,  
Мы медленно меняем вид  
В потоке выживших времён.

Всё начинается с огня  
И завершится всё огнём,  
На грани нынешнего дня  
Край мироздания отогнём...

И весь в огне, и всё во мне:  
Долины, реки и холмы,  
И гребни волн, и на волне  
Летим, возлюбленные, мы.

Да, на одной волне летим,  
Неотличимы – ты и я.  
Огонь горит, струится дым,  
Ворочается в нас Земля.

Мы искры вечного костра,  
В одно пылание слились.  
И озаряет нас с утра  
Неугасаемая жизнь!

\* \* \*

Сегодня склоняются ветви страниц,  
Сладким соком полнится книга.  
Почему бы не начать собирать  
Эти плоды, раз уж выпало лето такое?  
Да нет охотников короб наполнить,  
Нет дураков до открытого сада,  
До спелого слова  
Вновь народившейся книги –  
Свои в палисаде и те не едятся.

\* \* \*

Не уместиться  
На одной странице  
Деревцу и девушке,  
Городу и деревушке.  
Мир по слогам, по стихам  
Проступал, шумел и стихал.  
Даже двум слезинкам и реснице  
Не уместиться на одной странице.

## Юрий Мороз

### CODA

Забытый дом. Немытое окно.  
В сыром углу жил композитор Климов.  
Над нотным станом свет сошёлся клином.  
А он горел, и пел, и пил вино.

Из музучилища к нему пришли.  
Засуетился Михаил Иваныч...  
Опохмелиться, значит, будет на ночь,  
Коль за работу зелье принесли.

Задачи по гармонии просты.  
Он их давно как семечки щелкает.  
Ведь композитор – каждый его знает,  
Знакомые пропитые черты.

Он в драмтеатре музыку писал.  
На всех афишах крупно имя «КЛИМОВ».  
Аплодисменты рвались, словно мины.  
Любой поклонник рубль подавал.

Когда-то он на Мойке проживал,  
Затем за пьянку выслан до Казани,  
И с бодуна очнувшись в Казахстане,  
Всё Климов в музыке переживал.

Он дирижировал. Его несло  
Теченьем тьмы в подвальное жилище  
По коридору в пьяную вонищу,  
Где всем чертям он выживал назло.

С утра он кланчил денег по ворам,  
Бутылки собирая на похмелье.  
Приобретая вновь любое зелье,  
Он бормотушил душу со вчера.

Погасла жизнь. Грустит на свет окно.  
И от Москвы с дипломом до помойки  
Свалился Климов, на ногах не стойкий.  
В кармане – тара. А на дне – вино.

**P.S.**

И небосвод пронзительно урчит.  
Щемят оркестром ветры-сострадальцы.  
С дипломами студенты вяжут пальцы.  
И память их, и музыка молчит.

*1961 г.*

Стихотворения Юрия Леонидовича Мороза (1941 – 2011) попали ко мне, можно сказать, случайно. Зная о том, что сам я грешу сочинительством, попросили дать оценку его строчкам. Об авторе сказали, что преподавал в музыкальной школе, хорошо играл на баяне. Всю жизнь писал стихи, рисовал.

Вот так он сам себя представляет: «И весь, как есть, я в творческой судьбе. Самим собой всегда стараюсь быть...». Стихи полны иронии, юмора, лирики, неприятия сегодняшнего несправедного времени. Авторские взгляды высказаны определенно. Но иногда стихам очевидно вредит риторика. «Двоедушные льстецы не друзья, а подлецы». Тут уж задумаешься: рифмованная сатира ближе автору или всё-таки ему хочется чего-то большего.

Перебирая сочинения Мороза (по свидетельству родных, у него осталось их тысячи две), вдруг наталкиваюсь на стихотворение «CODA» и понимаю: вот оно – то, что написано с болью, отчаянием, с тем состраданием, с которым пишутся настоящие стихи. Дата говорит о том, что в момент создания автору было 20 лет. Описана ли им реальная судьба или персонаж его выдуман – не столь важно. Главное, что такие творческие удачи случаются не каждый день и не каждый год.

Может быть, родственники Юрия Мороза издадут избранные его строки. И это будет память на многие годы. Всё-таки слово – материал долговечный.

*Владимир Крюков*

**Лариса Кузнецова****«УТРОМ В ЗЕРКАЛЕ – ЗВЕЗДА»**

\* \* \*

Вечер, здравствуй! Здравствуй, ночь!  
Всё плохое разом прочь!  
Похвали свою кровать  
И ложись скорее спать.  
Детство. Мама. Счастье. Да!  
Утром в зеркале – звезда!

\* \* \*

Спой мне, милая певунья,  
Спой, гитара, в тишине,  
Изумрудной ночью лунной  
О тебе и обо мне.  
О закатах и восходах,  
О малиновой заре,  
О девчонке босоногой  
И о таинстве морей.

\* \* \*

Снег плывёт и задумчиво кружит.  
Первый снег! Как со мною он дружит!  
Первый снег и прощание тёплое с осенью.  
Вот зима на деревья накидку набросила.  
Я немного грущу. Я зимы не хочу и не верю ей.  
Не хочу расставаться с роскошной осенней мистерией!



## Владимир Жолнеровский

### «ИМПЕРАТОРКА»

*И какой русский не любит быстрой езды!*

*Н.В. Гоголь*

И какой мальчишка в раннем детстве не мечтает о ружье, пусть даже самом что ни на есть паршивеньком. Тем более здесь, у нас в Сибири, где всякой живности видимо-невидимо. С нескрываемой завистью смотрит он на взрослого мужчину, опоясанного патронташем с ружьём на плече.

Вот и появляются у подростков различные огнестрельные приспособления, нередко приводящие к плачевным результатам. Хорошо, если в деревне найдется мужчина, понимающий детскую душу. Он даст не только подержать ружьё в руках, но и не пожалеет патрона для первого в жизни пацана выстрела. Был такой мужчина в моём детстве. Звали его Степаном. Работал он бондарем вместе со своим шурином Михаилом в бондарке местного маслозавода. Они делали кедровые бочки, в которые на заводе заливали топлёное масло, идущее на экспорт.

Мы – это Генка, Васька и я, были частыми гостями в бондарке. Наше появление всегда вызывало лёгкий перекур у мужиков. Они откладывали в сторону инструмент, садились на верстак, доставали кисеты и делали самокрутки. Движения их были неторопливыми, основательными. При этом Степан всегда курил молча, а Михаил непременно заводил с нами беседу. Был он весёлым, неунывающим, постоянно шутил, смешил нас и сам смеялся от души. Вместо правой ноги у него была деревяшка, какую имели многие инвалиды русской армии прошедших эпох. Ногу он потерял не на фронте, а на лесозаготовке ещё до войны. Но, казалось, эта утрата ничуть не угнетала его, напротив, он порой подтрунивал по этому поводу. Михаил мог, наверное, с нами ещё много зубоскалить, но Степан, закончив курить, тушил окурок в консервной банке, поднимался с верстака, коротко бросив нам – гуляйте, и брался за инструмент.

Степан – явная противоположность Михаилу: немногословен, редкая улыбка освещала его лицо. В 1944 году был тяжело ранен и контужен. Долго лежал в госпитале. Ему светила «серьёзная инвалидность». Об этом Степан написал жене в деревню. Либо он «сгустил» слишком «краски», описывая своё состояние, желая испытать жену, либо женщина оказалась предельно практичной (зачем ей, молодой, муж-инвалид), но она незамедлительно нашла другого мужчину и отбыла с ним в неизвестном направлении.

Вернулся Степан домой долечивать фронтовые раны весной 45-го года. Обнаружив пропажу, запил. Но, начавшийся рыбный сезон отвлек его от душевных переживаний. Степан слыл непревзойдённым рыбаком, и, как говорится, с головой ушёл в любимое дело. Это его и спасло.

Потом мастер маслозавода пригласила его на работу в бондарку. Надвигался новый «молочный сезон», и необходимо было заготовить нужное количество тары, а один бондарь явно не справлялся.

Вторично Степан так и не женился. Продав прежнее жильё, переселился во вторую половину дома, в котором была бондарка. Новое место жительства было для Степана стратегически выгодно: за стенкой работа, а в десятке метров от дома – река. Сюда он перевёз весь свой рыбацкий скарб и как обязательный атрибут – обласок, рассчитанный на два человека.

Второй обласок – «полуторку» – Степан делал около своего нового места жительства, пригнав сюда по большой воде тополёвое бревно. Весь технологический процесс прошёл у нас на глазах. Степан был скуп на слова и на наши вопросы отвечал коротко: «Глаза есть – смотри!».

И мы смотрели, сидя рядом на брёвнышке. Прошло уже несколько десятков лет, а в моем памяти, как на киноленте, запечатлён весь процесс. Вот она, жизненная наука!

Год 1949-й. Эхо войны постепенно стихает, оседая запоздалыми похоронками в самых дальних уголках Отечества. Середина августа, кончается лето. Сидим в бондарке в своём неизменном составе. Михаил, по своему обыкновению, смешит нас своими шутками-прибаутками. Степан молча курит. Иногда Михаил переводит разговор на серьёзные темы, так сказать, проверяя нашу «взрослость». О чём мы говорим? О минувшей войне, о страшных наводнениях 41-го и 47-го годов, о голоде, который испытали и мы, дети; о рыбалке, об урожае ягод, грибов, шишек. Но о чём бы ни шли разговоры, всякий раз они перерастали в разговоры об охоте. А ведь мы были уже неплохими добытчиками и зайцев, и колонков, и горностаев, и кротов.

Однажды во время такого разговора Степан поднялся с верстака и вышел из бондарки. Слышно было, как хлопнула дверь во второй половине дома. Через некоторое время он вернулся, держа в руках ружьё. Глаза наши устремились, а руки потянулись к вожделенной вещи. Ружьё было явно древним, с боковым накладным замком, одноствольное. Тончайшая ржавчина покрывала все его металлические части, красноречиво говоря сама за себя.

Мы по очереди брали его в руки, прикладывая к плечу. И хоть ружьё было двенадцатого калибра, каждый из нас отмечал его лёгкость. Лёгкость объяснялась минимальной толщиной стенок ствола. Бросалась в глаза необычайная длина его. Степан принёс с собой кулёк пороху, десятка два капсулей и с десяток латунных гильз.

– Постреляете и принесете обратно, – коротко бросил он нам.

Получив ружьё в руки, мы тщательно вычистили его, промыв ствол в мыльной воде до блеска. Удивительно, что лишь в начале ствола, за патронником, была мелкая «сыпь», а далее ствол блестел как новый. Если смотреть в него на свет, можно было видеть внутри кольца, как бы вложенные одно в другое. Ствол был изготовлен по старой технологии. Уже при чистке мы обратили внимание, что он к концу сужается.

Промыв, протерев насухо и смазав ствол изнутри, мы удалили ржавчину с поверхности, воспользовавшись «услугами» красной школьной резинки. И тут нашему взору предстала надпись с характерной «ятью» на концах слов: «Императорский Тульский оружейный завод. Выпуск 1905 года».

С этого момента мы называли ружьё не иначе, как «императорка». Как било оно! Сколько уток добыли мы с ним! Сколько радости принесло оно нам, пацанам! Но не было ни одного случая, когда бы Степан нам отказал. Я с великой

благодарностью вспоминаю его, сумевшего разгадать сокровенную тайну детских душ и приобщившего нас к древнему мужскому ремеслу – охоте.

Последний раз со Степаном и Михаилом нам довелось быть вместе в 1954 году. Мы косили сено на берегах знаменитых озёр Бурульдо (по-остяцки – Пур-рульдо), на заливных лугах под Колпашевом. Эти древние озёра (их три) изобилуют рыбой, и Степан привозил с собой снасти и обласок. Каких громадных линей ловил он в фитили! Не лини, а подсвинки килограммов по пять каждый!

Сено было накошено, и предстоял отъезд. Перед отъездом решили сходить на охоту, благо, она открылась двадцатого августа. Идём втроём (Генка с родителями уехал на другое место жительства), у всех ружья: у меня одностволка шестнадцатого калибра, у Васьки – двадцатка. У Степана покачивается высоко над головой ствол его «императорки».

Озёра длиной в несколько километров, ширина колеблется от пятидесяти до ста метров. Противоположный берег местами болотистый, зарос камышом, рогозом; в небольших заливчиках, густо покрытых ряской, копошатся непуганые утки. В одном месте видим их большое скопление, останавливаемся.

– Стреляй, – обращаясь к Степану, говорит Васька.

– А сплаваешь?

– Сплаваю, – уверенно отвечает Васька.

Степан снимает с плеча ружьё, взводит курок, целится. Гремит выстрел. Если бы стрелял я или Васька из своих ружей, то дробь стала бы падать в воду с середины озера, а тут, с расстояния не менее семидесяти метров, под противоположным берегом, словно кто-то ударил кнутом по воде – и пара уток перевернулась вверх лапками.

Не говоря ни слова, Васька разделся и поплыл, а вернулся обратно, держа по-собачьи в зубах пару крякв. Вряд ли вы найдете у современных ружей: и отечественных, и зарубежных – такой бой. Все они отличаются друг от друга лишь внешним видом да ценой, а бой примерно одинаков.

Дальнейшая судьба Степана и его уникального ружья мне неизвестна, так как в том же году я уехал в Томск на учёбу и в посёлок более не вернулся.

**P.S.** Не сомневаюсь, что у кого-то из городских охотников и сейчас хранится подобное ружьё. Мне думается, что наша популярная охотничья газета смогла бы осуществить поиск владельца ружья. А я, со своей стороны, хотел бы встретиться с ним, услышать его отзыв, и еще раз подержать в руках это уникальное ружьё, которое в далёком детстве мы называли ласково – «императорка».

Вот такие уникальные ружья выпускал в прошлом наш «Императорский Тульский оружейный завод».

## Владимир Силкин

### СЕРДЕЧНАЯ ТРАВА

#### Бор

Песнь соловьиная ночью в бору,  
Тишь первозданная в нём поутру.

Я полюбил этот солнечный храм,  
Настежь открытый свободным ветрам.

И потому я счастливым живу,  
Что понимаю и лес, и траву.

#### В день рождения

Ждал друзей, но оказалось,  
Что друзей-то не осталось.

Разбросало по земле,  
Поизнежило в тепле.

Ну, а тот, кого считал  
Я врагом, врагом не стал.

Отыскал неожиданно дом  
И напомнил о былом.

– Поздравляю! Извини!  
Если можешь, не гони...

– Заходи, – сказал ему, –  
Что припёрся, не пойму?!

Посидели, всё сказав,  
Я вдруг понял, был не прав.

Я сказал: «Не уходи,  
Всё, что было, позади!»

Ждал друзей, но оказалось,  
Что врагов-то не осталось.

**За кудыкины горы**

- Ухожу, оставляю твой город  
И холодные лица его...  
– А куда?  
– За кудыкины горы!  
– А зачем?  
– Чтоб не зреть никого!
- Хорошо! А вернёшься-то скоро?  
– Я не знаю... Видать, никогда...  
– Где они, эти самые горы?  
– Я впервые собрался туда...

Надоели чужие укоры,  
Каждый учит по-своему жить.  
Ухожу за кудыкины горы...  
А куда дураку уходить?!

**Зимний сон**

Хочешь сказку? Вот она!  
Вон снега какие вьются!  
Можно даже из окна  
В эту сказку окунуться.

Только ты ступай на снег  
И шагай напропалую.  
И тебя одну при всех  
Я возьму и расцелую.

Снега не было давно,  
А теперь сугробы всюду.  
Если Богом суждено,  
Я с тобою счастлив буду.

Снег искрится на окне,  
Этот снег никак не тает.  
Но тебя, как прежде, мне  
В снегопады не хватает.

...Просыпаюсь и молчу.  
Может, сон сегодня в руку?  
– Возвращайся, – я кричу, –  
Хватит праздновать разлуку!

**В двадцатых числах октября**

В двадцатых числах октября,  
В двадцатых числах  
Деревя сбросили наряд,  
И тишь повисла.

На огородах у реки  
Дым коромыслом,  
И только спорят сквозняки,  
Но всё вне смысла.

Плывут с одышкой облака,  
Плывут с одышкой,  
И что-то там наверняка  
У них с сердчишком.

А людям хочется тепла  
В такую пору,  
Но эта туча поплыла,  
Увы, под гору.

А, значит, снова слякотень,  
Пора озноба.  
В такой смурной октябрьский день  
Глядите в оба.

Глядите в оба, мужики,  
Глядите в оба,  
Когда клянутся от тоски  
Любить до гроба.

И пусть глаза подруг горят,  
Как в душном мае,  
В двадцатых числах октября  
Не то бывает.

**Одиночество**

Жену схоронил и невестку  
И с внуком стал век вековать.  
Но внуку прислали повестку,  
И внуку пришлось воевать.

На счастье надеялся, строил  
Беседку в саду и не кис.  
Но внук стал посмертно Героем,  
И жизнь потеряла свой смысл.

Он ладит у дома качели,  
Едва шелохнётся весна...  
А вот и грачи прилетели.  
Какая быть может война?!

### **Посадка**

Возвращаемся с заданья,  
Фляжку теплую деля,  
А внизу мелькают зданья,  
Чёрно-белые поля.

Хорошо в тепле чумазым,  
Каждый радуется, цел:  
Бивший в нас «Иглою» промазал  
И к Аллаху отлетел.

Вот огни аэродрома  
Прорезаются во мгле.  
Мы уже почти что дома,  
Мы почти что на земле.

Этой зябкою порою  
Страшно хочется тепла.  
В этот раз над Ханкалою  
В нас вонзается «Игла».

Вертолёт, десантом полный,  
Всем нутром своим хрипит.  
Дальше я уже не помню,  
Дальше я уже убит.

### **Свет**

Светятся лес и поле,  
Хрупкие облака.  
И отступают боли,  
И не берёт тоска.

Птица светло запела  
В зарослях у реки,  
Стайкой во ржи неспелой  
Плавают васильки.

Светятся счастьем рыбы,  
Светом полна ветла.  
Всем и за всё спасибо,  
Всем на земле тепла!

Пусть никогда не будет  
Зла на чужих устах.  
Не осуждайте, люди,  
Ежели что не так.

### Сердечная трава

Как, вы не слышали имя такое?!  
Но, говорят, и поныне жива.  
Я как услышал, лишился покоя,  
Что есть такая в России трава.

Все перелески в округе облазил,  
Лугом и полем ходил целый год.  
Но не нашёл. Видно, кто-нибудь сглазил,  
Но всё равно где-то есть и живёт.

Разве возможно на свете иначе!  
Ну, не увиделись, жребий не мой.  
Я понимаю, большая удача  
Встретиться в жизни с сердечной травой.

Ну, разминулись, но это не драма,  
Это житейские, в общем, дела.  
Если б нашёл, вероятно, и мама  
Рядом со мною ещё пожила.

### Царевна-лягушка

Вишни медленно таяли в кружках,  
Волновалась лягушка в пруду,  
И весёлое небо в веснушках  
Соловьём заливалось в саду.

И цветы пробегали по грядкам,  
Разнося свой божественный дым  
По твоим ещё дремлющим прядкам,  
По ресницам твоим золотым.

Да была ли ты, ранняя, рядом,  
И тебя ли я столько искал!  
Соловей из соседнего сада  
Беспреданно тебя окликал.

Вишни медленно таяли в кружках,  
Были пчёлы в янтарном меду.  
До свиданья, царевна-лягушка,  
Если хочешь, живи на пруду.



**Я – человек дождя**

Места не находя,  
Я ухожу из сада.  
Я – человек дождя,  
Спелого листопада.

Дунет сейчас борей,  
Вынесет за ограду  
Всех моих октябрей  
Огненные наряды.

От золотой пурги  
Шествую в полушаге.  
Господи! Помоги,  
Дай для любви отваги!

Вот она и прошла,  
Самая дорогая,  
Белым плащом шурша,  
Счастьем изнемогая.

Что же, не подойду,  
Даже и не окликну?  
Вот, к моему стыду,  
Входит она в калитку.

Может быть, здесь живет?  
Может, мы с ней соседи?  
Я же который год  
Только такой и бредил.

Я ее догоню,  
Я упустить не смею.  
Я себя, размазную,  
Перекроить сумею.

Места не находя,  
Я ухожу из сада...  
Нет на земле дождя,  
Нет на ней листопада.

**Ветер после Покрова**

Ветер, безумный ветер  
Выстудить всё готов.  
А ведь вчера на свете  
Тихий гостил Покров.

Переживём и это,  
Было и холодней.  
Мало ли у поэта  
В жизни ненастных дней.

## Геннадий Скарлыгин

### ЭТО НА ТОМ БЕРЕГУ...

\* \* \*

Охота к перемене мест  
Весной всё явственней и жгуче.  
Подобие звезды падучей, –  
Летим, не видя, что окрест.

Пора уже остановиться,  
И крепко встать в родном краю.  
Но тянет, тянет, словно птицу,  
Куда-то душеньку мою.

\* \* \*

Разлетаются васильки.  
Отчего же им разлетаться?..  
Просто кончились сосняки.  
И дорога – по полю, братцы.

Придорожные эти цветы,  
Ярок цвет их на русской равнине.  
Голубее их нет, помнишь ты,  
Как по травам – по морю ходили.

Пронеслась золотая искра,  
И пыльца оседала под вечер.  
И сидели мы до утра,  
И казалось, что мир этот вечен.

И что будем мы вместе с тобой,  
Никогда, никогда не прощаясь.  
И стоит этот цвет голубой  
В васильках. И во мне, поднимаясь.

\* \* \*

От этих заснеженных мест  
Теплота пробивалась.  
Помню твой лёгкий жест,  
Да и улыбка – осталась.

Мы забрали с собой  
То, что тогда не сказали.  
Жизнь – возвращает домой,  
Тянет с чужих вокзалов.

Как ни вращались в дома  
Дальних и близких пределов.  
Жизнь всё расставит сама.  
Скажет, что нужно делать.

\* \* \*

Это тех стариков, сумасбродов и пьяниц,  
Вспомнил я.  
Был на них несмываемый глянец  
Бытия...

### **Магадан**

Хрусталём отливает ночь.  
Плюнешь – плевков на лету застывает.  
Занесло же меня время в ступе толочь,  
И душу холодом маять.

### **Исход**

По степи Мангышлака  
Под фарами автомобилей  
Бежали стада сайгаков.  
А люди их били, били...  
А люди из ружей били.

### **Песнь рыбака**

Бесконечна даль,  
Ни дна, ни берега.  
А туман, что шаль,  
Цвета белого.

И плывёт баркас  
Полный рыбою.  
Не теряйте нас,  
Мы не выбыли.

Нас несёт сейчас  
Море синее.  
И не видно глаз,  
Они в инее.

Нет и счастья нам,  
Бедным олухам.  
И несёт волна,  
Да всё волоком.

Но на том мысу,  
Да на родненьком,  
Я найду красу  
В платье модненьком.

\* \* \*

Лиловые брызги сирени...  
Врубель любил этот цвет.  
Любил, когда падают тени  
На золото и на паркет.

Из синих кружев и пены,  
Из музыки красок, мазков  
Вставали царевны Елены.  
Тревожные лики из снов.

И только струна натяжная  
Грозилась порваться потом,  
Где-нибудь с красками мая  
На синем и золотом.

### **Весна**

Продёрнет снежок,  
Как мысль одиноких окраин.  
Забытый стожок  
Замрёт от весенних окалин.

И хочется повернуть  
Усталый свой взгляд на дорогу.  
И основательна суть –  
Земля возрождается к сроку.

### **Ростропович**

Взял виолончель и вышел...  
Музыкант. Ребёнок. Лицедей.  
Белый цвет берёзовый. А выше –  
Синева. Да, он любил людей.

На могиле всё в цветах. В оградке  
Три цветка, и два, один цветок...  
Нет, он с нами не играет в прятки.  
Он идёт к нам, делая виток.

Он склонился с детской улыбкой.  
Взмах смычка. Магический покой.  
Бриз морской. И промежуток зыбкий  
Между небом – грешною землёй.

Это, может быть, ещё случится.  
Нам напомнит небо этот звук.  
Где же та виолончель? И лица?  
Далеко-далёко, милый друг...

\* \* \*

«Москва – не русская столица» –  
Мой друг недавно написал.  
Чужие лица, лица, лица.  
Чужой вокзал, чужой вокзал.

Зачем же бог сиё сподобил?  
Зачем, заехав в этот град,  
Бежать мне хочется к свободе –  
В Сибирь, к себе, домой – назад.

Здесь на нехоженных дорожках,  
Да и исхоженных давно,  
Теплом берёзовым согреюсь.  
Присяду. Посмотрю в окно.

Кругом снегами припорошена  
Простая наша сторона.  
Но лица злобой не исхожены,  
И не изношены глаза.

Здесь ещё можно хлеб участия  
Буханкой получить с добром.  
И разделить с соседом счастье,  
Запив его простым вином.

\* \* \*

У заветной ветлы, у заветного дольного камня  
Он согреет меня, мой старинный очаг.  
Это там за рекой, вон за тем поворотом... А там ли?  
И не вспомнить. Неужто и я так душою зачах?

Мы в глубоких озёрах здесь рыбу удили.  
Собирали дрова, зажигали костёр.  
А вверху нам весёлые звёзды светили.  
И орёл свои крылья для нас распростёр.  
Эта осень свои открывает объятия.  
Льётся синь и скрывается вместе с рекой.  
И стоят тополя – изумлённые братья,  
Осыпая листьями прибрежный покой.

\* \* \*

Давай поехали, дружок,  
На берег милый.  
Там вдалеке стоит стожок  
Под небом стылым.

Там одиноко и легко  
У речки пенной.  
И машет флагом далеко  
Кораблик смелый.

На косогоре, где дома,  
За ними стайки.  
Там принимают задарма  
И без утайки.

Там мы топориком тюк-тюк,  
Дров понаколем.  
И будем жить как Тюк-Матюк,  
Припечно, вволю.

Ты будешь по воду ходить,  
Я на охоту.  
И будем баньку мы топить  
Всяк по субботам.

\* \* \*

1.  
В этой нашей горестной юдоли,  
Что в морозном воздухе ночном,  
Мчались кони, словно ветры в поле.  
Кажется, их видел за окном.

Но откуда взяться им, ретивым?..  
Вот промчались, канули опять.  
Только звёзды расплескались в гривах,  
Трудно было что-либо понять...

2.

Может, мне приносит утешенье  
Царь ночной, предвестник добрых дел...  
Надо бы собрать на угощенье  
Всех моих неузнанных друзей.

Пусть они на лавочках присядут  
За столом, у моего огня.  
Лица их туманами объаты,  
И они не узнают меня.

Да и как узнать, лишь только память  
Мимолётных встреч хранит секрет.  
Здесь я навсегда остался с вами,  
Вы ж – со мной. А, может быть, – и нет.

Где-то там, в далёком захолустье,  
На исходе тёплых, светлых дней,  
Добрый друг глаза свои опустит,  
Да и вспомнит, может, обо мне.

\* \* \*

Это на том берегу день-деньской  
Вьётся дымок над трубой.  
Это на том берегу люд-людской  
Занят самим собой.

Там и сугробы, словно слоны,  
Белой идут гурьбой.  
В этих снегах только трубы видны,  
Только простор голубой.

Здесь бы пожить мне. На стороне:  
Там, где манящий покой.  
Что-то неладно в моей стране,  
Что-то и сам я совсем плохой.

## Представляем студию

### «ЛИТЕРАТУРНАЯ СРЕДА»

Студия «*Литературная среда*» при факультете дополнительных профессий ТГПУ возникла в октябре 2005 года. Начиналось это новое для меня дело с приятных сюрпризов, со «звездного» курса филфака ТГПУ, студентка которого Инга Аверина к настоящему моменту вышла на уровень Всероссийского совещания молодых писателей, готовит сборник собственной прозы. У Ирины Рубан, дебютировавшей с песнями на свои стихи на XVIII областном конкурсе молодых поэтов им. М. Орлова, не иссякает поток слушателей и ценителей группы «Живой зодиак». Ирина Банщикова (псевдонимы – Екатерина Семицвет, Ирина Надеждина), начинавшая с сочинения текстов песен, пробует себя и в других жанрах.

Помимо студенческой газеты ТГПУ «Штудент тайм» студийцы публиковались и публикуются в разных, и не только томских изданиях, выступают в библиотеках, на выставках, других городских площадках, создают свои проекты, участвуют в поэтических конкурсах.

Вышла дебютная книга Алексея Куцевича. Готов к печати сборник стихов Юлии Лободы. Тимофей Занин со своими произведениями регулярно участвует в спектаклях «МХАТа на Уржатке», недавно дебютировал в журнале «Сибирские Афины».

За пять лет студийцы не раз встречались с томскими и иногородними авторами. Это общение, расширяющее горизонты, приносит свои плоды. Каждая такая встреча – это мастер-класс, позволяющий взглянуть на свое творчество со стороны.

Студенческое литобъединение – круг людей, равнодушных к слову – величина непостоянная: меняются люди, лица, жанры. В последнее время наблюдается тяготение к прозе – юноши смело берутся за исторические романы и фэнтези; девушки описывают школьные влюбленности. Многие сочиняют песни: рок, фолк, рэп. Но каждое, пусть и корявое слово, – живое, искреннее. Поэтому хочется поддерживать молодых сочинителей, ободрить, вдохновить на новые свершения. Перед вами подборка произведений студийцев разных лет. Приятного чтения!

**Елена КЛИМЕНКО,**

*Руководитель студии «Литературная среда»,  
поэт, член Союза писателей России*



**Ирина АЙЗЕНБЕРГ**

\* \* \*

Черно-белое синее небо.  
И асфальт по-осеннему пьяный.  
Что осталось от трав – лишь память,  
Вместо запахов свежей росы.  
Незаметною ловкой рукою  
Ветер гладит мне плечи и спину,  
Он запутал мне волосы напрочь,  
И он так похож на тебя...  
В междумирии сорванных листьев  
Так тоскливо, свежо и пряно,  
Что нет сил собой оставаться –  
Надо бросить всё и уйти.  
Одиночество бьёт навывлет  
Словно горькие капли холод  
Заставляет корчить гримасы  
И искать спасенья во сне.

\* \* \*

Дикой волчицей бессонница  
в окна зимние ломится,  
бьётся и стонет, рыдает,  
рвется, пощады не знает.  
У горящей свечи  
я гадаю в ночи.  
Пусть расскажет мне зверь,  
где ты, милый, теперь.  
Пусть расскажет волчица,  
кто тебе сейчас снится.

**Оксана ЮФЕРОВА****Душа-невеста**

Сонмы звезд у меня на ладонях...  
Я – невеста!  
Сегодня я в Отчем доме.  
Мною растеряны серьги, браслеты, –  
Я сегодня одета в лето.  
Мною зазубрены гимны, молитвы,  
Но сегодня забыты слова.  
Я коснулась чудесного света  
И кружится моя голова...

**Тимофей ЗАНИН**

\* \* \*

Жизни иллюзии  
Порой казались жизни ярче,  
Сознание не сузили,  
Но я не стал богаче.  
А где ты видел, чтобы поэту  
Да были почести?  
Так что поэтому  
Пой, человек, ты в одиночестве...  
А у меня полная миска,  
Есть хлеб да и в шкафу оружие.  
Твои стихи не для всех,  
И никому не нужные.  
Так что поэтому пой, человек.  
Ты пой один!  
Но знай: в сознании других  
Тоже твой мотив...

**Ирина РУБАН**

\* \* \*

Глинтвейн зимой,  
рецепт простой:  
немного корицы,  
трепет синицы,  
сушеной малины,  
и теплых носков,  
чуть-чуть терпенья,  
для четкости пения,  
каплю настойки  
степных васильков,  
кельтской волынки,  
перуанской травинки,  
православной мольбинки,  
мёда былинку –  
будешь, кровинка моя, здоров.

\* \* \*

Льется из кувшина водолея  
звездный свет на сочные луга...  
полетела бы к нему да не умею –  
тянут зерен полные поля.

Земляники запахи и мяты  
не дают подняться мне с травы,  
и садятся бабочки и пчелы  
мне на грудь – на алые цветы.  
В озере лесном русалки плачут -  
горя много было на земле...  
не дари им поцелуй горячий,  
путник, мимо проходи скорей.  
Выходи на просеку лесную,  
правь на запах дыма, очага...  
к хуторянке ревновать не буду,  
не в пример я смиренная жена.  
И кричать на целую округу,  
что любовь тебе моя не дорога,  
я не буду, ведь со мной повсюду  
свет звезды и бабочек крыла.

\* \* \*

Так трудно быть твоей женой:  
следить за весом, за словами,  
не плакать ночами,  
долго в ванной не мыться,  
научиться молиться Христу  
и прочим птицам,  
оборонять бойницы  
и прочие боевые позиции  
и быть твоей трудной женой...

### Иван ЦАРЕГОРОДЦЕВ

\* \* \*

Стульев двенадцать  
Все собери  
К богатству

\* \* \*

Лампа разбита.  
Джинна ищи  
в небе

\* \* \*

Тьма за окошком.  
Свет её гасит  
Утро

**Любовь ГОРОБЕЦ**

\* \* \*

Долгими нитями  
Осенних аллей  
Сегодня бродить не устану.

\* \* \*

Пусть холодно и  
Дует за окном  
В моём доме живёт лето.

\* \* \*

Сиж у окна  
Долго, задумчиво  
Что же меня держит?

\* \* \*

Ярко-весело-зелёный  
радостно-голубой  
брызгами помнится лето.

**Инга АВЕРИНА**

**По капле**

*Наталье Нелюбовой*

Вода по щиколотку  
Вода по колено  
Вода по пояс  
В воде трудно дышать...

Так было...

По холодным камням со дна позолоченной реки плыли черные кудри  
ее атласных песен...  
Сырым дыханием разливался голос ее между двух берегов...  
Взмахами крыльев огромных хищных птиц летели слова ее нараспев...  
Она плела пряди своих изящных нот,  
Расчесывала локоны куплетов,  
Там, в степях мудрой мягкости розово-зеленых Саянских холмов,  
Дети с нацелованными солнцем лицами  
Пьют с солью зеленый чай...

Хитро шептались рыбы за ее спиной:  
 – Питьевая вода музыки не утоляет настоящей жажды...  
 Прокуренное соло выдувал саксофонист –  
 Только бы напиться голосом,  
 Душные ритмы отбивал барабанщик –  
 Только бы напиться силой...  
 Мимо скользили рыбы,  
 А на зубах скрипела пыль древних философий  
 На пересечениях длинных извилистых путей,  
 Когда река все же заплела в косы черные кудри ее песен,  
 Оставалось всего несколько капель-глотков  
 И на перекрестках изломанных извилистых дорог  
 На уставших лентах запутанных трасс...  
 На обочинах надежд-ожиданий  
 Иногда так невыносимо хочется пить...

*Республика Тыва, Чадан*

### Роман КОЛПАКОВ

\* \* \*

о зиме не вовремя вспомнил –  
 замерз в октябре

\* \* \*

коварен мороз  
 клеит ресницы  
 убьюсь в гололёд

\* \* \*

не тронь шторы  
 за ними лёд  
 свет лампы теплее

\* \* \*

снегири не верят  
 что яблоки  
 не зимние цветы

\* \* \*

разморозь клубники  
 притворимся, что на даче  
 чай пьём

**Лейла РУСТАМОВА**

\* \* \*

Напишу. Засмеют, не признают,  
Раскритикуют, оскорбят.  
Я с трудом уже понимаю –  
Чего от меня хотят?  
Эти слова из души,  
А в душе моей нет ошибок.  
Ну, давай, теперь ты скажи,  
Умный, я вижу, шибко.  
Кто задает эти рамочки?  
Ну-ка, скажите честно.  
Милая моя мамочка,  
Мне в них попросту тесно.  
Они, как я погляжу, повсюду.  
Но моя неправильная речь – не грех,  
Пусть не отделана, как у всех.  
КАК ВСЕ Я, МАМА, НЕ БУДУ!

\*\*\*

Спасибо за фантики  
От моих любимых конфет,  
Спасибо, что песни другим посвящаешь,  
Я твой берегу сентиментально – свет.  
Спасибо за то, что даже меня не знаешь.  
Спасибо за то, что на фоне судьбы незыблемо  
Хрустальной фигуркой надежды сияешь.  
А надежда наполовину печалью сыграна.  
Вот ты и не знаешь, что по углям угасающих слез  
Иду босиком, ищу в лабиринтах ответ.  
Спасибо за то, что не принял меня всерьез,  
И еще раз за фантики от моих любимых конфет.

**Ольга РАЛИОНОВА**

\*\*\*

Видишь, я больше не плачу. И дождь закончился. Гулять босиком очень весело. Знаю, что не снимешь туфли, уж слишком серьезный. Пух. Пух, пух, пух. Пух полетел с тополей, кружит надо мной, а над тобой нет – потому что ты слишком серьезный. В каждой пушинке есть свой, маленький-маленький мир. Почему это «Я сама – маленькая»?! Нет, просто мы – очень большие. Давай купаться в снежном пуху. Давай будем рыбками. Я буду маленькой рыбёшкой, с красивыми плавниками, такой, как в магазине видели, а ты... Ты будешь карасём. Почему-почему? Карасём и всё тут! Потому что слишком серьезный. А синоптики обещали, что дождя больше не будет. Представляешь, никогда-никогда! Значит, и я не буду плакать.

\*\*\*

В моём доме было всё для уюта: пушистый ковёр от дивана до шкафа, плотные шторы с бабочками и много-много фарфоровых слоников. Здесь было место для тебя. Я даже купила себе домашние тапочки, поставила у входа, чтобы, как только ты придёшь, предложить их тебе, и ты поймёшь, что я тебя ждала. Не выключала свет по ночам, ждала! Поднимала трубку с первого звонка, ждала! А вчера ты пришёл. Пьяный, с цветами, с горем. Уткнулся в мои колени и уснул. А я жалела. Жалела тебя глупого, твои раны собакой зализывала, искалеченную душу замаливала. Жалела.

Теперь в моём доме стало шумно. Уют разбавлялся спорами и смехом. Фарфоровые слоники переставлялись с места на место, и тапочки твои уже не стояли у входа, а где-то валялись на кухне.

И я отвыкла ждать, выключала свет по ночам, установила автоответчик. Потому что знала. Доверяла и верила.

В нашем доме всё для уюта. Пушистый ковёр от дивана до шкафа, плотные шторы с бабочками, а фарфоровых слоников давно сложили в коробку, чтобы наш сынок не поранился. Ведь его мы ждем вместе.

### Мария ЛЕБЕДЕВА

#### Под ритмы вальса

– Раз, два, три,

Раз, два, три...

– ... у меня не получается...

*Давай помедленнее!*

– Давай ещё раз!

– Раз, два, три,

Раз, два, три –

– Уже лучше!

И раз, два, три,

раз, два, три...

– *Извини, я снова наступил тебе на ногу!*

– Ничего!

Ты не переживай!

Научисься,

Не всё сразу!

– Повторяй за мной!

Я ставлю левую ногу назад,

понимаешь?

– *Вроде, да.*

– Хорошо!

Как только я ставлю ногу назад,

Ты ставишь правую ногу вперед.

– *Да, я поняла!*

– Давай попробуем!

И раз, два, три, и ...

– ... у меня никогда не получится...  
– Ну что ты психуешь-то?  
– Давай, ещё раз!  
Повторяй за мной.  
– ладно...  
– Потом, я ставлю ногу вот так.  
И ты так же повторяй.  
– Раз, два, три,  
Раз, два, три –  
Молодец!  
Видишь, все получилось,  
А ты волновалась!  
– *Что-то я устала, давай передохнём...*  
– Я не против!  
– *А где мы будем с тобою вальс танцевать?*  
– ...  
– *На свадьбе?...*  
– ...и на свадьбе тоже.

Мы оба сели на лавочку друг напротив друга.  
Вокруг было тихо и безлюдно.  
Обнявшись, мы сидели молча, взявшись за руки.  
И в этой захватывающей тишине был слышен стук  
наших сердец... слившихся в *единое целое*.  
Я смотрела в его *тёмно-карие глаза*  
с длинными густыми ресницами,  
излучавшими безграничную теплоту,  
не отрываясь.  
Его теплая ладонь *нежно коснулась* моей щеки.  
Я дотронулась до неё... и положила себе на плечо.  
Я поцеловала его в горящие жаром губы и произнесла:  
– *Давай продолжим!*

**Екатерина СЕМИЦВЕТ (Ирина НАДЕЖДИНА)**

**Сила любви**

Не то, чтобы  
Я восхищалась Вами.  
Это было бы  
Слишком просто  
В морозы  
Согреться  
Плачущим воском  
Вашей свечи.



Не то, чтобы  
Я обожаю  
Пламя Ваше,  
Дабы сгореть  
Черной полоской,  
А белую  
Оставить Вам  
В назидание.  
Мне Вами  
Дышать покойно  
И за такой  
Малостью  
Я узнаю Исайю,  
Ликующего о силе  
Моей любви!  
Единственной моей слабости...  
**Кот Матрос**

Пахнуло нежностью в окошко.  
Листаю старый календарь:  
Седьмое... Так... Ещё немножко  
И заметет февраль.  
На ваши теплые колени  
Заскочит кот.  
И заявлений, объявлений  
Он не поймет.  
Он ваши ласковые руки  
Лизнет не раз  
И огоньком сверкнёт глубоким  
Зелёных глаз.  
Он полосатыми словами  
Смурлычет речь  
И пожелание оставит  
Его беречь.  
Метельный месяц одинокий  
И кот Матрос  
Мне заглушили ненароком,  
Что не сбылось.

**Алексей КУЦЕВИЧ**

\* \* \*

Ты спишь. Далеко, в невообразимом пространстве.  
Среди окружившей тебя больничной тиши.  
Твой сон беспокоен. Когда ты вернёшься из странствий,  
Прошу – напиши.

Запутались в тучах за окнами хмурые звёзды.  
Суровое лето настало, и ясно: уже не весна.  
Шумят тополя и белеют во мраке берёзы:  
Им не до сна.

Мне не одиноко, ты знаешь, здесь стены и уши.  
Здесь вещи пытаются мне обеспечить уют.  
Пою, как могу, хоть и некому, кажется, слушать.  
О том ли пою?

### Юлия ЛОБОДА

#### Советы

горькие, круглые, алые  
ягоды спелой рябины,  
с веткой еловой на камне,  
призраком нового года...

брат, подари мне ножик,  
буду им любоваться,  
буду класть под подушку,  
лезвием острым резать  
стебли полыни цветущей...

тише, не плачь, сестренка,  
в этом осеннем мире,  
бьет всех больней любимый,  
вышей свою слезинку  
нитью дождя грибного,  
вышей и выбрось, слезы  
женщинам не идут...

хочешь, придумаю сказку  
о фиолетовом мире,  
полном людей-ледышек,  
тоненьких и блестящих.  
если глаза закроешь,  
будет он настоящим...

в дом твой приходят эльфы,  
песни поют украдкой,  
и счастье в тарелке дремлет  
малиновой мармеладкой...

\* \* \*

Край оплавленного неба  
Освещал закатный город  
Облизнул бутылку пива  
Блик последнего луча...

Репетировались жесты,  
В голове вертелись песни,  
Сочеталось идеально,  
Всё, что стоит замечать:

Тёмное стекло бутылки  
И слепой фонарь вечерний,  
И цветы, и цвет одежды...  
И возможность помолчать.

## *Леонид Шелудько*

# В ОДНОМ КРУГУ

Мы все – почти все – торопимся. Успеть сделать как можно больше. Или как можно больше нажать. Крикнуть громче всех – и быть услышанным как можно дальше от родного дома. Зацепиться за историю любой ценой – ценой постройки храма или ценой его сожжения. Лишь бы не пропасть бесследно. И только единицы пишут вот так:

*Как взвинчены скорости мира!  
Протяжно привыкшая петь,  
Моя запоздалая лира  
Не жаждет за ними попеть.*

Я ещё с изумительных времён политехнических «Молодых голосов» знаком с Сергеем Яковлевым. Он вернулся тогда из армии в погонах старшего сержанта. Вернулся и в «Молодые голоса». И сразу же покорило сердце самой молоденькой – Люды Казанцевой.

Тридцать восемь лет прошло с тех пор. Они живут в соседнем со мной дворе. Тем не менее, книга его избранных стихотворений «И повеет, как преданье...» стала для меня не просто продолжением знакомства.

Лауреат Государственной премии России Владимир Костров так написал в предисловии к этой книге: «К стихам Сергея Яковлева надо прислушиваться, как к шелесту листьев или поющему роднику». Прислушайтесь и вы к этим строкам:

*И сушь, и золото кругом.  
Но золото заметно тускнет.  
По лесу тихо не пройти –  
Какой-нибудь сучок да хрустнет,  
Как выстрел щёлкнет,  
И в кустах  
Забьются глухо крылья птицы,  
Живая тень мелькнёт рывком,  
И снова птица  
Затаится...*

*Напрасно. У меня в руках  
Нет ни ружья, ни карабина;  
Достаточно того, что в синь  
Сочится алая рябина,  
Что крупной ягодой в кистях  
Вся сплошь усыпана боярка,  
И солнце осени горит  
Щемяще-холодно,  
Но ярко!*

Прислушайтесь, и вы **увидите** всё, увидите так, как будто сами идёте по осеннему русскому лесу!

Я немало прочёл стихов, написанных томскими авторами, но нигде ещё не встретил такой пронзительной, ничем не замутнённой **русскости**. Книга вся пронизана этим чувством:

*Здравствуй, милое кривое,  
Потонувшее в снегу!*

Её герой прост и честен:

*Но почему-то мне родней  
Удел бесхитротный и вечный,  
Где до последних верных дней  
Остался жить сверчок запечный.*

*Вся трель его летит во тьму,  
Не дальше милого порога,  
Поскольку некого ему  
Хвалить и славить, кроме Бога.*

Он не идеализирует окружающей жизни:

*Путь сибирского убожества,  
Посвящённого смиренью, –  
Неразгаданное тождество  
Между разумом и ленью.*

Вот его горькая «Деревня»:

*Испохабив душу до дерьма,  
Запилая в дым, заворовалась.  
По тебе исплакалась тюрьма,  
Горе по тебе истосковалось.*

А всего в нескольких страницах от неё – «Сибирская Русь»:

*Но каким, скажите, чудом –  
Как во сне –  
В сосняке калёно-рудом,  
При луне,*

*Вдруг разумное шептанье  
Тронет слух  
И повеет, как преданье,  
Русский дух?..*

И всё это – в одном кругу.

\*\*\*

Где родина у поэта? Сергей Яковлев пишет: «Смородинно-черёмуховые побережья Чулыма, тегульдетское село Белый Яр...». Он пишет – «тегульдетское», а мне снова и снова слышится: «...детское!»! А ещё он пишет:

*Слабый ветер мёл по крышам,  
Сизый тополь стыл, ветвист,  
Снился мне и в сенках – лыжам  
Вниз под горку снежный свист...*

Вспоминает:

*Два зябких героя, два маленьких друга,  
В тайге приозёрной ночуем впервой.*

И мне совсем не важно, что моя родина – шахтёрский Харанор в Даурских степях Забайкалья. Мы земляки. Мы родом из детства:

*Голов – до зорьки не поднять,  
И только мышь не спит в кладовке,  
Да нож притупленной литовки  
Не может звон в себе унять.*

И оттуда же, но уже из отрочества, озорное:

*Не пройти по улице:  
Стережёт молва, –  
И в корзинке спряталась  
Под грибы... трава...*

*Кто теперь дотумкает,  
Сидя у избы,  
Что ходили просекой  
Мы не по грибы?*

И только в рёве пароходной сирены слышалось ему неумолимое грядущее:

*Но и при солнце радостно-горячем,  
Среди весёлой близости мирской,  
Внезапно душу детскую, как плачем,  
Трубящий звук ошпаривал тоской.*

*Я слишком много хмурился в те годы,  
Как будто знал, что всё – в одном кругу,  
Что привезут родные пароходы  
К чужим огням на том же берегу.*

\*\*\*

Мы ровесники. И мы ещё захватили то время на рубеже шестидесятых и семидесятых, когда поэты собирали стадионы в Москве. Или Дворец спорта в Томске. Тогда казалось, что так будет всегда. Просто потому, что иначе и быть не может!

Может. Да ещё как:

*Плата за подвиг печальна,  
Словно подённый пятак.  
Даром что всё изначально  
Видится вовсе не так...*

\* \* \*

*Как всё певуче на пике,  
Как высота хороша!..  
Что же в ликующем крике  
Ты не зайдёшься, душа?*

*С первым же всплеском восторга  
Чувствуешь, веря уму:  
Радость твоя – ненадолго  
И не нужна никому...*

А они, те самые, кому не нужна твоя радость и твои стихи тоже? Кто они тебе, поэт?

*Они – не пыль на камне голом,  
Но, наподобие сырца,  
У них сминаются сердца,  
Не обожжённые глаголом.*

Наверное, поэтому так неприветливы «хозяева жизни» к тем, кто может обжигать людские сердца «глаголом». Куда проще и прибыльнее управлять людьми со смятыми душами! А потому снова и снова:

*С той стороны дождя ночного  
Начнётся свет, качнётся час,  
Очнётся жаждущее слово  
И небеса рассудят нас!*

И нет страха в неизбежном, которое тоже – в одном кругу:

*Претерпевшее всё до конца,  
Сердце будет таким же спокойным,  
Как на пастбищной воле овца,  
Неспособная к дракам и войнам.*

*Но в одно не поверит оно –  
Засыпая, поверить не сможет  
В то, что будет вовеки темно,  
В то, что путь до последнего прожит.*

\*\*\*

Но пока видится впереди хоть немного пути, идёт поэт по свету! И замечает мимоходом, не без ухмылки:

*Я знаю на свете одно:  
Значение света – темно.*

О себе, не без гордости, в «Стихах, написанных на обёрточной бумаге»:

*Поэт искуснее, чем маги, –  
У магов много чепухи.  
Клочок обёрточной бумаги  
Пусть превратят они в стихи!*

И о жизни своей, с благодарностью:

*Прекрасен сердца упорный обжиг  
На знойно-горькой горелке лет.*

Может быть кто-то, прочтя всё вышесказанное, воскликнет о нём:

– Николай Рубцов наших дней!

Нет. Сергей Яковлев. Человек, живущий в соседнем дворе. И всего-то сходства – что их одинаково пронзили краса и боль родной Руси.

Я хочу закончить эти заметки о новой его книге стихотворением, в котором всё: и жизнь, и родина, и судьба.

### **Вязанье**

*Снова ивы – пустые  
И погода больна;  
Снова думы простые,  
Как холсты изо льна.  
Их течение прохладно,  
Без воронок, без брызг.  
Есть на хлеб, ну и ладно,  
Что срываться на визг?*



*Пусть гребут под секретом  
Для коттеджей и вилл,  
Много их, кто на этом  
Свою душу скривил.  
Больше глаз наживая,  
Пусть и держат прочней:  
Их судьба – ножевая,  
Пулевая точней.*

*Наша жизнь небольшая  
Отхрипит сентябрём,  
Никому не мешая,  
Мы и сами умрём.  
Повитает и ляжет  
Снег на глину, пески...  
Честно бабушка вяжет  
На продажу носки.*

Остальное вы прочтёте сами.

*Виктор Лойша*

## ЕГО ЗВАЛИ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ...

Есть такой городок Топки в Кемеровской области. Немногим больше тридцати тысяч жителей, не самая добрая социальная обстановка, донельзя скудная зелень, привычное для Кузбасса обилие скачущей шпаны...

Но существует здесь железнодорожный узел, традиционна в среде путейцев рабочая дисциплина, поезда выдерживают график движения, и политические бури не слишком тревожат ровную, в общем, атмосферу. Люди живут, как при всех режимах, довольно скудно, кормятся собственными огородами, растят детей и рассчитывают на лучшее будущее хотя бы для них.

*Осень, не трогай маленьких,  
играющих на траве.  
Пусть им падают яблоки  
в руки... Не по голове.*

*Дерево, дай приюта им.  
Ветер, теплом овей.  
Ну а дяденьку Ньютона –  
можно по голове.*

Обычное, скажем так, предместье с его укладом и психологией.

И житейских малых радостей тут на душу населения приходится никак не меньше, чем в столицах и вычурных мегаполисах. И возможностей для творчества.

Удивительным образом в Топках сохранилась городская библиотека, лучшая, пожалуй, из виденных мною в местечках такого масштаба. Книжный фонд не оставит равнодушным самого взыскательного знатока литературы. И действует при библиотеке постоянная экспозиция картин местных художников. Скромные по размерам холсты несут очарование негромкой, но волшебной жизни, любое проявление которой – само по себе волшебство, если увидено взглядом, свободным от шор банальности.

В этой библиотеке я оказался впервые три года назад, когда вышла из печати и была представлена культурной общественности первая книга стихов Александра Богданова. Случилось это спустя некоторое время после смерти поэта, увидевшего при жизни одну-единственную публикацию, – в томской районной газете «Правда Ильича», 21 ноября 1978 года.

Боже мой, как провинциально!..

О, не спешите с выводами.

И умерьте, пожалуйста, дежурный снобизм.

\* \* \*

Не мною сказано, но не могу не согласиться: провинциальность – не в географии, она в душе. Если последняя субстанция мала и мелка, человек пишущий будет выглядеть недостаточным, даже проживая или заседая в Московском Кремле. Прецеденты известны: например, Демьян Бедный или некто под псевдонимом А. Осенев.

Напротив, не самые комфортабельные пространства нашего отечества, его уезды и волости, городишки и полустанки только и делают, что продуцируют неожиданные таланты, подпитывая тем самым общекультурный потенциал великой страны. Собственно, страна велика уже тем, что тяготение к творчеству в ней всеобщее и развивается вне зависимости от многих обстоятельств общественного бытия.

Это явление требует достойного обдумывания. В принципе, для его характеристики годится такой термин физических наук, как диссипация. Подразумевается – цитирую определение из словаря – «переход части энергии упорядоченных процессов (кинетической энергии движущегося тела, энергии электрического тока и т.д.) в энергию неупорядоченных процессов, в конечном итоге – в тепло».

Слишком наукообразно? Ничего, разберёмся. Тут сказано главное. Ведь и поэзия, в конечном итоге, – тепло.

\* \* \*

Александр Богданов имел за плечами Томский медицинский институт с квалификацией врач-терапевт. Лекарь, как выражались ещё сто лет назад.

Тут всё важно: и врачебное умение, и смысловые оттенки. Русская литература знает целую породу разночинных прозаиков с медицинским подбоем: Антон Чехов, Викентий Вересаев, Михаил Булгаков, Василий Аксёнов... По свидетельствам современников, каждый из них был дельным и проницательным врачом, что, надо полагать, только помогало писательскому проникновению в человеческие души.

Богданов шутил: с его появлением в Топках число онкологических заболеваний там выросло вдвое. Шутка далеко не бессмысленная: статистика любых болезней неизбежно ухудшается при совершенствовании методов диагностики. Применительно к раку это означает, прежде всего, выявление опухолей на ранних стадиях, а значит, их профилактику и, как следствие, уменьшение летальных исходов.

Что ж, он и впрямь обладал чутьём недюжинного диагноста.

Не в меньшей, пожалуй, мере, чем чутьём к русскому слову в его стихотворной форме.

Пациенты обращались к нему «Александр Сергеич», не ведая, какой счёт имел их доктор к своему великому тёзке. Трепетно любя «наше всё», зло вышучивал случайные глупости его мимолётных образов (увы, от издержек производства не застрахован ни один гений!), вроде: «Сквозь чугунные перилы ножку чудную продень». Но и себя как поэта оценивал безжалостно, имея мериллом подлинности всё того же Пушкина.

Порою строгость самооценки оказывалась чрезмерной, и в разряд безделиц сбрасывались стихи, достойные гораздо лучшей участи.

Вторая книга Александра Богданова<sup>1</sup> появилась нынче, в тёплом апреле.

Она включает в себя *отборную* продукцию поэта. Сборник выстроен по хронологическому принципу, начиная с 1971-го и по 2001 год, и это удачный подход, поскольку даёт представление как о росте мастерства, так и о неизбежных эволюциях человеческого мировоззрения. Всё же Богданов, несмотря на краткость собственной биографии, пережил два политических режима и многие пертурбации в их рамках...

\* \* \*

Нет, он никогда не был склонен к политике. Настолько не склонен, что когда друзья-газетчики предложили ему написать агитку в праздничный номер к Дню

<sup>1</sup> Александр Богданов. Меня обокрасть невозможно. Томск: Изд-во Томского университета. 2011. 168 с. Составление и редакция Н.В. Серебренникова.

международной солидарности трудящихся («Эка невидаль! Чего тебе стоит?»), его понесло вовсе по несуразной дороге:

*Был ликующий крик из грудей у людей,  
город был разукрашен и весел.  
Первомай-баловник, первомай-чародей  
свои красные флаги развесил.*

*Был наш праздник велик процветаньем идей.  
Были в лозунгах стены и крыши.  
Гегемон-баловник, гегемон-чародей  
демонстрировать мощь свою вышел.*

Безобидный пустячок? В советскую эпоху так не считали. Конечно, в 1970-е за такое уже не сажали, но печатать?.. – нет, исключено. Неадекватно мыслите, товарищ.

Через полтора десятилетия те же друзья подготовили к публикации большую подборку стихов Богданова в парижской газете «Русская мысль». тамошние либералы приняли поэта восторженно. Но... Спустя некоторое время пришло грустное извиняющееся письмо: мол, сменились ветры времени, сейчас требуется гражданская поэзия, так сказать, публицистика, тогда как у вас, уважаемый господин, голимая лирика. Неадекватно, знаете ли...

В самом деле, что это такое:

*К последнему приближась рубежу,  
всё выну из своей походной сумки  
и набело себя перепису,  
события, и даты, и поступки.*

*Играющим движением руки  
придам им смысл и бодрые концовки...  
весь ворох дней – одни черновики,  
записки и пустые зарисовки...*

Так и остался Александр Богданов чужим среди своих.

\* \* \*

Николай Серебренников, подготовив и издав эту книжку, совершил большое и важное дело. Как один из самых близких Саше Богданову людей, он исполнил долг дружбы и памяти. Как профессиональный литературовед, он стучится в наши спесивые умы, обращая внимание на феномен по имени Александр Богданов.

В чём же, собственно, феномен?

А в непохожести.

Мало быть только профессиональным поэтом. Важно ещё передавать своё видение мира так, как его видишь только ты. Искусная подделка под неповторимую индивидуальность, конечно, возможна, но она непременно и довольно просто распознаётся.

При всём желании включить Богданова в какую-либо поэтическую плеяду, встроить в некое направление, ничего из этого не получится. Он не почвенник и не конструктивист, не бард и не метафизик, не...

Проще всего, наверно, назвать его творчество иронической поэзией. Но и такое определение будет большой ошибкой, поскольку зубоскальство отнюдь не было самоцелью поэта. Здесь, пожалуй, тот случай, когда ирония должна восприниматься как неотъемлемое качество развитого, беспокойного ума.

Кстати, Пушкину это было очень даже присуще. У него даже в самых патетических эпизодах вдруг прорезаются глумливые нотки.

А что, сама жизнь – разве она спрямлена под один какой-нибудь классический жанр? Да в любой реальной мелодраме, происходящей не в нашем воображении, а наяву, смешного больше, чем в состоянии придумать самый маститый комедиограф.

И боль мятущейся души, выраженная рифмованными строками в лексике газетного некролога, будет уже не болью, но профанацией.

\* \* \*

Тайна жизни и смерти тревожила Богданова всегда. Несколько странно видеть размышления об этом в юношеских стихах. Но если разобраться, такова ведь главная тема всякого большого поэта.

И разве не сочатся трагической тревогою такие непритязательные, вроде бы, строчки трехстопного ямба, который сам по себе здесь складывается в какой-то судорожный ритм:

*Куда несётся поезд  
Моих незрелых лет?  
Чуть-чуть – и будет поздно.  
Я потерял билет.*

*Нелепая утрата  
Перерастёт в беду.  
До станции не надо.  
Я спрыгну на ходу.*

*Глазам своим не веря,  
Но не пускаясь в крик,  
Мне плюнет вслед из двери  
Усталый проводник.*

Двадцать восемь лет из отпущенных ему пятидесяти Александр прожил в Топках, куда попал, собственно, по случайности, в силу институтского распределения. Родом он, кстати, совсем рядом – из города Тайга той же Кемеровской области. Тоже узловая станция, редкие и резкие экспрессы, мельтешение рабочих электричек, большегрузные товарняки...

Оттого то и дело сквозят в его стихах железнодорожные мотивы. И тема дальних стран и будущих пространств прослеживается ощутимым пунктиром.

В принципе, судьба могла занести Богданова куда угодно. И поэтом он был бы независимо от точки на карте. Поэтом, по масштабу превышающим всякие административные границы.

Город Топки же упоминаю ещё раз потому, что тамошняя интеллигенция любит и чтит своего земляка.

«Лицом к лицу лица не увидать: большое видится на расстоянии»? Мало кто знает, что Сергей Есенин стыдился этих строк: слишком афористично, а потому выпренно. Хотел переписать – не успел.

Но и как формула, объясняющая какие-то несуразности нашей жизни, строки не безупречны. Расстояние во времени порою непреодолимо. И Томск, кичащийся культурой, покуда не признал Александра Богданова своим неповторимым поэтом. Вопреки очевидности!

Неужто поезд ушёл?

# Николай Новгородов

## О ПРАРОДИНЕ И ЛЮБВИ К ОТЕЧЕСКИМ ГРОБАМ

### Клюевская берестяная книга

В августовской книжке «Нового мира» за 1988 г. Г.С. Клычковым и С.И. Субботиным были опубликованы сохранившиеся письма Клюева, отправлявшиеся друзьям в 1934 – 1936 гг. В письме от 10 августа 1936 года Варваре Николаевне Горбачевой поэт с горечью сообщал: *«Я написал поэму и несколько стихов, но у меня их отобрали (последнее слово зачеркнуто, написано «уже нет»): они в чужих жестоких руках».* И несколькими строчками ниже: *«У меня были с трудом приобретенные кое-какие редкие книги и старинные иконы – мимо которых я, как художник, не могу пройти равнодушно, но и они с марта месяца в чужих руках».* В первой половине марта 1936 года Н.А. Клюев, по словам очевидцев, арестовывался, но к лету 1936 года был возвращен по месту проживания в переулочек Красного Пожарника. Видимо, потому, что в тюрьме его разбил паралич, у него отнялась вся левая сторона тела и даже закрылся левый глаз, и НКВД решил, что «эта развалина» не представляет опасности для власти.

Что это были за редкие книги, можно узнать из другого клюевского письма, отправленного Н.Ф. Христофоровой-Садовой, по-видимому, несколько ранее письма к Горбачевой: *«Я сейчас читаю удивительную книгу. Она писана на распаренной бересте китайскими чернилами. Называется книга Перстень Иафета. Это ничто другое, как Русь 12-го века до монголов. Великая идея Святой Руси как отображение церкви небесной на земле. Ведь это то самое, что в чистейших своих снах предвидел Гоголь, и в особенности он – единственный из мирских людей. Любопытно, что в 12-м веке сорок учили говорить и держали в клетках в теремах, как нынешних попугаев, что теперешние черемисы вывезены из Гипербореев, т.е. из Исландии, царем Олафом Норвежским, зятем Владимира Мономаха. Им было жарко в Киевской земле, и они отпущены были в Колывань – теперешние Вятские края, а сначала содержались при Киевском дворе, как экзотика. И еще много прекрасного и неожиданного содержится в этом Перстне. А сколько таких чудесных свитков погибло по скитам и потайным часовням в безбрежной Сибирской тайге?!».*

Согласитесь, поразительную книгу держал в руках поэт! Вот только вряд ли в «Перстне Иафета» была прямо поименована Гиперборея. В русской традиции этот термин не употреблялся. Скорее всего, та земля, откуда были привезены так называемые черемисы, называлась Леденцом, Ледяным или Ледовым островом, потому поэт и решил, что это Исландия, и поименовал ее Гипербореей. Исландия же не могла фигурировать в этом тексте, потому что еще в 874 году была заселена норвежцами, в 1262 – 1264 гг. была присоединена к Норвегии, и никакие черемисы там не водились. Я полагаю, эта неувязка произошла вследствие чересчур вольного перевода с церковнославянского или иного языка, на котором была написана книга «Перстень Иафета».

Хорошо бы, конечно, познакомиться с этой берестяной книгой, и Центральный государственный архив литературы и искусства в 1965 году уже обращался в УКГБ Томской области с просьбой передать в архив сохранившиеся клюевские материалы, но получил ответ, что ничего не сохранилось, несмотря на то, что при

аресте у поэта *«изымалось разных книг 9 штук и рукописи на 10-ти тетрадных листах».*

К тому же берестяная книга, скорее всего, была изъята еще в марте 1936 года при первом томском аресте поэта. А что у Клюева изымалось при мартовском аресте, неизвестно, потому что в деле № 12301, начатом пятого августа и оконченном девятого октября 1937 г., об этом ничего не сказано.

В деле Клюева № 12301 поражает обилие поделельников из среды служителей культа. Из них чекистами была «состряпана» церковная ветвь повстанческой организации, и Клюеву была приписана роль связующего звена между кадетами и священнослужителями. Если отбросить свойственную моменту риторику и все искусственно пришитое, то остаётся лишь неподдельный интерес чекистов к священникам. И может быть, даже не к ним самим, а к старинным книгам, хранившимся в церквях и в их личных библиотеках. Ведь, несомненно, еще в 1936 г. чекисты догадались, что берестяную книгу Клюев мог получить только из рук священников и, скорее всего, старообрядческого толка. Что изымалось при арестах священнослужителей, мы не знаем, и вряд ли когда-нибудь узнаем.

Между тем обнаружение этой книги могло бы иметь исключительное значение для всех перечисленных областей культуры. Мы носимся с новгородскими берестяными грамотами, а ведь это не что иное, как письма-однодневки. Прочитал – выбросил в грязь, где грамоту скоренько втоптали, вот она и долежала в культурном слое до раскопок А.В. Арциховского.

Я никак не хочу принизить значение изучения новгородских берестяных грамот. На 2010 год, согласно В.Л. Янину, обнаружено в Новгороде 1005 грамот, и чуть больше сотни в других русских, украинских и белорусских городах: Старой Руссе, Пскове, Твери, Смоленске, Торжке, Москве, Витебске, Мстиславле, Звенигороде-Галицком.

Разумеется, лучше всего изучены новгородские грамоты. Академик А.А. Зализняк, отдавший немало времени их изучению, пришёл к выводу, что написаны они на древненовгородском диалекте, отличавшемся по фонетике, морфологии и частично по лексике. В языке соблюдалась строгая грамматическая и орфографическая система. И, что чрезвычайно важно, на фоне растущей безграмотности нынешнего народонаселения 90% грамот написаны вообще без единой ошибки. Эта письменность, подчеркивает Зализняк, была распространена по всей Руси. Уже в самом начале XI века весь русский народ свободно читал и писал. И главное, считает уважаемый академик, письменность существовала на Руси до принятия православия. Я к этому добавлю, что, согласно двум источникам, и в IV веке до н.э. она у наших предков уже была, и писали, заметьте, на бересте.

Ну, хорошо, грамот обнаружено за тысячу, а где же берестяные книги? Разве могла в дохристианской Руси существовать поголовная грамотность без книг, по которым учились грамоте? И как передавалась книжная культура? И главное, где же книги? Может, сгорели в кострах? И кто же эти костры разводил? У меня такое впечатление, что все отчётливо понимают, кто сжег языческие книги в кострах, но все молчат. При царе за пропаганду язычества грозила каторга. При большевиках все боялись возразить Энгельсу, смело заявившему: *«Славянские народы Европы – жалкие вымирающие нации, обреченные на уничтожение. По своей сути процесс этот глубоко прогрессивен. Примитивные славяне, ничего не давшие мировой культуре, будут поглощены передовой цивилизованной германской расой. Всякие же попытки возродить славянство, исходящие из азиатской России, являются «ненаучными» и «антиисторическими».* А в наше время, когда победной поступью возвращается православие, напоминать о кострах как-то неловко.

В подтверждение позиции Зализняка о поголовной грамотности русов до принятия православия следует напомнить, что Кирилл, якобы разработавший для

нас, тёмных, азбуку, признавался, что приобрёл в Корсуни Евангелие и псалтырь, написанные русскими письменами, более того, научился читать по-русски. Значит, были у наших предков книги, и на севере они, как и грамоты-записки, писались на бересте.

## Грустина

Память об этом городе как-то незаметно исчезла. Последним о нём как о реальности писал в 30-е годы иркутский академик М.П. Алексеев. Нынешние томские историки называют Грустину «сказкой».

Между тем город Грустина так интересен, что захватывает дух. Достаточно сказать, что это был русский город. Представьте себе – русский город посреди Сибири задолго до прихода казаков Писемского и Тыркова... Ну помилуй Бог, какая же это сказка? Ведь город Грустина изображён на всех почти географических картах Западной Сибири, опубликованных, мягко говоря, в Западной Европе в XVI – XVII веках. Только не подумайте, пожалуйста, что карты эти составлялись отважными немецкими или голландскими землепроходцами, – нет, они были, грубо говоря, «стырены на Москве» зарубежными разведчиками, которые никогда не дремали.

На всех картах город располагался на правом берегу Оби, но в самых разных местах её течения, от нынешнего Бийска до Сургута. Страленберг, Лерберг, Герберштейн – все, заметьте, любознательные иностранцы, в упрек отечественным историкам, пытались поточнее локализовать Грустину. И все почему-то тяготели к Томску. Полагаю, это не случайно, потому что географические координаты Грустины, снимаемые с вышеупомянутых карт, до градуса совпадают с координатами Томска.

Когда я заявил, что память о Грустине исчезла, я немного сгустил краски. Об этом городе много писал наш современник, профессор МГУ, археолог Л.Р. Кызласов. Леонид Романович – хакас по национальности, несомненно, очень сильно любит Сибирь, много пишет об исчезнувших сибирских городах. Относительно Грустины, кроме всего прочего, приводит весьма любопытное соображение о том, что именно к этому городу относится известный пассаж из выдающегося литературного памятника XIV или XV века «О человецех незнаемых на Восточной стране и о языках розных»: *«Вверх тоя ж реки великия Оби есть люди ходят по под землю иною рекою день да ночь, с огни. И выходят на озеро. И над тем озером свет пречюден. И град велик, а посаду нет у него. И кто поедет к граду тому и тогда слышити шум велик в граде том, как и в прочих градах. И как придут в него и людей в нем нет и шуму не слышити никоторого. Ни иного чего животна. Но в всяких дворех ясти и пити всего много и товару всякого. Кому что надобе. И он положив цену противу того, да возмет что кому надобет и прочь отходят. И кто что бес цены возмет, и прочь отидет, и товар у него погыбнет и обрящется паки в своем месте. И как проч отходят от града того и шум паки слышети как и в прочих градах...»*

В этом тексте совершенно недвусмысленно описывается сибирский город, обладающий обширной подземной частью, куда население скрывается при появлении каравана купцов, успев разложить во дворах свои товары и еду, и питье для гостей. После того как купцы покидают город, он вновь наполняется живым шумом, причем происходит это очень быстро. Это можно объяснить тем, что входов в подземелья было очень много, практически в каждом дворе. Любопытно упоминание подземных ходов под довольно крупной рекой, а также выход к озеру. Упомянутый при этом пречудный свет, возможно, объясняется тем, что глубокие вентиляционные колодцы использовались для дутья при выплавке металлов. В ночное время сполохи от этих плавилен могли подсвечивать низкую облачность.



Повторюсь, Л.Р. Кызласов считает возможным связывать это старинное описание с городом Грустиной, координаты которого, напоминаю, до градуса совпадают с координатами Томска. А в Томске существует огромная волна слухов, подтверждённая бесчисленным количеством показаний очевидцев, о наличии подземных ходов под городом.

Молва шумит, что размеры подземного объекта превышают площадь современного Томска, а глубина его немерена. В 1908 году в одном из подземелий, названных «пещерой воина», был найден человеческий костяк в деревянных латах, обтянутых кожей, с топориком, копьём и луком со стрелами. Вооружение и латы свидетельствуют о принадлежности к гуннской эпохе, либо к ещё большей древности. Вот к какому древнему времени восходят томские подземелья, хотя какая-то часть их может принадлежать и томским купцам, любившим хранить мягкую рухлядь в каменных подвалах своих домов – лучше сохранятся от огня. Вот ведь и древние книги вполне неплохо могли храниться в вентилируемых подземельях, а из них попадать в руки любознательных томичей.

Помню, в детстве при любом споре не согласный с тем, что ты пытаешься втемашить, запальчиво кричишь: «Чем докажешь?». Вот и сейчас я слышу выкрики: «Чем докажешь, что на месте Томска стоял древний город?».

Отвечаю: доказывает строительная практика. Не могу сказать, что обнаруживали в земле купцы при рытье огромных подвалов и простые горожане при рытье погребов, могу об этом лишь предполагать. А вот при прокладке глубоких траншей под канализацию уже в конце XIX века в большом количестве выворачивались гробы-колоды, в которых были захоронены не первотомичи, а те, кто жил на этой территории раньше. Судите сами: у подавляющего большинства покойников отсутствовали крестики, правая рука лежала у левой ключицы, а левая у локтя правой; в колодах вместе со скелетами покойников лежали кости животных; у некоторых захороненных головы лежали на правом виске, несколько десятков захоронений с правовисочным положением покойников было обнаружено не в гробах-колодах, а в боковых подбоях глубоких могильных ям; в одном гробу двое покойников были захоронены валетом. Наконец, обнаружено несколько кладбищ, где гробы-колоды стояли в семь ярусов.

Языческим душком пахнуло, не правда ли, читатель? Не случайно прозектор Императорского Томского университета Сергей Михайлович Чугунов, в антропологических целях изучавший обнаруженный в гробах-колодах костный материал и сильно удивлявшийся отсутствию крестиков, вскоре столкнулся с сопротивлением церкви и полиции и прекратил исследования. Но антропотип захоронённых определить успел – европеоиды, блин!

И что этому удивляться? Я ведь раньше уже говорил, что в Грустине проживали русские. Вот доказательства. На карте И. Гондиуса, 1606 г., написано: «В этом холодном городе проживают совместно татары и русские» (перевод с латыни Т.А. Калёновой). И хотя карта была опубликована в 1606 году, ситуация, на ней изображённая, относится к более ранним временам. Ведь есть основания полагать, что в 1391 году этот город был разрушен Тамерланом.

Отечественный специалист по Тамерлану Тизенгаузен сообщает, что персидские историки описывали поход Тамерлана в Дешт-и-Кипчак 1391 г., в ходе которого у реки Тан «Победоносное войско, дойдя до города урусов по имени Карасу, разграбило его со всей областью». И еще у Тизенгаузена есть повтор этой истории: «Дойдя до Карасу, одного из городов русских, они разграбили весь город внутри и снаружи». Историки с ног сбились, но не нашли в средневековой Руси города с названием Карасу. И правильно, что не нашли, потому что и искать не надо: река Тан – это река Томь, а Карасу – это Грустина. За рекой Томью расположен родовой улус Тохтамыша – Тахтамышево, и неподалёку Тимерчинский бор, где была ставка Тимура.

Ещё в 30-е годы выпускник Томского политехнического института, будущий президент Казахской Академии наук геолог К.И. Сатпаев в Улытаусских горах на западе Карагандинской области обнаружил памятную амфиболитовую стелу. На ней арабской вязью и уйгурским текстом было написано с указанием точной даты (апрель 1391 г.), что султан Турана Темирбек со 100000 войском идёт по крови Токтамышхана.

Прочертите вектор из Самарканда на северо-восток через Улытаусские горы и вы попадёте в Барабинские степи. Здесь след Темирбека зафиксировал Джон Белл Антермонский, догонявший степями дипмиссию лейб-гвардии капитана Л.В. Измайлова в Китай. *«Не доезжая восемь или десять дней пути до Томска, на этой равнине находят много могил и захоронений древних героев, которые, вероятно, пали в бою. Эти могилы легко различимы по кучам земли и камня, возвышающимся над ними. Когда и между кем происходили эти битвы так далеко на севере, неизвестно. Меня информировали барабинские татары, что Тамерлан имел много боевых стычек в этой стране с калмыками, которых он тщетно пытался победить».*

Таким образом, находясь всего в восьми днях пути от улуса Тохтамышша, Тимур не мог повернуть назад. Однако Тохтамыш успел улизнуть на Волгу и в результате разъярённый Темирбек разрушил город Грустину внутри и снаружи. Но остаётся вопрос: что означает в данном случае «внутри и снаружи»? Не означает ли «внутри» – это внутри горы? В подземельях?

Приведенная выше судьба города Грустины объясняет часто встречавшиеся повреждения костей у скелетов, захороненных в гробах-колодах, наличие наконечников стрел, застрявших в костях черепов. Это явление было подмечено С.М. Чугуновым ещё в XIX веке. Это же даёт возможность объяснить то, что гробы-колоды захоронялись штабелями.

В 1991 году в Томске была опубликована книга известного томского историка, краеведа и писателя Витольда Славнина «Томск сокровенный». Она проникнута такой пронзительной теплотой к Томску, и болью за томскую историю, которую мы теряем, что при чтении пробирает дрожь. В 1956 году Витольд Донатович лично был очевидцем обнаружения жировосковой мумии в колоде, вывороченной при прокладке канализационной траншеи через тогдашнюю Базарную площадь. Естественной мумификации, по мнению автора, способствовала как повышенная обводнённость грунтов, так и захоронение в гробе-колоде. И то и другое уменьшало доступ воздуха и содействовало лучшей сохранности. Здесь же Витольд Донатович высказал догадку о том, что в таких грунтах могут быть обнаружены берестяные грамоты не хуже, чем в Новгороде. Но, увы, посетовал Славнин, Томск не Новгород.

## Сибирская Русь

У читателя, конечно же, не мог не возникнуть вполне закономерный вопрос: а с какого это перепою вы говорите о русском городе посреди Сибири в столь отдалённые времена? Отвечаю. Мною на эту тему написано две книги: «Сибирская Прародина», М.: Белые альвы, 2006, 544 с. и «Сибирское Лукоморье», М.: «Вече», 2007, 350 с. Конечно, весь приведенный в них объём доказательств я здесь привести не смогу. Но книги можно найти в интернете и познакомиться в полном объёме.

Важнейшим вопросом ранней истории любого народа является такой: где рождался этот народ, – там, где проживает ныне, или рождался он в другом месте, а на нынешнее место прибыл в ходе переселения? Если бы народы проживали на тех местах, на которых они рождались, их окружали бы одни родные и

вполне понятные названия. На самом деле чаще всего всё обстоит совсем не так. Топонимика свидетельствует: народы переселялись. Историки подтверждают то, что многие народы ныне живут «не на своих местах». Известно, что древние шумеры пришли в Месопотамию с какого-то гористого острова, расположенного в морской акватории. Хетты также пришли в Малую Азию неведомо откуда. Переселялись индоарии, иранцы, киммерийцы, скифы, сарматы, аланы, готы, гунны, авары, савиры, хазары, болгары, печенеги, половцы. Римляне говорили о Великом переселении народов, в ходе которого орды пришельцев брали Рим.

Надо признать: наши предки пришли в Восточную Европу из Азии, из Сибири. Этим путём шли из Сибири в Европу почти все вышеперечисленные народы. Причины именно такого вектора переселений связаны с существованием Сибирской Руси.

Персидским и арабским географам IX – X вв. были известны три Руси: Куявия, ассоциирующаяся с Киевской землёй, Славия, ассоциирующаяся с Новгородской Словенией и третья (по арабскому счёту) Русь, которую они называли Артанией или Арсанией. Историки сбились с ног в поисках Артании и пришли к выводу о бесперспективности дальнейших её поисков.

Артанию не могли найти, потому что искали её в Восточной Европе. Между тем на географической карте французского картографа Гильома Сансона (1688 г.) столица Арсании город Арса показан чуть южнее Золотого (Slote) озера.

О размерах Артании можно судить по распространению артанских топонимов. На северном окончании Телецкого озера в месте истока реки Бии стоит поселок Артыбаш. На западе Кемеровской области есть железнодорожная станция Артышта, а на севере этой же области в Томь справа впадает речка Артыбашус. И, наконец, река Артавиша. На карте Западной Сибири Герарда Маркатора (1594) эта река впадает слева в Обь под 61-м градусом, что, по-видимому, соответствует реке Конде. Таким образом, артанские топонимы трассируются через всю Западную Сибирь от юго-востока до северо-запада.

На юго-западе Западной Сибири к артанским топонимам с некоторой натяжкой можно отнести город Орск на реке Урал. В этих местах к северу от Каспия и Арала в последние века перед Рождеством Христовым обитали скифы-саки. Вождём парнов (одного из скифских племён) был Аршак, создавший Парфянское царство на территории Гиркании. Он дал начало династии Аршакидов, правившей Парфянским царством с 250 г. до н.э. до 224 г. н.э. Аршака можно рассматривать как русского выходца из Арсы. Что касается перехода «с» в «ш», то с ним мы встречаемся в русских однокоренных словах «весна – вешний», «краска – крашенный», «бес – бешеный».

В германских сагах подтверждается бывшее проживание славян на реке Урал. Эта река, называемая ими Танаквисль (Ванаквисль), стекала с Рифейских (Уральских) гор, впадала в Каспийское море и являлась пограничной между Европой и Азией. Низовья этой реки населяли славяне ваны, а в верховьях проживали германцы асы. За несколько десятилетий до Рождества Христова Один увёл германцев в Скандинавию. Арабы называли реку Урал Славянской рекой и размещали на ней город Вантит.

Столицей Артании арабы называли город Арта (Арса). В Арте жил царь Сибирской Руси, которого называли каганом. Русы многочисленны, их страна богата, в ней большие города. Города – это признак цивилизованности страны. Именно в городах концентрируются достижения культуры того или иного народа. Что же мы знаем о сибирских городах? Арабы сообщают названия лишь двух городов: Арта и Вантит. Однако на географических картах Западной Сибири, опубликованных в Западной Европе в XVI – XVII вв. С. Герберштейном, Г. Меркатором, И. Гондиусом, Г. Сансоном и др., показаны города Арса, Грустина, Серпонов, Коссин, Терем, Камбалык.

Два слова о городе Вантит, который, по уверениям арабов, стоял на самом краю Артании. Известный писатель и исследователь истории ванов В.И. Щербаков, считал, что Вантит был родиной вятичей, которые отсюда, с реки Урал, переселились на Вятку. Если представить, что Щербаков прав, то нетрудно увидеть, что именно к этим вятичам и их князю Ходоте совершал поход «по две зимы» непобедимый Владимир Мономах, о чём он сообщает в своём «Поучении». Кто-то из его приближённых вполне мог остаться в Артании, прибыть в Грустину и здесь написать книгу «Перстень Иафета».

Сибирская Русь – Артания – лишь для арабов была Третьей Русью. Для русов это Русь изначальная, потому что является преемницей Сибирской Прародины и ствольным образованием этногенетического древа человечества. Но это уже неподъёмная тема для этого рассказа. Отложим её для другого случая. Здесь же остаётся лишь заметить людям с заgreбущими руками, которые, пользуясь нашей временной слабостью, собираются оттапать у нас Сибирь, поскольку мы-де взяли её незаконно: Сибирь всегда была нашей. Здесь располагается наша прародина!

### Поговорим о странностях любви

Поговорим о любви к отечеству, к отеческим гробам, точнее – о любви к отечественной истории.

Вопрос: можно ли любить историю своего отечества, если не любишь свой народ? Вот сидит в своей келье монах и старательно по-церковнославянски пишет летопись народа, который живёт в лесе, яко же всякий зверь, живёт скотски, убивает друг друга, срамословит при отцах, умыкает девок у воды. И мне понятно, что этого народа (язычников) летописец не любит, и эта нелюбовь отражается в его летописи.

В Новое время основу истории России закладывали, как известно, немцы Готлиб Зигфрид Байер, Август Людвиг Шлёцер и Герард Фридрих Миллер. Они уже не разделяли русичей на православных, староверов или язычников, но относились ко всему русскому народу ничуть не лучше не к ночи помянутого Энгельса. И история российская у них получилась такая, что любить в ней оказалось нечего.

Пришедшие на смену немцам отечественные историки тенденцию переломить уже не смогли, или не захотели. Л.Н. Толстой, как оказалось, и в самом деле «матёрый человечище», чьё творчество и глубокомыслие и через сто лет после смерти всё больше привлекает внимание Запада, в 1870 году гневался на отечественных историков. *«Читаю историю Соловьёва. Всё, по истории этой, было безобразие в допетровской России: жестокость, грабёж, правёж, грубость, глупость, неумение ничего сделать»*. И далее великий мыслитель задаёт историкам-русифобам вопрос: а кто создал великое государство, кто растил хлеб, скот, кто добывал пушнину, которой одаривали цивилизованных воришек-послов, кто строил дома, дворцы, церкви, кто перевозил товары? И почему Богдан Хмельницкий передался России, а не Турции и не Польше?

Историки «не заметили» гневного высказывания Толстого, и до сих пор солидарны с позицией С.М. Соловьёва: *«...он создал наиболее полную, цельную и...наиболее обоснованную концепцию истории России, ставшую вершиной... историографии»* (Иллерицкий В.Е. Сергей Михайлович Соловьёв. М., 1980, с 175).

После Соловьёва, писавшего свою историю с 1851-го по 1879 г., сменилось много поколений отечественных историков, но «вершина историографии» осталась непокорённой. По-прежнему и академические, и вузовские, и школьные историки равняются на эту «вершину», демонстрируя русофобское отношение к отечественной истории.

Сами историки крайне раздражаются на упрёки в русофобстве. Они говорят: мы объективны. В науке нет места любви или ненависти. На все исторические события (доброе и зло принимая) должно смотреть беспристрастно и ответственно. Надо быть лишь правдивым и справедливым в своих суждениях. И тут мне приходит на память китайский мудрец Лао Цзы. Он любил повторять:

*Долг без любви делает человека недовольным,  
Ответственность без любви делает человека беспощадным,  
Справедливость без любви делает человека жестоким,  
Правдивость без любви делает человека недоброжелательным,  
Ум без любви делает человека лживым.*

И что самое ужасное, историкам верят учёные других специальностей. «Не было ничего великого и никакой древней истории у славянорусов не было!». В начале 2009 года два профессора ТГУ (один филолог, другой географ) страстно обсуждали моё, с их точки зрения, мифотворчество на почве истории: «Караул! У молодёжи отбирают историю!». Речь шла о Македонском, который, по моим высказываниям, добирался до территории нынешнего города Томска. «Ни малейшей научной базы!», – сошлись во мнении филолог и географ.

И это притом, что филологам прекрасно известно, что исторической версии индийского маршрута полководца изначально противостояла литературная, поэтическая версия, прокладывавшая маршрут Александра на север, в Страну Мрака (Заполярье). Поэтическая версия базировалась на устных рассказах ветеранов похода и представляла собой правду жизни. Для кого угодно это «ненаучная база», а для филолога – вполне научная.

Географы, в свою очередь, помнят ещё из вузовского курса, что основоположник науки географии Клавдий Птолемей царские алтари, поставленные Александром в ознаменование окончания Восточного похода, размещал на реке Танаисе на широте 57°. Если «пробежаться» по 57-й параллели, то единственной рекой в Евразии отдалённо напоминающей Танаис, окажется река Томь, на которой на широте 56,5° стоит, вы не поверите, город Томск...

\* \* \*

«Кто живёт без печали и гнева, тот не любит отчизны своей», – заметил в своё время Некрасов. Ещё раз обратимся к книге В.Д. Славнина, переполненной печалью и гневом. «Как-то утром, исполняя назначенную отцом роль «инспектора траншеи», подхожу к Базарной площади. На отвалах – куски дерева, кости, несколько больших и маленьких – детских – пустых колод. На берёзке, стоящей почти на углу Коммунистического, кем-то повешена тёмная девичья коса, извлечённая из погребения. Никого из рабочих ещё нет, но поодаль вижу человека в сером макинтоше, склонившегося над кучей земли. Не обращая на меня внимания, мужчина деловито ковыряется в полусасыпанной колоде, передвигая палкой кости, словно фишки игры в «пятнашки». У ног его, на газетке, две позеленевшие крупные серьги и простой браслет из белого металла. Окликнул, отрекомендовался пионерским патрулем – тогда было такое движение, правда, совсем другого направления. Видели бы вы, как подхватился и зашпешил прочь этот немолодой плотный человек, позабыв про свои трофеи. Найденное я сложил обратно в колоду – вместе с газеткой. Разыскал подходящую крышку, кое-как, преодолевая неприятное чувство, прикрыл гроб. Вечером его раздавил бульдозер...».

А где же были томские историки и археологи, ведь это они должны были стать стеной, не позволяя бульдозерами давить историю. Нет ответа.

В 1985 году история повторилась. Витольд Донатович пишет: «*Так и не подружилась археологи со строителями. И никто – никто! – из «хранителей древностей» не воспрепятствовал осквернению могил в восемьдесят пятом. Ни один из них не предотвратил расхищения исторических ценностей из старинных склепов, развороченных при прокладке теплотрассы к новому корпусу педучилища*».

Прошло ещё тридцать лет, и ситуация несколько не изменилась, зато несколько прояснилась.

«Тотальное равнодушие к сибирской истории!» – такой диагноз томским историкам и археологам поставил 19 ноября 2002 года журналист «Красного знамени» Андрей Соколов. А что такое равнодушие? Ведь когда мы говорим, что кто-то к кому-то равнодушен, то подразумеваем, что этот кто-то в кого-то влюблён. То есть равнодушие есть влюблённость, а равнодушие есть отсутствие любви. Отсюда делаем вывод: не любят томские историки томскую историю. Да и только ли томские? А сибирские историки любят сибирскую историю? А отечественные историки любят русскую историю? Вопросы эти не праздные, эти вопросы колоссально значимы для жизни и выживания нашего народа.

*Два чувства дивно близки нам,  
В них обретает сердце пищу:  
Любовь к родному пепелищу,  
Любовь к отеческим гробам.*

Неужто забудем этот пушкинский завет?!

**Дмитрий Викторович  
БАРЧУК**

Родился в 1962 году. По образованию журналист и экономист-международник. Работал в областных газетах Сибири и Ростова-на-Дону. Занимался самостоятельным бизнесом. Среди его романов - «Новый старый год», «Орда», «Александрия».

Живет в Томске.

**Валерий Анатольевич  
ДОМАНСКИЙ**

Родился в 1950 году. Доктор педагогических наук, профессор, зав кафедрой филологического образования ЛОИРО (Санкт-Петербург), автор нескольких поэтических книг, исследователь творчества Клюева и новокрестьянских поэтов.

Член Союза российских писателей (Санкт-Петербургское отделение).

**Владимир Петрович  
ЖОЛНЕРОВСКИЙ**

Родился в 1937 году в г. Колпашево. Закончил Томский педагогический институт. Пятьдесят лет отработал учителем в с. Наумовка Томского района. Множество публикаций стихов и прозы в периодической печати. Автор книг «Светлая грань», «Остаться на этой земле». Живёт в с. Наумовка.

**Людмила Юрьевна  
КОНЮШИХИНА**

Родилась в г. Тарас (г. Джамбул) в Казахстане. Закончила Карагандинский медицинский институт и филологический факультет Томского государственного университета. Автор книг «Возвращение», «Восхождение к себе» и других. Живёт в Томске.

**Владимир Михайлович  
КРЮКОВ**

Родился в 1949 году на севере Томской области. Закончил историко-филологический факультет Томского университета. Сборники стихотворений «С открытым окном» (1989), «Со-зерцание облаков» (1994), «В области сердца» (2005), «Стихотворения» (2009) и др. Книги стихов и прозы «Линия ветра» (1999) и «Жизнь пунктиром» (2007).

Публикации в журналах России «Звезда», «Знамя», «День и ночь», в русскоязычных альманахах Германии. Член Союза российских писателей. Живет в селе Тимирязевском под Томском.

**Лариса Михайловна  
КУЗНЕЦОВА**

Родилась в городе Владивостоке. Закончила Томский пединститут. Работала в системе профтехобразования и народного образования. Увлекается музыкой и фотографией.

Публиковалась в коллективных сборниках объединения «Литературные четверги» при Доме искусств. Живёт в Томске.

**Виктор Андреевич  
ЛОЙША**

Год рождения 1947-й, рабочий посёлок Тальменка Алтайского края.

Выпускник геолого-географического факультета ТГУ. Работал на Колыме, Чукотке. Написал три десятка документально-публицистических книг, в том числе «СМИтьё моё» (2006), «Прощание в июне» и «Как, прекрасен этот мир? Посмотри...» (2008), «Шершавая книга» (2009), «Наш строгий взгляд пронзает каждый атом» (2010).

Автор поэтических сборников «Век мой кончается» (2000), «Антропоген» (2004).

**Вадим Николаевич  
МАКШЕЕВ**

Родился 4 сентября 1926 года. Член Союза писателей России с 1977 г. Член Союза журналистов России с 1960 г. Заслуженный работник культуры Российской Федерации. Автор книг: «Последний парень» (Москва, 1973 г.), «Чужие люди» (Новосибирск, 1976 г.), «Красные кони» (Москва, 1979 г.), «Дождь надолго» (Новосибирск, 1983 г.), «Повести и рассказы» (Новосибирск, 1986 г.), «Разбитое зеркало» (Томск, 1989 г.), «И видеть сны...» (Томск, 1995 г.), «Сколько стоит колос» (Москва, 1984 г.), «Нарымская хроника» (Москва, 1997 г.), «Narimas hronika» (Рига, 1999 г.), «По муромской дорожке» (Томск, 2000 г.), «Последнее перепутье» (изд-во «Водолей», Москва, 2003 г.). «Венчалльные свечи» (Томск,

2006), «Спецы» (Томск, 2007). И другие. Неоднократно публиковался за рубежом в издающихся на русском языке журналах «Таллинн», «Радуга», «Вышгород» (все в Эстонии).

Лауреат премий Союза журналистов СССР (1973 г.), Союза писателей РСФСР (1986 г.), журнала «Октябрь» (1989 г.), «Томская область-98» (1998 г.), Фонда им. Макушина (1999 г.), премии им. Шишкова (2000 г.), Губернаторской премии (2006 г.). Награжден знаком отличия «За заслуги перед Томской областью» (2005 г.), почетным знаком Союза журналистов России «Честь, достоинство и профессионализм» (2006 г.). Высшим эстонским орденом.

**Николай Сергеевич  
НОВГОРОДОВ**

Родился в 1945 году в г. Николаевске-на-Амуре. Закончил Томский государственный университет. Геолог и краевед, член Русского географического общества. Автор нескольких книг и статей, посвященных истории Сибири.

**Виктор Михайлович  
ПЕТРОВ**

Родился в 1949 году в Томске. Окончил историко-филологический факультет ТГУ. Автор книги-очерка «Образы русской семьи», книга по Древней Руси и о русских религиозных мыслителях. Поэтическое творчество представлено сборниками стихов «Колчан сибирских стрел», «Заян», «Речения Яхрома, чулымского шамана».

Член Союза писателей России. Живет в Подмоскowie.

**Владимир Александрович  
СИЛКИН**

Родился 14 октября 1954 года. Окончил Рязский дорожный техникум, Новосибирское высшее военно-политическое общевойсковое училище, редакторское отделение военно-педагогического факультета Военно-политической академии. Ветеран военной службы, полковник запаса.

Автор более тридцати книг стихотворений, в том числе детских, эссе, песен, переводов.

Лауреат Государственной премии России. Заслуженный работник культуры РФ. Кавалер ордена Почёта. Секретарь правления Союза писателей России, председатель Комиссии по военно-художественной литературе Союза писателей России.

**Геннадий Кузьмич  
СКАРЛЫГИН**

Родился в 1950 году в Кемеровской области. Окончил Томский геологоразведочный техникум, работал геологом. Затем закончил Томский государственный университет, работал журналистом в различных изданиях. Сборники стихотворений «Шальное сердце», «Ветер скитаний», «Всё унесёт река» и других. Стихи для детей «Егоркины причудки», «Плыл по озеру карасик». Публикации в журналах «Наш современник», «Сибирские огни», «Московский вестник» и других.

Секретарь правления Союза писателей России. Председатель Томской областной писательской организации.

**Юрий Анатольевич  
ХАРДИКОВ**

Родился в с. Мельниково Томской области. Окончил Томский политехнический институт. Почётный энергетик России. Кандидат экономических наук. Член Союза журналистов России. Один из первых исследователей томского периода жизни и творчества Николая Клюева.

**Леонид Николаевич  
ШЕЛУДЬКО**

Родился 16 декабря 1952 года в Чите. Окончил Томский политехнический институт. Член Союза писателей России. Публикации в литературных журналах «Простор», «День и ночь», «Сибирские Афины». «Начало века» и других. Стихи вошли в ряд коллективных сборников и антологию русской сибирской поэзии. XX век. Автор книг стихов «Дорога через осень», «Бумажный голубь», «Рыжий».

Живёт в Томске.



# НАЧАЛО ВЕКА

Литературный и краеведческий журнал  
Издание томских писателей

Главные редакторы  
Г. Скарлыгин  
В. Крюков

Вёрстка журнала  
Л. Кулманакова

Корректор  
В. Дмитриева

Редакция журнала принимает к рассмотрению первые экземпляры рукописей, отпечатанные на машинке через два интервала либо набранные на компьютере через полтора интервала (12-14 кегль), желательно с приложением набранного текста в любом формате на любом цифровом носителе.  
Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку.

Учредитель Томское региональное отделение «Союза писателей России».

Адрес редакции: г. Томск, ул. Шишкова, 10.

Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС121331 от 21 марта 2007 года.

Выдано управлением Росохранкультуры РФ по Сибирскому федеральному округу.

© Составление и оформление: «Начало века», 2011 г.

Формат 70×108 1/16. Печать офсетная. Усл. печ. л. 18,2. Тираж 2000 экз. Заказ № 1887.

Дата выхода журнала 15.10.11. Цена свободная.

Отпечатано в ГУ Типография при УВД по ТО,

634050, г. Томск, ул. Татарская, 11а.